Габит Мусрепов

Рассказы разных лет



ГАБИТ МУСРЕПОВ

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Перевод с казахского

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖАЗУШЫ»
Алма-Ата — 1979

Каз 2
М 91

Мусрепов Габит.

М 91 Рассказы разных лет. /Пер. с казах.— Алма-Ата: Жазушы, 1979 — 336 с.

Габит Мусрепов — известный казахский писатель, Герой Социалистического Труда. Читателям хорошо известны его романы, повести, рассказы. Книги Г. Мусрепова издавались и за рубежом.

В новый сборник включен широко известный цикл рассказов о матери. В самые тяжелые минуты жизни человека женщина, мать всегда рядом. Она поможет, поддержит, согреет. Образ женщины-матери выписан Г. Мусреповым с большой любовью, теплотой.

Кроме этих рассказов в книгу вошли произведения, созданные писателем в разные годы.

Каз 2
М 91

М $\frac{70700-179}{402(05)79}$ 167—79 4702023020

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Год моего рождения установлен с точностью, можно сказать, астрономической. Причем, как это ни покажется странным, почти по теории относительности... Слепой на правый глаз конь был растерзан волками осенью, а позднее — в день весеннего равноденствия, разделяющий год коровы и год барса,— на свет появился я. Зима еще не уходила, весна не наступала. Был Науруз[1].

Невыясненным осталось только одно обстоятельство: мальчик родился до восхода солнца или после? Если к году коровы отнести рождение, то выходило ему владеть несметными стадами и пройти свой путь в добре и в довольстве. Если же барс принял его под свое покровительство — тоже хорошо... Кто рискнет напасть на него первым?

Но этого — до восхода солнца или после — никто не помнит. Наверное, был буран, и все сидели в юрте. Не помню и я. И все же — есть тут астрономия? Есть... А относительность? Есть.

Первый мой день не был отмечен никаким выдающимся событием в небольшом ауле на северной окраине казахской степи. И даже собаки не затевали драк из-за лакомых костей. Бывают годы, когда и кости не всегда достаются собакам.

Правда, тогда все это меня не касалось. Не касалось, кто царь на земле, где мне предстоит прожить жизнь, и кто пророк, чье слово предопределяет судьбу человека, все его поступки, радости, огорчения. Безразлично было,

---

[1] Науруз — у многих восточных народов начало нового года, который наступает в день весеннего равноденствия, 22 марта по новому стилю; год коровы, год барса — календарь с двенадцатилетним циклом, каждый год носит название какого-нибудь животного.

кто всесильный управитель волости. Я не придавал также значения и тому, богаты мои родители или бедны.

Как я теперь понимаю, моему приходу в этот мир никто особенно не радовался. Просто семья — и без того многодетная — увеличилась на одного мальчишку. Как его назвать — тоже не долго ломали голову. Есть Хамит, старший. Сабит уже есть. По созвучию третьему сыну дали имя — Габит.

Моя мать изредка вспоминала:

— Упрямый был... Никогда не плакал, даже если хотел есть.

Большая жизнь обходила наш аул стороной. Она доносилась лишь бойким перезвоном колокольцев. Тройки к нам не сворачивали. По санному следу, по чернотропью они проносились мимо, в аул старого Торсана — от нашего полчаса ходьбы пешком. Двое из его сыновей были волостными управителями, а двое — на подступах к власти.

О том, что не всегда наш аул стоял на отшибе, мы узнавали из рассказов стариков.

Старики осуждали нынешний образ жизни, их выцветшие глаза загорались и распрямлялись плечи, когда они начинали вспоминать о шумных, многолюдных тоях[1], о скачках с богатыми призами, о храбрости и удальстве джигитов нашего рода, которые неизменно выходили победителями из разных схваток и столкновений. Старики сожалели, что в прошлое отошли времена больших кочевий, когда аул на долгие недели снимался с места и уходил мерить немереную степь.

Уже стихал залихватский напев бубенцов, но продолжались разговоры, вызванные его появлением.

— От этих колокольчиков добра не жди,— вздыхал Рахмет, человек робкий и немногословный, чья семья даже для аула считалась большой.

— Да,— соглашался с ним его младший брат Кожак.— От такого гостя не отделаешься тем, что зарежешь барана к его приезду!

— О, алла!— продолжал Рахмет.— Боюсь — за недоимками едут, проверять, кто сколько остался должен... Эти поборы!.. Эти подати! Посчитать бы только по нашей волости — целая семья, даже такая, как моя, могла бы сытно прожить сто лет. Что же царю и его домашним все не хватает?

---

[1] Той — пиршество.

Кожак насмешливо щурился:

— О, старший брат мой!.. Если бы только одна наша волость! Таких волостей у белого царя тысячи и тысячи.

— Кожак, ты, наверное, ошибаешься,— высказывал сомнение Досан: он неизбежно путался, если надо было сосчитать что-нибудь свыше ста.— Столько аулов, столько волостей на всем свете не наберется!

— Ну да! Ты бы поездил, мой Досан, посмотрел...

Кожак в ауле бывал не часто. Он давно уже работал в Кургане — грузчиком, его мир был гораздо шире, чем у тех, для кого поездка в недалекую Пресновку становилась событием. К словам Кожака прислушивались, хоть они порой звучали неожиданно и резко.

Разговоры обрывались так же неожиданно, как и возникали,— что толку жаловаться, если твои жалобы никто не слышит, а если и слышит, то оставляет без внимания. Если же Кожак начинал о земной несправедливости, то или Рахмет, или Досан привычно кивали: так уж устроен мир. Всё от бога. И не их ума дело разбираться во всех этих сложностях.

У моего отца была заветная мечта, которую он вынашивал с юношеских лет: разбогатеть! Но несмотря на все усилия, его хозяйство напоминало коржун[1], навьюченный на шального, необъезженного стригунка. Стригунок мечется из стороны в сторону, и коржун мотается у него на спине, а то и вовсе сваливается на землю от какого-нибудь резкого скачка.

Иной раз нам удавалось приблизиться к достатку, и отец ходил счастливый и гордый, и даже голос у него звучал по-иному. Но — недолго. Всегда что-нибудь случалось: грозная оттепель в начале зимы, когда все тает, а потом мороз образует непробиваемую корку на пастбищах — джут. Или всплывала старая недоимка. Или повышался налог. Глаза у отца становились рассеянными. Казалось, он смотрит куда-то вдаль, стараясь не замечать надвигающейся нищеты.

В таком положении — мы, мальчишки, имели по одной рваной рубашке — оказалась наша семья, когда подошло время совершать обряд обрезания, установленный самим пророком задолго до того, как мои братья и я появились на свет.

---

[1] Коржун — перекидной мешок.

Мне было четыре года или немного больше, когда нашу юрту навестил рыжебородый мулла-ходжа. И шапка у него тоже рыжая, она нахлобучена до самых бровей, и, наверное, от этого лицо муллы кажется зловещим. Он достает нож и начинает деловито точить его, поплевывая на брусок.

А его нож и без того был острый. Только вчера вечером мы видели, как мулла, по обычаю, одним движением срезал ухо с головы барана, заколотого ему на угощение, еще раз шевельнул ножом и второе ухо тоже срезал.

Под непрестанное жиканье ножа мы трое примолкли и тревожно следили за холодным блеском стали в руках муллы. Наши родители наперебой расхваливали своих сыновей, словно кому-то навязывали их в работники. По словам отца, по словам матери, выходило, что не было еще на всем свете таких умных и послушных, таких терпеливых и бесстрашных мальчиков. И если только Хамит, Сабит и Габит не будут противиться свершению таинства, то каждый из них получит по скакуну. Это пообещал отец, он, видимо, в ту пору разработал очередной безошибочный способ быстрого и легкого обогащения. А мать говорила: раз мы сегодня станем совсем большими, то самое время отдавать нас в школу мулле.

Она постелила у стены одеяло, взбила подушки, прежде чем их разложить. Мулла ногтем попробовал лезвие и, видимо, счел его достаточно наточенным. Рыжебородое лицо стало сосредоточенным, строгим. Он положил нож рядом с собой и стал выпевать молитвы.

Мне хотелось иметь обещанного скакуна. Мне хотелось в школу. И все же, когда Хамит, подмигнув нам, первым выскользнул из юрты, я незаметно последовал за ним.

Небольшая роща защитила нас от дождя. Я соображал: о каких скакунах говорил отец? Возле нашей юрты можно было увидеть одну-единственную старую лошадь, по масти — чалую. Так вот, Чалка, как награда за обрезание, может достаться лишь одному. А двое других? Может быть, для двоих исполнение обряда отложат, пока не будет у нас табуна?

Но стоило высказать эти мысли вслух, как Хамит меня тут же оборвал:

— Вы еще не умеете ездить на коне...

Сабит ему возразил: «Умеем!» Но старший брат презрительно хмыкнул, обозвал нас глупыми телятами и

собрался для поучения отвесить каждому по затрещине, но тут...

Чьи-то уверенные и ласковые руки сгребли нас в охапку, нос к носу...

На одеяле в юрте мы лежали по старшинству. Хамит — первым, с того края, что ближе к тору[1], Сабит — посередине, а я — ближе к выходу.

С какого края начнет мулла? Если бы от двери! Первым у меня он спросит: «А твоя лошадь обрезания какой масти?» Я тотчас, чтобы никто не опередил, отвечу: «Чалка!» Пусть тогда братья обхаживают меня, хоть я и младший, и просят дать прокатиться на моей лошади... Я буду им позволять, но не так часто.

Сабит сообразил, что в самом невыгодном положении находится он. С кого бы мулла ни начал, Сабит окажется вторым,— он на всякий случай захотел поменяться со мной местами, но я в ответ лягнул его, чтобы не приставал. Он стал щипаться и страшным шепотом пообещал потом сровнять мой нос с лицом.

Но зря мы с ним препирались. Мулла, как и положено, начал со старшего.

— Скажи, сын мой... Назови масть твоей лошади, которую ты оседлаешь на праздник в честь древнего торжественного обряда.

— Чалка!— ответил Хамит, и голос его звучал радостно, но тут же он взвыл от непереносимой боли.

Мулла со спрятанным в рукаве ножом еще и не подошел к Сабиту, а тот уже принялся всхлипывать. Но оказалось, что не от предчувствия боли.

— Нет! Нет! Нет у меня лошади-и-и!..

Он судорожно вздрагивал всем телом и вопил во весь голос и продолжал вопить, когда мулла, сделав свое дело, присел на корточки возле меня.

Плакала тихонько и мать. Она переживала нашу боль, она сочувствовала нам, кляла черствую бедность, из-за которой они с отцом нанесли сыновьям невольную обиду в такой знаменательный день. В самом деле, можно было бы конем обрезания назвать и жеребенка, но такового у нас не было.

А мне было все равно.

— У меня тоже нет никакой лошади,— сказал я и решил: как бы ни было больно, ни за что не плакать.

И я не плакал.

---

[1] Тор — место в юрте для почетных гостей.

Грустно вздыхал, сидя у сундука, и брат отца — дядя Ботпай. Он не удержался и упрекнул муллу:

— Зачем было трижды задавать вопрос о лошадях, вы ведь, молла-еке[1], заранее знали, что ответ будет один.

— Так положено не нами.

Мулла недовольно пожал плечами, спрятал свой нож и ушел.

А дядя Ботпай утешал нас:

— Не плачьте, не терзайте людям сердце... Я, я куплю вам скакунов, самых резвых, какие только есть в степи. Разве от вашего негодного отца дождешься? Разве будет у него табун?

Можно было бы обидеться на дядю Ботпая за его плохие слова про отца. Но какие тут обиды? Тем более, что и отец улыбался вместе с нами. Значит, тоже обрадовался, что дядя Ботпай подарит нам лошадей, которые могут догнать ветер.

С тех пор, как был совершен обряд, миновало два года. Снова зашумели листьями березы в роще, возле которой мы постоянно зимовали в хижинах, сложенных из дерна. Настало время кочевать на берег большого озера Кожабай. Освободившееся ото льда, оно заманчиво синело в зелени весенней степи.

Туда на лето перебирались не только мы, но и пять-шесть аулов наших соседей.

Под вечер аксакалы[2] всех аулов чинно расселись на склоне холма неподалеку от берега, долго приветствовали друг друга, справлялись о здоровье, желали благоденствия. Наконец приличия были соблюдены, и старики заговорили о том, ради чего собрались: как оплачивать муллу, которого приглашали для детей, для «ломки языка». Так называлось обучение письму и чтению.

Полагается мулле за науку: корова с теленком, установленные законами и обычаями религиозные приношения; сюда относится плата за проводы ушедших в иной мир; кроме того, по четвергам ученики должны приносить своему наставнику понедельную мзду, соответственно достатку родителей и степени их уважения к мулле — не больше пяти копеек, но и не меньше двух.

---

[1] Еке — означает уважительную приставку к имени при обращении к человеку, старшему по возрасту.

[2] Аксакал — дословно; белая борода, один из старейшин рода.

Проводить занятия: по неделе в каждой семье. Родители по очереди предоставляют юрту под школу и содержат муллу, как подобает его сану.

У бедности есть своя гордость, она хочет все обговорить заранее, чтобы не возникало никаких недовольств и недоразумений, чтобы никто не мог попрекнуть поживой за чужой счет.

Мне приходилось слышать и читать: многие мальчики в ночь накануне первого знакомства со школой беспокойно ворочаются, часто вскакивают: боятся проспать. Про себя я этого не сказал бы. Набегавшись за день, я свалился как убитый и на каком боку заснул, на том и проснулся. И братья мои, надо полагать, тоже не испытывали особого трепета при мысли, что с утра уже не удастся побежать куда захочется, а придется тихонько сидеть и слушать, что станет говорить мулла-учитель и делать, что он велит.

Мулла к нам приехал молодой. Чтобы скрыть молодость, он свирепо топорщил усики и несколько раз перекладывал с места на место свежесрезанный гибкий прут. Одновременно он вручал ученикам листки, там были изображены все двадцать девять букв арабского алфавита.

Я, получив такой листок, не столько интересовался этими крючками, черточками, палочками, завитками, сколько поглядывал на змеиный хвост прута и думал, зачем он мулле. Вчера только я слышал от него слова о любви и примирении, о том, что не надо доставлять ближним огорчений и неприятностей.

Рассадил он нас по возрасту. Младше меня никого не было, в ту пору мне исполнилось шесть лет. Поэтому в любой юрте мое неизменное место было у порога, в обществе ягнят и козлят. Зачастую моими соседями оказывались одряхлевшие от старости собаки, которые вздыхали и сочувственно смотрели на меня слезящимися глазами.

Мулла и учил нас по старшинству. Он подзывал самого большого мальчика и тыкал в алфавит длинным пальцем. Я ни у кого до тех пор не видал таких холеных ногтей.

— Алиф, би, ти...— каким-то незнакомым голосом произносил мулла.— Повтори трижды сказанное мной: алиф, би, ти. А теперь ступай на место и учи.

Но это было только самое начало письменной премудрости.

На наших глазах одна и та же буква претерпевала восемь, а то и девять неузнаваемых превращений. От непривычки, от растерянности мы далеко не сразу усваивали смысл этих таинственных звуков, и тогда ни у кого не оставалось сомнений, зачем мулле понадобился свистящий прут, который он срезáл в тальниках на берегу озера.

Вот буква «а». Сперва она произносилась более мягко и называлась алиф, а изображалась как поставленная стоймя палочка. При этом надо было запомнить, что в таком случае ни сверху, ни снизу никаких черточек не ставится.

Мулла тем же «ученым» голосом наставлял нас:

— Нет в алифе черточек, но одна точечка стоит под «би» и две имеются над «ти».

При новой встрече с той же буквой алиф она имела сразу три произношения.

— Алифсин-а, альбасин-и, алифтур-о... Если сокращенно читать, получается — а-и-о... А читается как одно незнакомое слово аио, то есть как самостоятельные буквы а, ир. Повторяйте, повторяйте, не ленитесь, негодники!

Если прибегнуть к современному казахскому алфавиту, то пришлось бы писать: улы (сын или великий) — аогулы, ондирис (производство) — аондирис, он (десять) — аон, ер (седло, мужчина, смельчак) — аир...

Если бы хоть на этом кончались колебания палочки, начертанной тонким штрихом в наших листках! Но ее шатало как ветром. Сталкиваясь с нею в четвертый раз, мы с голоса муллы начинали однообразно нараспев зубрить:

— Алифки-кусин-ан... Алифки-кусин-ен... Алифки-кутир-он... Ан-ен-он!

Тальниковый прут в руках муллы придавал нам усердия, но не мог прибавить понимания, в каких случаях проклятая черточка утолщается и звучит уже не смягченно, а твердо. Сам учитель иной раз путался в объяснениях, усы у него шевелились, он хватался за прут, и в такие минуты я нисколько не жалел, что я — младший — сижу у входа. Во всяком случае ни за что не согласился бы поменяться местами с Хамитом. Мой бедный брат сидел под рукой у муллы.

Наверное, нынешнему читателю трудно уследить за коварной буквой «а». Но ведь он при желании может пропустить эту страницу. А каково приходилось нам?

Если бы только «а»! Двадцать девять букв, у каждой по восемь-девять звучаний. Это получается что-то около двухсот тридцати вариантов! Так мы блуждали в дебрях арабской грамоты, и некоторым так и не удалось оттуда благополучно выбраться. Так, одним из первых из школы в пастушки выскочил мой брат Сабит.

Время от времени в юрту наведывались взрослые — послушать, как идет учение, повидать, за что они каждый четверг позванивают зеленоватыми медяками, которых не так ведь и много в расписных старых сундуках.

По требованию учителя мы в присутствии кого-нибудь из родителей нараспев выкрикивали громко и отчетливо:

— Алифки-кусин-ан, алифки-кусин-ен, алифки-кутир-он!.. Ан-ен-он!

Чаще других на занятия приходил наш дядя Ботпай.

Хоть он тогда и не купил коней в честь обряда обрезания, но мы все равно любили его. В ауле Ботпай был известен как тонкий знаток и ценитель ловчих птиц и скаковых лошадей. Но особенно славился он умением обращаться с домброй и кобызом[1], которые в его руках становились живыми.

Ботпай слушал, прикрыв тяжелые веки, и поначалу нас брала зависть, что вот ему-то можно, ему никто не запрещает мирно дремать под напевную зубрежку.

Но, оказывается, он не дремал.

— Это что за слова у тебя такие?— не без ехидства спрашивал он молодого муллу.— Алифки-кусин-ан... Неужели это божьи слова? А?.. Скажи мне, неученому.

Мулла опасливо ежился. Ботпай слыл человеком крутого, властного нрава, грубоватым на язык, способным на неожиданные поступки, и потому отвечать ему надо было, хорошо подумав.

— Ботеке, это же божья премудрость,— осторожно начинал мулла.— А книга составлена самим пророком, да будет благословенно его имя и его дела! Что значат слова эти, известно только духовным отцам в Уфе, в Казани... А простым смертным надлежит повторять их с покорностью и смирением.

При разговоре с Ботпаем усы у него не топорщились, он становился вежливым до приторности. А мы замирали от восторга — есть на свете хоть один человек, перед

[1] Домбра, кобыз — музыкальные инструменты.

которым грозный и неумолимый учитель сам начинает робеть и заикаться, словно провинившийся мальчишка.

Слова о покорности, о смирении Ботпай пропускал мимо ушей и наставительно говорил мулле:

— И это называется учением! Недаром же говорят люди: ломка языка. Запомнили бы «ан-ен-он», и достаточно. На кой черт им твои алифки-кусин! Приду через неделю. Будут ученики молоть ту же чепуху — я заберу своего сына.

Неделя миновала и еще неделя. Мы, разумеется, распевали «алифки-кусин, алифки-кутир», и сын дяди Ботпая продолжал распевать вместе со всеми.

Случалось, навестить родителей приезжала Батима — дочь Ботпая, отданная замуж в другой аул.

Она привлекала не красотой, красивой нельзя было ее назвать. Но у меня в памяти и по сей день не стерся ее живой облик. Женственная, обаятельная... А что в ней казалось совсем необычным, так это чувство полной независимости — редкость для женщины старого и, скажем, не только старого аула.

Своих детей Батиме бог не дал. Помню, мы, мальчишки, роились вокруг нее, и она всегда занималась нашими делами: утирала разбитые носы, мирила поссорившихся, потому что никто не мог противостоять ее уговорам и просьбам, утешала обиженных, выговаривала виноватым.

Приезды Батимы нарушали однообразие аульной жизни вовсе не потому, что она любила возиться с ребятишками.

Стоило ей взять домбру, и самые простые, давно известные всем мелодии таинственным образом обретали новую жизнь, будто впервые их слышишь.

Она не только играла, но и пела. Я и сейчас могу при желании услышать ее звучный, бархатистый голос, закрыть глаза — и очутиться на берегу озера Кожабай, заросшего тальником и камышом, увидеть, как широкая багровая полоса заката смотрится в воду далеко от берега, там, где чистое, незаросшее пространство.

Батима играет на домбре, а Ботпай — на кобызе. Играть согласно на двух этих инструментах, кроме отца с дочерью, у нас никто не умел. Батима играет так, словно она одна на берегу и никого, кроме нее, поблизости

нет. А ведь вокруг собралось множество людей из аулов, которые перекочевывают сюда, к озеру, на джайляу[1].

Я чувствую и другое: волнение толпы, пораженной всегда, словно впервые, ее даром, передается Батиме, а через ее пальцы — струнам домбры... И молодая женщина вся светится, хотя солнце уже село, и потемнела вода, и рядом перешептываются камыши.

Теперь я вспоминаю, что тогда, пожалуй, мне впервые пришлось столкнуться, как остро может ранить чужой талант и насквозь пронзить — чужой успех... Среди слушателей сидят и другие музыканты. Вернее, они сами себя считают музыкантами. Домбра, та же домбра, в их руках скучно дребезжит, вызывая одно раздражение. Кто-то из них слушает, придав лицу презрительную недоверчивость. Кто более честен — становится в эти мгновения маленьким, опустошенным, на все время, пока домбра не смолкнет в руках Батимы.

Наступившую тишину вдруг нарушает чей-то голос:

— Да-а... Тут сразу видно, что без обмана... Что Батима — действительно дочь Ботпая!

Ботпай в таких случаях гордо посматривал по сторонам.

Его небогатая юрта притягивала людей. Раздавались прекрасные песни Ахана и Биржана[2], которые привозила с собой Батима, звучали то задумчивые и печальные, то бурные, зовущие в дальнюю дорогу мелодии Арки[3].

Ботпаю мы обязаны еще одним увлечением. В те годы к нам приходили дастаны, изданные в Казани, Уфе и Ташкенте. Удивительное дело, книги, как и люди, вызывали к себе разное отношение. Кто-тс по своему простодушию мог увлечься и легендой по названию «Салсал». Там в слащавых, возвышенных тонах воспевались походы Али, одного из самых близких сподвижников пророка. Али даже породнился с семьей Мухаммеда, женившись на его дочери. По мнению людей, сложивших этот дастан для широкого чтения, сусальные слова в честь Али, безудержное восхваление его мудрости, его доблести — вот что должно укрепить веру, рассеять сомнения у простого народа.

Но дядю Ботпая обмануть было трудно. Его постоянными, глубоко почитаемыми друзьями стали «Кыз-Жи-

---

[1] Джайляу — летние пастбища.

[2] Ахан (Ахан-серэ) — композитор и поэт конца XIX и начала XX века. Биржан — композитор, певец, поэт конца XIX века.

[3] Арка — Центральный Казахстан.

бек», «Козы-Корпеш» и «Кёр-оглы». Заучивать остальное он, видимо, считал занятием недостойным, пустой тратой времени.

Ботпая нельзя назвать исполнителем в обычном смысле этого слова. Он пересказывал произведения по-своему. Он давал объяснения, оценивая поступки действующих лиц и высказывал свое отношение к ним. Помню, читая «Козы-Корпеш», он яростно вскакивал и начинал последними словами поносить Кодара за его коварство, за то, что он на каждом шагу старался воспрепятствовать счастью влюбленных.

«Кыз-Жибек»... По ходу пересказа он не раз останавливался и с негодованием говорил:

— Это наследили своими грязными лапами всякие невежды. Всякие муллы, ходжи! А раньше, в народе, было вот так, как я сейчас вам спою...

И на ходу вносил поправки. Или же делал нравоучительные отступления.

«Кыз-Жибек»... Вот молодая женщина резко, насмешливо отвергает обычай, по которому жена умершего достается кому-нибудь из его братьев. Жибек не успела оплакать своего Толегена, а его младший брат Сансызбай уже домогается ее.

Он слышит в ответ:

Мальчик ты бедный!
Что тебя заставляет лезть под одеяло,
Которым твой старший брат укрывался?..

Ботпай произносил это неторопливо, давая возможность каждому вдуматься в горький смысл этих слов. Если же среди слушателей находились такие, что взяли за себя после смерти старших или младших братьев их жен, то Ботпай прерывал рассказ и обращался прямо к ним:

— Это про вас! Это про вас, низких скотов, говорит наша достойная Жибек!

Те краснели и растерянно улыбались.

И вот — тут бы мне привести пример, как кто-то из них, устыдившись, расстался с женщиной, еще сохранившей память о сильных объятиях того, кто ушел навсегда... Но, к сожалению, такого примера я привести не могу. Ботпай кончал свой рассказ, все расходились по домам, и все шло как было.

Несмотря на это, Ботпай и Батима помогли мне увидеть, какую все же власть имеет над людьми искусство.

Там, на берегу озера Кожабай, или в ауле возле юрты Ботпая люди становились лучше, чище, и если домбра, кобыз не могли мгновенно изменить их представлений о жизни, то все же два врага, разругавшиеся насмерть, могли спокойно сидеть рядом и слушать...

Такая власть не шла ни в какое сравнение с жестокой властью волостного управителя, судьи или несговорчивого сборщика податей, который приехал проверить их уплату и может увести от юрты последнего барана.

Мы ходили к мулле три лета и две зимы, и я познал хитрости арабской грамоты, читал народные предания и мог сравнивать тексты с тем, как их пересказывает дядя Ботпай. Отдельные отрывки я и сам был в состоянии воспроизвести наизусть, но при всех на это не решался.

Отцу удалось поправить дела. Большим табуном, правда, он не обзавелся. Но свершись обряд обрезания в то время, каждому из нас, трех братьев, досталось бы по лошади, чтобы покрасоваться на празднике. И рубашки — новые, и мулле по четвергам — не по две, а по три копейки, пусть знает, что мы не нищие.

Отец победно, с видом: «А что я говорил?», на всех посматривал, а у матери прорывались тяжкие вздохи. Она по опыту знала, чем обычно сменяется такое относительное довольство. И, к сожалению, дурные предчувствия ее не обманули.

Наступил год кабана. Он принес джут. Говорили, джут послан нам за людские грехи.

— Не за грехи, а за лень, за тупоумие!— кричал Ботпай.

Но люди посмеивались над ним, когда он косил камыш, по пояс стоя в озерной воде. В степи не существовало поговорки, по которой «смеется тот, кто смеется последним». Этим последним у нас оказался впоследствии тот же Ботпай.

Вспоминая о тех днях, я понимаю, что в тяжелом бедствии были повинны степная лень и беспечность, кумыс и бесбармак. Мы, бедняки, взяв за пример богатую родню, слишком задержались на джайляу. Но родня-то нанимала работников и позаботилась — скосить сено. А когда все остальные перекочевали на предзимние пастбища, то оказалось: скот кормить нечем. Засуха пожгла травы, травы превращались в труху от копыт животных, бродивших в поисках пищи. А осень только

начиналась, и впереди была долгая сибирская зима.

Занятия в школе прервались. Нечем стало платить мулле. Он уехал.

Наша семья была большая — шестнадцать человек. Но только четверо — работники. Все остальные либо дети, либо старики.

Зима наступила, и трое взрослых ушли к чужим порогам, в батраки. Овцы и козы, коровы, лошади дохли от бескормицы. И ничего нельзя было сделать, и никто не мог помочь!

Голод поселился у нас и стал самым главным в доме. Мне он до сих пор представляется в образе нашей бабушки и голодных детей, то есть нас самих.

Почти половину нашей землянки занимала громоздкая печь. Постоянно кипела вода в чугуне и громыхали голые кости. Кости павшей скотины, костный жир, который в хорошее время вытапливали для варки мыла,— все шло в котел.

Хамит с Сабитом приспособились, и я не отставал от них: когда из костей вываривается костный мозг, то капли жира плавают сверху и постепенно собираются по краям чугуна. Полумрак от постоянного пара — и вот, улучив удобную минуту, когда взрослые отвернутся или выйдут, мы быстро снимаем жир ложками, припасенными заранее. Угроза наказания не может нас остановить. Застань нас кто-нибудь из домочадцев за этим занятием, быть бы нам битыми. Но ложка навара стоит самой жестокой кары.

Чай пили белый и горький. Так он назывался потому, что в кипятке плавали листки шалфея. И все равно мы с нетерпением ждали этой минуты: к чаю полагалась жареная пшеница. Бабушка распределяла: взрослым по две ложки, а детям по одной.

Настороженные взгляды были прикованы к бабушкиным рукам.

— Зачем ты трясешь ложкой?..

— Глубже, глубже черпай!

— Да, когда очередь доходит до меня, твоя ложка всегда скользит по самому верху...

Узловатые старческие пальцы мгновенно решали: кому добавить полнаперстка, из чьей доли — справедливости ради — стряхнуть несколько зернышек...

Мы, дети, старались подсесть к бабушке поближе, угодливо заглядывали ей в глаза, а вечерами, перед сном, наперебой почесывали ей спину. Мы хорошо ус-

воили, что благополучие наших желудков полностью зависит от ее расположения или нерасположения.

Если же бабушка сердилась на кого-нибудь из нас, то был ведь дедушка, был отец... Заискивающе улыбнуться, вовремя подать чашку с чаем, предупредить: ты осторожней, а то пшеница у тебя рассыплется... Десяток зерен за это иной раз удается получить.

Но чем дальше тянулась зима, тем напряженнее становились взаимоотношения за едой. В глазах взрослых улавливалось тоскливое безразличие, и все меньше выпадало добрых минут, в которые к ним можно было подластиться.

Иногда, подавая кому-нибудь из старших чай, рукавом заденешь, словно ненароком, его кучку пшеницы.

— Куда? Куда тянешь?!— послышится злой окрик, и большая рука, попутно ударив по твоей, ревниво подбирает все до зернышка.

Вздохнешь и начинаешь делить свою долю на семь-восемь частей, лишь бы растянуть чаепитие. Чего-чего, а кипятку в тульском самоваре хватало всем. Хлебай сколько влезет, и никто слова тебе не скажет.

Там, где много народу, а еды мало, неизбежно и часто возникают недоразумения, и каждому кажется, что обойден, обижен, обделен именно он. Голод страшен тем, что он отчуждает даже близких.

Стало тесно и неприютно под одной крышей.

Братья решили отделиться. Разрыву между ними и моим отцом предшествовал такой анекдотический случай. У меня в чашке с тем же белым чаем случайно оказалась чаинка. Это у казахов примета к приезду гостя, совершенно нежелательного в такую голодную зиму.

Но я, глупый мальчишка, воскликнул:

— К нам едет сват Муса!

— Нет, это не Муса, а Бойтан,— возразил мне мой брат Сабит.— Видишь, какой разлохмаченный старый малахай на голове?

— Нет, Муса!

— Нет, Бойтан!

Муса был отцом жены третьего брата моего отца, его я уважал больше, чем Бойтана, отца жены второго брата отца.

— Никто в этом доме не уважает мою родню! Никто в этом доме не желает, чтобы они приезжали!— вмешался в детский спор один из братьев отца.

— От такого тестя, с его вечно голодными, жадными глазами, я бы давно отказался!— ответил ему другой брат отца.

И тут кулак брата постарше прошелся по левому уху брата помладше, тот ответил ему ударом по правому уху...

Началась потасовка...После долгих взаимных обвинений, попреков, ссор братья отделились друг от друга. Нам досталась одна овца, яловая корова со сломанным рогом и полуторагодовалый стригун, мухортый. И все они были съедены нами до весны, за исключением стригуна.

Делать было нечего — отец отдал в батраки Хамита, потом и наш Сабит ушел к чужому порогу.

А через год-полтора наступила и моя очередь.

В то лето тысяча девятьсот шестнадцатого года казахов начали призывать на тыловые работы, и к нам неожиданно приехал гость — родной брат матери.

Он рассказал, что придется идти и ему и нужен кто-то, кто помогал бы по хозяйству. У него двое ребятишек, еще маленьких, и жена не может отлучаться из дома. Он уговаривал родителей отпустить меня к ним в аул.

И мать и отец подумали, что все же в доме родственника — не то, что в чужом. И отпустили меня с ним в Кустанайский уезд. Так далеко от родного аула я еще никогда не уезжал.

В их краю аулы селились вдоль речки Убаган. Низкие серые землянки зимовок были здесь те же, что и всюду, но образ жизни люди вели несколько иной. По старой памяти они откочевывали на джайляу, но всего километров за пять, не дальше. Здесь уже давно занимались земледелием, и посевы требовали постоянного присмотра.

Я попал к своим нагаши[1] как раз во время уборки урожая и с утра до позднего вечера проводил в поле, учился вязать тугие снопы, гонял лошадей по кругу во время молотьбы...

Полевые работы наконец все были переделаны, но время отдыха не наступило.

Лов рыбы тоже входил в обычай этого рода. Вместе с другими ребятами и пожилыми мужчинами я плел из

---

[1] Нагаши — родня по материнской линии.

камыша длинные, в два человеческих роста, щиты. Мне показали, как надо плести: к толстому концу стебля подкладывается, наоборот, тонкий, снова толстый, и так до бесконечности.

Лед на реке достиг толщины в два пальца. Мы продолбили его и перегородили речку щитами. В четырех или пяти местах были оставлены проходы, и в них расположены ловушки, плетенные восьмеркой. Казá (смерть) назывался такой способ. Шла ли рыба вверх по течению или вниз, она не могла миновать ловушку.

Как сейчас — не знаю, а тогда в Убагане водилось много рыбы. Только успевай вытаскивать! О стылый лед отчаянно шлепались, били хвостами, а потом затихали щуки, окуни, сазаны, лещи, караси. Особенно долго не могли примириться со своей участью шустрые чебачки. Но успокаивались и они, и в лучах холодного зимнего солнца отливали серебристой синевой, как закаленные в ледяной воде клинки кавказских кинжалов.

К середине зимы на продажу и взапас было наловлено достаточно рыбы, и наступила передышка.

В соседнем ауле находилось двухклассное русское училище. В декабре, не по правилам, красноносый учитель принял меня в первый класс. Я не могу вспомнить его имени, говорили, что он был откуда-то из-под Актюбинска. Но я не забыл размера взятки: шесть рублей — это четыре пуда рыбы, той самой рыбы, которую мне приходилось собирать по утрам, когда река дымилась от мороза, а встававшее над степью солнце было багровым.

Вскоре красноносого учителя уволили. Тогда мы и познакомились с Бекетом Утетлеуовым. Я могу сказать одно: в то далекое время, когда сельских учителей знали наперечет, нужно было какое-то особое счастье — попасть в руки этого педагога, который видел свое назначение не только в том, чтобы научить темных и диковатых аульных ребятишек письму и счету.

После уроков он иногда рассказывал нам разные увлекательные истории, которые расширяли наши представления о жизни. От него мы впервые услышали имя — Крылов. Он читал нам его басни в своих переводах, и мы весело смеялись над тем, как хитрой лисице удалось обмануть ворону, захвалить ее так, что ворона каркнула во все горло и выронила из клюва кусок курта. Бекет знакомил нас с произведениями Абая и Алтынсарина. Что-то забывалось: нам ведь было все-таки не много лет. Но что-то и западало в память.

— За что бы ты ни брался, берись чистыми руками!— Бекет повторял это довольно часто, по самым разным поводам. И мы бегали мыть руки чуть ли не каждую перемену.

А то, что выражение имеет и другой, более глубокий смысл, я понял значительно позднее.

Бекет заметил мою страсть к народному эпосу, к дастанам — и стал давать мне книги. Для начала принес свои стихи, они назывались «Жиган-терген»[1].

Стихи пришлись мне по душе, я запомнил отдельные строчки и твердил их про себя. Бекет спросил: «А что же именно тебе понравилось?» Я долго краснел, запинался, но так и не сумел толком объяснить — что. Мысли-то у меня были, а вот выразить их не хватало слов.

Он не настаивал и дал мне поэму «Шахмаран», велел читать и потом пересказать ему все своими словами. Поэма увлекла меня. Я несколько дней провел над книгой, отказываясь от беготни с ребятами. Не могла не тронуть история царя змей. Меня поразило высокое благородство, с каким он отнесся к человеку, попавшему в беду, и так горько было потом убедиться в черной неблагодарности, в предательстве человека.

Бекет остался доволен моим пересказом. Он спросил, что я еще читал, и я назвал ему дастаны, которые попадали мне в руки там, дома, когда я ходил учиться к мулле.

Как-то вечером к учителю собрались гости. Он позвал меня и заставил выступить. Я сперва ужасно застеснялся. Казалось, я не смогу вспомнить ни слова. Но возникла первая строчка, потянула за собой другую, третью... Это были отрывки из «Кыз-Жибек».

Гости в один голос хвалили искусство юного чтеца. Для неграмотного народа каждый, кто умеет оживить немые слова, написанные в книге, уже считался ученым, уважаемым человеком.

Для меня, два года просидевшего в школе муллы, уроки в первом классе показались легкими. Многое я схватывал быстрее, чем те мои товарищи, для которых учение было в новинку. А ничто так не портит, как ощущение своего превосходства. К тому же я видел: новый учитель расположен ко мне. Злоупотребляя его хорошим отношением, я — не прошло и месяца — заявил Бекету:

---

[1] «Жиган-терген» — здесь в смысле: зарисовки из наблюдений.

— Мугалим[1], я хочу вам сказать: я уже первый класс закончил. Сейчас учу книги второго класса.

Бекет даже растерялся от такой заносчивой самонадеянности. Но грубым он с нами никогда не был.

— Как это — закончил?— удивленно спросил он.

— Да, вы проверьте... Букварь — весь знаю. Какие числа надо сложить или отнять одно от другого — тоже сумею! Вы проверьте, если сомневаетесь.

Какая-то доля истины в моих словах была. Подражая почерку учителя, я стал писать хорошо и разборчиво. И букварь заучил от корки до корки, не хуже, чем дастан.

Бекет строго нахмурился. Но кто у нас не знал, что сердиться по-настоящему он не умеет.

— Разговор у нас такой, словно ученик Габит — это я, а учитель Бекет — это ты... Мне кажется, было бы справедливее, чтобы не ты мне сообщал о своих успехах, а я похвалил бы тебя. А? Как ты думаешь?

Я уже ничего не думал. Я медленно сгорал от стыда.

Бекет дал мне время справиться с моим непритворным смущением, а потом сказал:

— Учишься ты и вправду хорошо, тут я ничего не могу возразить. Но если хочешь стать человеком, никогда не будь доволен собой. Всегда говори сам себе: я мог бы сделать больше, чем сделал...

Я молча переживал свой позор. Бекет добавил, будто ничего не произошло:

— Послезавтра к нам приезжает инспектор. Он будет проверять, как работает школа. Он просил, чтобы я показал ему не только средних, но и лучших учеников. Ты готовься. Я вызову тебя по арифметике.

Я бы предпочел прочесть что-нибудь, к тому времени я заучил и несколько русских стихов. Но ладно, арифметика так арифметика. Хоть и надо было думать: «Я мог бы сделать больше, чем сделал», а приятно щекотало самолюбие, что он посчитал меня в числе лучших.

...Мы знали, что инспектор — это начальник, как волостной, а может, и еще выше. Он и одет был как начальник — в темно-синей форме с золотым шитьем; носил усы и бородку клинышком.

Когда он вошел в класс и вежливо с нами поздоровался, я удивился. Там, у себя в ауле, я привык: если начальник, значит, будет громко кричать, чего-то требо-

---

[1] Мугалим — учитель, наставник.

вать, замахиваться камчой. А этот — какой-то непохожий, какой-то другой.

На стене в тяжелых позолоченных рамах висели портреты самого царя и самой царицы. Инспектор, как положено, спросил, знаем ли мы, кто изображен на них.

В ответ потянулись руки.

— Хорошо... Ты скажи,— обратился инспектор к Мусатаю, который даже привставал на месте от нетерпения, всем своим видом показывая, что он-то расскажет лучше всех, если только его попросят.

Но когда, не вникая в смысл, заучиваешь длинное предложение на чужом малознакомом языке, оно быстро вылетает из памяти. Мусатая хватило только на то, чтобы проворно вскочить и стать в проходе, четко вытянуть по швам руки. Потом он растерялся от собственной смелости. Шумно проглотил слюну и буркнул:

— Нызнаю...

Инспектор искоса посмотрел на нашего учителя, и тот покраснел, как мальчик.

— Тогда ты скажи...— Инспектор обращался к самому здоровому из нас парню — двадцатилетнему Жакыпу, с трудом умещавшемуся на своей последней парте.

Так же с трудом он вылез из нее и вытянулся, не зная, куда девать большие руки.

— Йаго́...— начал Жакып, вздохнув.

— Не «йаго», а его,— поправил инспектор, и этого было достаточно, чтобы Жакып растерялся и умолк окончательно.

Наш бедный учитель совсем упал духом; его глаза медленно блуждали от парты к парте, где сидели те, на кого он мог рассчитывать. Я понял его и начал старательно тянуть руку, не хуже, чем только что — Мусатай.

— Ладно. Попрошу тебя,— повернулся инспектор ко мне и кивком головы показал на женщину, которая с высоты смотрела на неуклюжего казахского парня, каким я был в то время.

Учился я в первом классе, а было мне уже почти четырнадцать. И язык мой, как у всех великовозрастных учеников, оставался неповоротливым. Для меня особенно трудным было слово «ея», которым начинался непомерно длинный титул императрицы всея Руси. «Ия», а то и вовсе «иа» — у меня каждый раз получалось по-разному и всегда неправильно. Поэтому я постарался побыстрее перескочить злосчастное слово. Мне

это удалось, и дальше я все выпалил одним духом.

Было видно, что инспектор остался доволен. Он кивнул Бекету и вызвал меня к доске. Таблицу умножения я знал и ни разу не сбился, отвечая, сколько будет четырежды восемь, пятью девять, восемью семь. Решил я и две задачи, которые он задал.

Бекет понемногу пришел в себя и предложил инспектору спросить меня и по русскому языку. Тот подумал и велел прочесть басню. Что я читал? «Чижа и голубя» или «Мартышку и очки»?

Чижа захлопнула злодейка-западня:
Бедняжка в ней и рвался, и метался,
И голубь молодой над ним же издевался...

Раз я и сейчас могу свободно прочесть ее до конца, читал я скорей всего именно эту басню.

В нашем классе было пять девочек. Три из них, боясь инспектора, не пришли в тот день в школу. А одна из двух — та, что была побойчее,— тоже прочла стих. Меня инспектор наградил сборником Лермонтова, а девочку — томиком Пушкина. Выходя после уроков из класса, девочка ударила меня Пушкиным, а я ответил Лермонтовым.

Я читал Лермонтова, некоторые стихи даже заучил наизусть. Но смысл их был для меня не всегда понятен.

Что же такое «император», «парус», «капитан»? Вот стихотворение «Терéк». Терéк по-казахски осина, и я никак не мог уразуметь, что же получается: «Терéк воет, дик и злобен, меж утесистых громад». Ветер, что ли? Бекет, спасибо ему, объяснил: Тéрек — есть такая река на Кавказе, течет в горах, потому такая бурная.

Другое дело — басни. Там многое было понятно. Сам автор объяснял, в чем их мораль. Там действовали звери, которых можно было встретить в нашей степи или же на страницах дастанов; там все было расставлено по своим местам: кого считать хорошим, кого — плохим, кого осудить, над кем посмеяться, кому посочувствовать.

Всего четыре дня минуло после отъезда инспектора. И одно событие навсегда определило нашу жизнь, нашу судьбу.

— Свобода! Свобода!— кричали всадники, носясь по улицам, заскакивая в ближние аулы.— Царя больше нет!.. Свобода!— И требовали суюнши[1].

---

[1] Суюнши — подарок за доставленную добрую весть.

Но есть царь или нет его, а на следующее утро мы все пришли в класс. Первое, что бросилось в глаза,— учитель успел снять со стены августейших особ, прислонил их к столу. Оказывается, их портреты были намалеваны масляными красками по жестяным листам. И роскошные позолоченные багеты тоже были из тонкой жести.

— Сегодня — никаких занятий!— сообщил нам сияющий Бекет — у него на пиджаке, словно цветок, алел бант.— Раз все свободны, и вы свободны, дети. А вот этих двух...— Он щелкнул пальцем по одному из портретов.— Этих можете таскать по всему поселку, волочить их по земле. Так, чтобы к вечеру никто и признать не мог! И кричите, кричите во все горло, что царя больше нет, что теперь — свобода! Кричать-то вы, по-моему, умеете неплохо.

Да, кричать мы умели. Быстро нашли веревочные обрывки — и поволокли за собой царя и царицу. До самого вечера мы носились по улицам, навещали соседние аулы. Наша шумная ватага была слышна издалека. Люди выходили навстречу. Одни молча наблюдали за всем происходящим, никак не высказывая своего отношения. Говорят, царя нет... А вдруг он снова возьмет в свои руки власть, и что тогда будет с теми, кто поносит его на разные лады при всем народе.

Другие не скрывали своих чувств. Они кричали, радовались, приглашали нас в дома и угощали, кто чем мог.

Помню, одна пожилая женщина — казашка, которая сроду не видала царского портрета, все удивлялась:

— Ну и рожа у него! Он, сатана, ко всему и кривой на один глаз!

Она не подозревала, что это Жакып отколупнул краску.

В конце концов нам надоело таскать портреты. Мы сунули их в прорубь на Убагане.

Наступило лето.

Это лето стало переломным в моей судьбе. Бекет Утетлеуов написал прошение в Пресногорьковскую школу. Он лестно отзывался о моих способностях и настаивал на том, что мне необходимо продолжить учебу в русской школе.

Ход моего рассказа опять немного нарушится, но сказать несколько слов о Бекете я должен.

Он был одним из тех немногих казахов, которым удалось получить образование в учительской семинарии. Мог бы остаться в городе, но не остался. Если бы одним словом определить всю сложность и неповторимость его натуры, я бы сказал о нем — просветитель. Таким он был в те годы, когда я, мальчишка, впервые встретился с ним. Таким знали его и все последующие поколения учеников — Бекет Утетлеуов долгие годы преподавал литературу в одной из школ Кустаная.

Он никогда не бросал писать стихи, но без лишних восторгов, очень взыскательно относился к своему творчеству. За всю свою жизнь (Бекет умер несколько лет назад) он счел возможным опубликовать один сборник, который выдержал испытание временем и незадолго до смерти Бекета был переиздан.

У меня нет сейчас возможности подробно рассказывать о Бекете — так подробно, как он заслужил это своей жизнью. Но должен признаться, что и слово учитель у меня навсегда осталось связанным с его именем, пусть почиет он в мире, как хорошо говорилось в старину, и пусть его дела продолжатся в делах его многочисленных учеников.

А теперь вернемся в тысяча девятьсот восемнадцатый год.

Вступительные экзамены в Пресногорьковке принесли мне уверенную пятерку по арифметике и блистательный провал по русскому языку. И все же меня приняли. Очевидно, поверили Бекету на слово.

Осенью того же года в соседнем ауле — не помню, по какому случаю,— был той.

Я натянул новые кожаные сапоги, из-за голенищ которых выступают плотные войлочные чулки. Называется такая обувь — саптама́. Я надвинул на самые брови ушанку из серого искусственного каракуля. Больше всего огорчений мне доставляло мое «пальто». Одна знакомая казашка перешила его из солдатской шинели. Перешила почти даром — она была добрая женщина, но стоит мне припомнить мой тогдашний вид, и я понимаю, что доброта все же не имеет отношения к портняжному искусству. Пальто делало меня горбатым, чего за мной не водилось, и руки казались длиннее, чем они были на самом деле.

Я даже удивился, что меня узнал и окликнул на тое

один знакомый — земляк. Сабит, Сабит Муканов заговорил со мной, несколько смущаясь. То ли мой вид привел его в недоумение, то ли моя природная замкнутость сдерживала даже такого общительного человека, как он.

Немного привыкнув друг к другу, мы посмеялись. И поделились своими намерениями на будущее.

Сабит держал путь в Омск, на учительские курсы. Удивительно, что и до него дошел слух, как я на прошедшей весной ярмарке выписывал землякам «достобирены», то есть удостоверения на продажу лошадей. Неграмотные люди — старше меня годами — уважительно обращались ко мне: писарь, и, пожалуй, тогда я получил свой первый гонорар, в общей сложности три рубля. По тем временам деньги немалые.

Предвидя, что на большой осенней ярмарке ему тоже придется подработать на жизнь, Сабит и попросил у меня образец. Я дал ему образец на темно-серую лошадь.

Я предупредил, что нужно указывать масть, и столбиком выписал казахские названия, а напротив каждого из них — русские: бурыл — чалый, жирен — рыжий, кула — буланый, сары — саврасый, кара — вороной, шубар — пегий, торы — гнедой. Кроме того, я счел необходимым написать и возможные «особые приметы»: клейма, тавро.

Позднее, на следующей весенней ярмарке, я узнал, что Сабит воспринял образец слишком буквально.

В его описании все лошади стали темно-серой масти — и вороные и гнедые. У всех таких лошадей «правое ухо порото, под седлом подпарина, грива на обе стороны...» Такое же удостоверение он писал на рогатый скот и баранов.

А в какую передрягу попадали с таким «достобиреном» хозяева продаваемых животных! Ловкие базарные стражники быстро смекнули, как извлечь из этого выгоду. Они обвиняли аульных казахов, что лошадь краденая, и отпускали их, насмерть перепуганных, только за хорошую взятку.

Так и случилось со многими. В не меньшую передрягу попал и автор этих «достобиренов».

Отец согласился на мою учебу в Пресногорьковке потому, что в то время его коржун довольно прочно держался на хребте шалого стригунка. Но на то, чтобы снимать квартиру у русских, средств все же не хватало.

Я поселился на окраине станицы, в доме Сагиндыка. Он пас крупный рогатый скот, принадлежавший местным казакам. Его семья давно прижилась в Пресногорьковке. Женщины шили тулупы на продажу, сам он сапожничал, возил дрова и сено, зимой чистил проруби.

Все они довольно чисто говорили по-русски, и в их присутствии я долго не решался прибегать к этому языку из-за совершенно ужасного своего произношения. Подружился я с младшим братом Сагиндыка. Его звали Сыздык. В детстве он бегал в русскую школу — и тогда же русскими буквами записал казахскую поэму «Кыз-Жибек».

Но если с Сыздыком я чувствовал себя свободно, то особенно стеснялся Салимы и Шайзат. Им исполнилось четырнадцать и тринадцать лет, и, по тогдашним понятиям, они считались взрослыми девушками. Этим насмешницам доставляло удовольствие ставить в неловкое положение аульного паренька, который только-только попал в большую обжитую станицу.

Я решил — раз я стал таким взрослым и начитанным, что сам Бекет-ага хорошо обо мне отзывается, то надо стараться преодолевать природную застенчивость. Что, они съедят меня, что ли?.. Первым делом надо показать двум остроязыким сестричкам, что я ничем не хуже тех, кто вырос и живет в Пресногорьковке.

Случай для этого скоро представился. Я возвращался домой из школы. А дорога вела мимо базара.

Немолодая русская женщина бойко покрикивала:

— Яблочки, яблочки!.. А кому яблочек...

Из русско-казахского словаря, в который я заглядывал, мне было известно, что яблоками называется «алма»— сочный, вкусный и сладкий плод, растет на деревьях. Очевидно, именно потому, что я знал значение слова, а в глаза не видел яблока, я и остановился возле нее. В наших краях яблоки не росли.

— По две копейки штука,— ответила женщина на мой вопрос, почем ее товар.— А сладкие, а вкусные — чистый мед.

Я взял у нее десяток. Плоды были зрелые, готовые лопнуть от малейшего прикосновения. Положить их мне было некуда, пришлось рассовать по карманам куртки и брюк.

Шел я осторожно, как человек, непривычный к седлу и проделавший долгий путь верхом. Уже почти у дома я почувствовал — карманы отсырели.

На мое несчастье в юрте оказались гости.

Салима и Шайзат с важным хозяйским видом сидели по обе стороны самовара и разливали чай. Мои возражения не помогли, Сагиндык усадил меня за дастархан[1]. Гости, свернувшие ноги калачиком, потеснились, и я опустился на кошму рядом с ними.

Не успел протянуть руку за пиалой — и карманы брюк из сырых стали мокрыми. Предательские темные пятна выступили снаружи. А те яблоки, что я положил в карманы куртки, раздавили соседи. За дастарханом было тесно, и мы сидели локоть к локтю.

Чаепитие продолжалось долго. Во-первых, надо рассказать все новости друг другу, а во-вторых — аульные казахи очень любят хлеб, печеный из кислого теста, и молодые гостеприимные хозяйки подавали буханку за буханкой.

Наконец все напились и наелись. Девушки убрали самовар и отправились собирать топливо. Я выскользнул следом за ними. У Сагиндыка со мною состоялся уговор, что я буду помогать по хозяйству.

Мы отошли от дома, и я набрался храбрости — отдал девушкам свои гостинцы.

— Вот... Яблоки... Для вас купил. Для тебя, Салима. Для тебя, Шайзат,— буркнул я.

Салима степенно взяла в руки изрядно помятое «яблоко», взглянула на мои мокрые штаны и не выдержала — расхохоталась. Шайзат, порывистая, избалованная своим положением младшей, любимицы, выбила из моих рук красные плоды, подхватила их и побежала обратно, крича на ходу:

— Мама! Мама!— Она заливалась веселым смехом.— Ты посмотри, какие гостинцы купил нам Габит на базаре! Яблочки, говорит, а это помидоры! Помидоры!

Салима, заразившись ее весельем, совсем обессилела от смеха и повалилась на траву.

Так бесславно закончилась моя первая (но не последняя) попытка поухаживать за девушками. Откуда мне было знать, что в Пресногорьковке и вообще в тех краях местные жители называют «яблочками» помидоры.

...Четыре года в Пресногорьковской школе. Я еще застал — перед началом уроков все ученики, независимо от вероисповедания, выстраивались в актовом зале на

---

[1] Дастархан — скатерть; здесь — накрытый стол.

молитву. Впереди в нарядной шелковой рясе стоял преподаватель закона божьего — священник Малиновский. Рядом с ним директор Михайлов, дьякон и учителя. Начинали мы неизменно: «Отче наш, иже еси на небеси... Да святится имя Твое... да придет царствие Твое... да будет воля Твоя...» Он, Ты, Боже праведный — мы произносили это с большой буквы, в просторном зале на втором этаже гулкое эхо вторило нам.

От сильного баса Малиновского, если он бывал в ударе, дребезжали стекла. Ему вторил дьякон — душа церковного и «светского» ученического хора. Дьякон был молодой, красивый, и наши девушки охотно пели у него. Как всякий артист, он ценил их преданность. На уроках музыки и пения дьякон в сторону мальчишек и не смотрел. Казалось, он обучал одних девушек.

Что было хорошо в Пресногорьковской школе, так это усиленное внимание к русскому языку, к словесности, как по старой памяти называли преподавание литературы. Очевидно, наши учителя считали — и справедливо, что именно литература поможет их питомцам разбираться в сложностях жизни. Сколько души они вложили, сколько усилий потратили на то, чтобы сгладить шероховатости суконного моего языка, научить вникать в смысл слов, которые произносишь. Какое нужно было, например, терпение, чтобы на протяжении двух лет неутомимо поправлять меня: не суппи́кс, а су́ффикс. Плексия́ — неправильно, надо — фле́ксия.

В школе думали и о нашем земном будущем, а не только о высоких материях. Желающие могли обучиться столярному ремеслу, сапожному, были свои каменщики, свои швеи.

К двадцать первому году с Колчаком в наших краях было давно покончено. Но еще находились люди, которые надеялись вернуть прошлое. Весной вспыхнуло восстание против Советской власти, и мы, девять учеников-переростков, способных носить оружие, вступили в отряд: «Южная группа партизан Акмолинской губернии». Им командовал Дмитрий Ковалев, родом из Анновки, небогатой мужицкой деревни.

Вылазка белобандитов вскоре была подавлена. Мы через три месяца вернулись в школу, и, видимо, за причастность к боевым подвигам для нас отменили выпускной экзамен. Заменили его сочинением на свободную тему.

Русский язык и литературу вела Сильвия Михайлов-

на — не то латышка, не то полька. Молодая, красивая женщина. По ней многие тайно вздыхали. У нее глаза живые, яркие, глубокие, как озеро Кожабай, возле которого наш род проводит лето... И голос у нее красивый, особенно когда смеется,— серебристый, напоминает колокольцы на тройке. Приятно слушать, даже если она, вот как сейчас, называет темы сочинений. А от них зависит вся моя дальнейшая судьба.

Сильвия Михайловна говорила:

— Выбирайте сами... Можно написать о том, что вот в эти весенние дни в наших краях крестьяне сеют хлеб. Хлеб! Не забывайте, что Поволжье голодает. Во многих городах до сих пор выдают осьмушку на взрослого. А у нас в станице у некоторых людей амбары лопаются... Хлеб — вот одна из тем ваших сочинений... Потом — у нас открылась весенняя ярмарка. Это тоже тема. Некоторые из вас участвовали в ликвидации опасной банды. Им, верно, есть о чем рассказать после похода.

Я горделиво расправил плечи, когда она заговорила про тех, кто ходил с партизанами Ковалева. Но тему все-таки выбрал другую: «Пресногорьковская весенняя ярмарка 1921 года». Так было написано на доске рукой Сильвии Михайловны, и это название я вывел у себя в тетради.

Только вчера я ходил на ярмарку — и наблюдал там немало случаев, когда грустное и смешное шло бок о бок, и было непонятно — радоваться или печалиться.

Ярмарки не бывает без того, чтобы не поторговаться. Если продать, так подороже, а купить — подешевле... Для таких, которые не понимали языка друг друга, были общепринятые знаки: рубли показывались на пальцах, копейки — на суставах, полтинник обозначался полпальцем.

— Двадцать!— говорил русский крестьянин, дважды выбрасывая перед продавцом сжатые кулаки.

— Жиырма!..— утверждал свое казах, тоже два раза выставив оба кулака, но несогласно мотая головой.

— Чего же тебе еще?— недоумевал покупатель.

Казах неодобрительно молчал, поглаживая шею быка, с которым и не стал бы расставаться, если бы не нужно было покупать серники, керосин, ситец на рубашки и платья, в особенности чай!

— Ладно, пусть...— решался русский, что-то прикинув в уме.— Пятерку прибавлю,— показывал он опять же на пальцах.

— Бес? Жок, жок,— не соглашался продавец и настаивал:— Бир бут ун.— Это означало: «Прибавь пуд муки».

Казах не мог объяснить, что ему нужно, русский не понимал казаха, а толмача, будто назло, поблизости не было. Казах показал, как жуют хлеб.

— Калач тебе?.. Буханку?..— В голосе покупателя послышалась злость.

Продавец же никак не мог изобразить му́ку. Тут ему ни лицо, ни руки не могли помочь, и сделка не состоялась. Русский выругался по-казахски, казах — по-русски, и они разошлись. Русский махнул рукой, а казах сплюнул.

Неподалеку от них несколько приезжих из аула, стараясь не выдать восхищения, рассматривали серого в яблоках коня, на котором перед ними, туго натягивая поводья, гарцевал цыган в яркой красной рубахе. Он один выпускал семьсот слов, пока те семеро успевали произнести семьдесят на всех.

Его кнут резко свистел в воздухе. Цыган то соскакивал, предлагая любому, кто захочет, проехать на его коне. А кто проедется — уже не захочет с него слезть... То снова взлетал в седло, делая вид, что пришел в отчаяние от несговорчивости покупателей, от их непонимания собственной выгоды.

— Даром же отдаю! Даром!— кричал он.— Ты ход проверь, милый! Садись и проверяй ход. Сам бы ездил, да деньги надо...

Три джигита, сохраняя недоверчивое выражение на лице, поочередно проехались на красавце-жеребце, потом отошли в сторону, посовещались, и один из них стал отсчитывать замусоленные пятерки, трешки, рубли. Цыган хлопнул нового хозяина по руке, из полы в полу передал ему повод — и растворился в ярмарочной толпе.

Продолжение этой истории я узнал в доме Сагиндыка: покупатель оказался его знакомым.

К вечеру конь захромал на переднюю ногу, а к утру слег. Повели его к ветеринару. Ветеринар осмотрел, пожал плечами и сказал, что водка, которую накануне влили в коня, выдохлась, и, если хозяин в самом деле собирается на нем ездить, надо его каждый раз подпаивать.

Растерянный приезжий бродил по ярмарке, расспрашивал, не видел ли кто человека с черной бородой и кнутом, в красной атласной рубахе и черной жилетке.

Вот из таких картинок и состояло мое выпускное сочинение — в ученической тетради оно заняло десять страниц.

А через день или два весь наш класс толпился в коридоре, у закрытой двери учительской. Вызывался по одному. Нас, великовозрастных, было девять, как я уже говорил. Восемь переступили порог и возвратились с бумагами в руках: свидетельствами об окончании школы.

Я настороженно прислушивался. В учительской шел какой-то спор. Звонкий обычно голос Сильвии Михайловны звучал приглушенно — сердито и обиженно. Она на чем-то настаивала, а с ней, видимо, не соглашались. Один только раз мне удалось разобрать ее запальчивые слова:

— А я вам всем говорю!..

Мои товарищи держали свидетельства в руках, словно боялись их помять в карманах или потерять. Они сочувственно посматривали на меня, а потом ушли, когда выяснилось, что дело тут долгое.

Я провел в одиночестве часа полтора. Наконец дверь распахнулась, и Сильвия Михайловна, вся раскрасневшаяся, возбужденная, пригласила меня в учительскую.

Я вошел ни жив ни мертв. Директор хмуро листал мою тетрадь с сочинением. Он с укором взглянул на меня: «Ты видишь?»— было в его взгляде.

Да, я видел... Фиолетовые строки, сплошь исправленные красными чернилами Сильвии Михайловны, словно там шел кровопролитный бой, ни одного живого слова не осталось. Мои несогласованные склонения и спряжения, причастия и деепричастия напоминали стоящие вкось и вкривь крестьянские телеги на ярмарке.

— Сто пятьдесят!— воскликнул директор.— На десяти страницах сто пятьдесят ошибок!

Я совсем сник. Как теперь быть? Остаться еще на год в школе? Или бросить все, уйти? Но тут директор неожиданно показал мне последнюю страницу.

Невероятно, но теми же красными чернилами там была написана большая цифра — 5. И вызывающе подчеркнута двумя красными чертами. Я закрыл глаза и снова открыл их.

Директор больше не хмурился. Он улыбался.

— Нет, это тебе не чудится...— Его голос звучал доброжелательно.— Скажи великое спасибо Сильвии Михайловне. Это она... Она одна против всех нас. Убедила. Говорит, что ты станешь писателем.

Сильвия Михайловна сидела за столом. Директору она улыбнулась победно, а мне — ободряюще, дружески.

Так я впервые услышал о том, что меня ждет впереди. Ни о каком писательстве я тогда, конечно, не помышлял. Я рвался домой — наводить порядки в своем ауле, в своей волости. По слухам, баи ловко приспособились и к новым условиям.

Парень, который вернулся в родной аул летом двадцать первого года, был не похож на того, который когда-то уезжал отсюда. Возмужал? Да... Много повидал? Да, ты много повидал... Так я разговаривал сам с собой, сидя на берегу моего озера и глядя на свое отражение в спокойной прибрежной воде.

Я действительно изменился. На эту мысль меня наталкивало и то, что «советский учитель» Есым Досболов разговаривал со мной как равный с равным.

Если бы кто-нибудь издали наблюдал за нами, то подумал бы: эти двое вот-вот подерутся. Вскакивают с места, размахивают руками, кричат друг на друга.

На самом деле мы проявляли полное единодушие и просто убеждали один другого, что дальше терпеть нельзя. Волостной Совет, аульные Советы по-прежнему в руках баев. Они вроде в стороне, должностей там не занимают. Действуют через подставных, целиком от них зависимых и послушных их воле. Лжебельсенды — называли таких людей в газетах. Ложный актив. По существу байские прихвостни.

Однажды Есым, я и с нами еще трое активистов, которые думали так же, как мы, с утра поехали в аул, где находилась новая власть — волревком.

Председателем его был сын одного из баев, и весь состав ревкома состоял из представителей различных сильных родов.

На каком-то новом языке, угрожающем по своему скрытому характеру, мы потребовали созыва волостного съезда и обсуждения дел в волости.

Председатель волревкома кивнул и ушел, пообещав вскоре вернуться.

— А что, если они не захотят уступить?— задумчиво обратился к самому себе Есым.

— Как — не захотят!— Это бурлили мои девятнадцать лет.— Людям все объясним, они заставят их подчиниться! И не забывай, что я родился в год барса!—

Я воинственно взглянул на свою партизанскую берданку, осмотрелся по сторонам, нет ли поблизости когонибудь, кто захотел бы оказать нам сопротивление.

Председатель вернулся.

— Собирать людей — много займет времени,— сказал он.— Кто на джайляу, кто еще на зимовке... У каждого своих дел много. Лучше мы сами... Хотите отстранить нас от работы — пожалуйста! Отстраняйте. Беритесь сами — и управляйте делами. А мы уходим по доброй воле.

Видимо, они не захотели на людях обсуждать, спорить до хрипоты, опровергать справедливые обвинения. Шума не захотели.

Так на протяжении получаса в нашей волости были смещены без разбора председатель волревкома, секретарь, военком, заведующий отделом народного образования, заведующий земельным отделом. Мы принялись распределять между собой обязанности.

После похода с партизанами я стал питать особое пристрастие к оружию. Шашка на поясе, винтовка за плечами, а еще лучше — наган в кобуре, и больше мне ничего не надо!

Учитывая боевой опыт, меня единогласно решили назначить военкомом.

Очень странно, но в губернском центре нас не только не осудили за беззаконие, за самоуправство, а утвердили в новых должностях. Утвердили и наше первое решение — о переносе волостной столицы в другой аул. Есым убедительно обосновал его: у бывших хозяев здесь слишком много приспешников, а в другом ауле, в бедняцком, нам легче будет сговориться с людьми.

Но старый аул со скрипом поддавался новшествам. Вспоминаю свои разговоры с одним пожилым человеком из соседнего аула, его звали Омар.

— А ты чей же будешь, парень? Чей родом?— спрашивал он, не узнавая меня и после двадцатой встречи. Внимательно выслушав ответ, он продолжал расспросы:

— А-а... Как же! Вот, оказывается, ты кто. Я тебя узнал... Все еще на старом месте?

— Да, Омеке, на том же самом.

— А кто теперь ваша милиция?— Он имел в виду главное лицо в волости.

— Все тот же молодой джигит.

— Ну слава аллаху... А каператып — кто?— Это он

интересовался председателем потребкооперации, который считался вторым по влиятельности человеком в волости.

— Вы его знаете, Омеке. Высокий такой...

— Значит, все по-прежнему, все на своих местах. Ну слава аллаху, слава аллаху.

И мы расставались до следующего раза, когда все эти вопросы повторялись в той же последовательности. Других вопросов я от Омара не слышал. Он знал одно: милиция — это власть. Капературып — лавка. От власти лучше подальше, к лавке — поближе... Хорошо, что на этих местах остались прежние люди, которых он уже знал и к которым привык.

Я искренне огорчился, когда через девять месяцев в волостях упразднили должность военкома и я лишился своего оружия. Кто знает, не случись этого, я бы сегодня ходил в генералах, а не остался на всю жизнь рядовым солдатом.

А тогда я не мог примириться с мыслью, что должен буду расстаться с оружием, и потому пошел работать в милицию, заместителем начальника, а в аулах меня стали звать Габит-орынбасар[1].

Но время шло, и я все чаще вспоминал разговоры с Бекетом Утетлеуовым, его советы и наставления. Вспоминал пророчество Сильвии Михайловны. Но вместо поэм и рассказов я пока писал протоколы: лошадь мухортой масти, украденная у Мухаммеджана из аула Алдай, задержана в Пресновке, но ее новый хозяин Тулеу отрицает, что он ее украл, а говорит, что купил...

Я принимался за расследование, но уже понимал, что эта работа — не навсегда, не надолго, что меня ждут новые дороги.

Домой на побывку приехал Сабит Муканов. Мы с ним встретились. Это было в разгар лета, в двадцать третьем году.

Оказывается, Сабит к тому времени давно перекочевал в Оренбург, на рабфак. Что такое рабфак?.. Рабочий факультет. Туда принимают тех, для кого в прежние годы дорога к высшему образованию была закрыта.

Честно говоря, я завидовал Сабиту. Ведь он с восемнадцатого года жил в больших городах, его кругозор

[1] Орынбасар — заместитель.

был гораздо шире, чем у меня. Он легко и свободно рассуждал о положении дел в стране, о будущем Казахстана, о международных отношениях. И знал об этом не понаслышке, а из первых рук — из Оренбурга[1]. Жил он у самого председателя Совнаркома — поэта-революционера Сакена Сейфуллина, который поддерживал подающую надежды творческую молодежь. И это понятно: ведь председатель Совнаркома республики Сакен Сейфуллин — один из основоположников современной казахской литературы, большой поэт, чьи стихи расходились по нашему степному краю, пожалуй, быстрее, чем подписанные им постановления.

— Едем!— говорил Сабит.— Что тебе здесь сидеть? А в Оренбурге у нас — знаешь...

И начинал рассказывать о своих знакомствах, встречах, о своих стихах.

Его слова падали в благодатную почву. Я мысленно представлял себя там, в большом городе, среди студентов. Я удивлял их своими рассказами об увиденном, своим знанием жизни...

— Ты говоришь — едем? И я говорю — едем!— так однажды заявил я Сабиту.

Остались позади юрты родного аула. В который раз... Я оборачивался в седле. Юрты исчезли из глаз. Мой конь, сообразив, что дорога предстоит не близкая, что это не просто поездка в соседний аул, перестал упрямиться, заворачивать обратно и пошел веселее.

Наконец добрались до Петропавловска, а там пришлось распрощаться с верным конем, который по крайней мере трижды уносил меня от гибели. Как сейчас помню: в Петропавловске ухожу с постоялого двора, а он смотрит мне вслед, словно понимая, что наша разлука — навсегда.

Конь у меня был рыжий, с белой звездочкой на лбу, а задняя нога в белом чулке.

В Оренбурге Сабит с вокзала повел меня на квартиру Сейфуллина. Поэта-председателя окружало столько молодых поэтов, певцов, композиторов, что появление еще двоих не могло его удивить. Еще двое? Ну еще двое...

Правда, самого Сакена мы почти не видели. Когда он возвращался из поездок в Оренбург, то с утра до поздней ночи бывал в Совнаркоме. Кроме того, он зани-

---

[1] Правительство республики в те годы находилось в Оренбурге.

мал и пост редактора в газете «Енбекши казах», единственной, выходившей на казахском языке. (Сейчас это — республиканская газета «Социалистик Казахстан».)

Он все время уходил, но с нами оставались его стихи. В стихах и великолепный скакун, который соперничает с ветром, и задумчивая домбра, которой известны самые сокровенные движения человеческой души, и огненный паровоз, который стремительно и неудержимо проносится сквозь древнюю степь, пожирая пространство,— все эти образы становились революционными символами.

Стихи мы читали в тесной каморке, в квартире Сейфуллина.

Единственное окно выходило на веранду. Здесь было темновато, но это нас даже устраивало. Можно не очень следить за чистотой. Не обязательно подметать пол, не говоря уже о том, чтобы его мыть. Я был по натуре беспечен, и Сабита тоже не приходилось считать образцом порядка и организованности.

По углам валялись махорочные окурки. Мы их не выметали сознательно. Когда по ночам у нас кончался «темеке», то до утра мы не беспокоились о куреве, подбирая «бычки». Тогда-то я и понял, что безалаберность в иных случаях приносит неоспоримую пользу.

На ночь мы вдвоем устраивались на односпальной железной кровати. Сетка была давно порвана, и мы накрыли кровать фанерными листами от ящиков из-под чая

Часто среди ночи раздавался грохот, сопровождаемый приглушенными чертыханиями,— мы своими боками проверяли прочность пола. Хочешь не хочешь, приходилось подниматься и наскоро латать кровать. Сабит тут же засыпал снова, не обращая внимания на подозрительные шорохи и потрескивания.

Конечно, чего бы проще — заменить изломанную фанеру новой. Но Сабит полагал, что я должен этим заняться, а я думал, что он. Мы прожили в комнатке почти полгода, и все это время сопровождалось однообразными ночными происшествиями.

Сабит как одержимый писал стихи, и ни на что другое у него не оставалось ни желания, ни времени, ни сил. Он радовался каждой удачно найденной рифме и заставлял меня радоваться вместе с ним. А я посматривал на него из-за учебника и думал с опаской: к добру

ли Сильвия Михайловна, славная женщина, предсказывала мне писательскую будущность? Неужели и меня ждет это: ради какого-то одного слова мучиться так, словно тащишь огромный мешок и вот-вот свалишься под его тяжестью...

Но если бы не литературные упражнения Сабита, мне туго пришлось бы в ту оренбургскую зиму, особенно в первое время. Сабит печатал свои стихи в газете, в журналах и получал за это гонорар. Он и меня убеждал — писать. Но я пока не мог решиться, и он стал приносить из редакции для перевода различные постановления, директивы, отчеты, которых и в те годы было много.

Официальные документы порой переводились так приблизительно, таким оказененным языком, что люди на местах — а им эти материалы адресовались в первую очередь — вряд ли понимали, о чем вообще идет речь.

Должен признаться, что и я внес посильный вклад в это дело. Но так или иначе, переводчику платили. Гонораров Сабита и моих заработков за непреднамеренное искажение официальных материалов вполне бы хватило на безбедную жизнь. Но мы совершенно не умели расходовать деньги и потому подчас влачили жалкое полуголодное существование.

На рабфак Сабит поступил годом раньше меня и сейчас учился на втором курсе, а я на подготовительном. Но в середине зимы мы с ним встретились на первом. Меня досрочно перевели за успехи. А у Сабита оставалось несколько «хвостов» (тогда-то я узнал впервые слово, хорошо известное студентам всех поколений), и его вернули назад.

Он не очень огорчился. «Большевики не падают духом и не отступают перед трудностями»,— сказал он мне и продолжал по-прежнему писать стихи. А весной, когда экзамены уже хватали нас за глотку, неожиданно собрался и уехал.

Оставшись один, я уже не с той прилежностью сидел над учебниками и тетрадями. Я все чаще отвлекался от формул и дат. Я мог понять, как это случается: уносишься в другой мир, в гущу каких-то событий, известных только тебе, и чуткие пугливые образы толпой обступают тебя. В такие минуты, оказывается, можно забыть про все на свете: про «хвосты», про то, что ты сегодня не завтракал, а вчера не ужинал, про свидание, назначенное не воображаемой, а самой настоящей девушке...

Перелистывая томик Пушкина, я неожиданно нашел подтверждение своим новым ощущениям:

Мгновения бывают у поэта,
Когда он высший обретет покой,
И дар, огнем торжественным согретый,
Воспрянет в суете мирской.
Тогда в стихи легко ложатся строки
И проливаются струей живой,
И дума вдохновенная глубоко
Овладевает всей его душой.

Сомнение, робость, неверие в собственные силы — вот что мешало вдохновенной думе глубоко овладеть моей душой.

Но зато на рабфаке я стал прилежным читателем. Преподаватель литературы Карл Карлович Безин, из обрусевших немцев, вопреки сложившемуся мнению, что немцы — народ пунктуальный, мог на полуслове прервать лекцию и читать, читать подряд Байрона, Беранже, Пушкина, Лермонтова, Блока, Гёте, Шиллера, Гейне... Я не знаю, все ли однокурсники разделяли его увлеченные порывы. Про себя скажу: я разделял.

Карл Карлович привил мне любовь не только к стихам. Гоголь, Горький и Джек Лондон — я не расставался с их книгами. И хитрый, обходительный Чичиков, буян Ноздрев, Челкаш, неподвижный мальчик из рассказа «Страсти-мордасти», Смок Беллью со своим верным другом Малышом — они стали для меня такими же взаправдашними людьми, как и мой земляк Омар, постоянно задававший одни и те же вопросы, как Бекет Утетлеуов, как Сильвия Михайловна, как Батима, дочь дяди Ботпая.

Я видел: жизнь, которая окружала меня с детства, которую я знал до мельчайших подробностей и со всеми оттенками этих подробностей, может стать материалом литературы, если бы нашелся писатель, знающий ее столь же хорошо, как мы — степняки. И я с самонадеянностью молодости решал — мне, мне надлежит попробовать свои силы и сказать свое слово!

А решив так, я поспешно откладывал в сторону ручку с пером. Откладывал на неопределенное будущее. Слишком горько было бы убедиться в своем бессилии перед чистым листом бумаги.

Однако пора было что-то предпринимать, а не только шарахаться из стороны в сторону, будто конь, испугав-

шийся собственной тени. Я твердил: «Не буду я писать, какой из меня писатель». Но это больше так, чтобы обмануть себя. На предпоследнем курсе рабфака я все же решил заглянуть в редакцию «Енбекши казах» не только затем, чтобы попросить очередной перевод.

В тот день я особенно тщательно начистил хромовые сапоги, которые сопровождали скрипом каждый мой шаг, надел галифе — пристрастие к этим брюкам у меня сохранилось со времен моего военкомства, выгладил толстовку, толстовку тогда носили все, кто хотел следовать моде.

Не знаю, может быть, мой внешний вид произвел впечатление, в редакции решили — активист... И устроили проверку грамотности. Вот когда пригодились мне алифсин-а, альбасин-и, алифтур-о... Газета издавалась на арабском алфавите, другого в то время не было.

Технический секретарь, вручая копию приказа о моем зачислении, дружески посоветовал:

— Корректор корректором... Но ты среди своих лучше называй себя литературный сотрудник. Звучит более солидно, более внушительно.

Секретарь не очень далеко опередил меня по возрасту, и я весьма охотно последовал его совету. И среди знакомых считался литературным сотрудником, не написав еще ни одной путной строки.

И все же называться так к чему-то обязывало. В редакции я впервые столкнулся с тем, что писать — это профессиональная необходимость. Здесь у меня перед глазами были более опытные, более взрослые люди, которые уже успели чего-то достичь. Первым среди них я называю Беимбета Майлина.

С его именем — теперь уже безоговорочно и навсегда — связаны первые опыты реалистической казахской прозы. Ведь если наша поэзия имела за плечами богатые традиции, то прозу приходилось начинать почти на пустом месте. Первая повесть Майлина «Памятник Шуги» была издана за два года до революции. Повесть пользовалась успехом, ее читали, спорили о ней.

У нас в редакции Майлин был ответственным секретарем. В те годы новый редактор, который сменил на этом посту Сейфуллина, постоянно представительствовал на заседаниях и совещаниях, то уезжал в длительные командировки. Практически газету делал Беимбет.

Отзывчивый, добрый, расположенный к людям, он особенно внимательно относился к начинающим. Но чего

не терпел и что могло вызвать у него бурный приступ негодования — это небрежность, лень, безответственность.

Однажды поздно ночью (помню это хорошо, а вот что прошло с тех пор больше сорока лет — не в состоянии поверить), после того как номер был подписан, Майлин собрал у себя весь коллектив редакции.

Ответственный секретарь делал придирчивый разбор номеров за месяц. Он был очень недоволен тем, как мы работали: писали плохо, не подняли многих жизненно важных вопросов. Досталось от него и заведующим отделами, и литсотрудникам.

Он обстоятельно разобрал и материалы отдела критики и библиографии: статьи, рецензии... Почти все они за отправную точку брали бесспорное, но однообразное утверждение: нечего и думать о росте литературы, пока мы не покончим с отставанием критики. После этого соображения начиналось нечто вроде соревнования — как бы похлеще обругать писателя. Если он, допустим, был человек начитанный и образованный, то его, не утруждая себя доказательствами, обвиняли в феодально-байском происхождении. Если же чувствовалось, что автор учился не много, его без лишних слов называли невеждой.

Я сидел относительно спокойно. Мое дело — грамматика, а особых ошибок в том месяце у нас не проскочило.

Майлин сказал:

— И еще одно... Вам об этом, наверное, надоело слушать. Но мне еще больше надоело говорить! Качество переводов... Вот, я сейчас вам прочитаю...

Занятый какими-то своими мыслями, я не сразу вслушался в текст. А как только вслушался, мне сразу захотелось стать маленьким и незаметным. Беимбет читал одно из двух переведенных мною, а не кем-то иным, постановлений.

— Поняли что-нибудь?— спросил он, положив обратно на стол газетный лист.

Ответа не последовало, потому что понять действительно было трудно, в том числе и самому переводчику.

— Как это смогут понять в аулах? Или мы выпускаем газету для того, чтобы она шла на раскурку?

Летучка кончилась почти в три часа ночи. Майлин роздал литсотрудникам целый ворох рукописей.

— Это на обработку. Сроку вам два дня. Сдать в готовом для печати виде.

Все начали расходиться, а я топтался в дверях кабинета. Я решил, что Майлин никогда больше ничего не поручит мне — человеку малограмотному, недобросовестному, занимающему в редакции явно не свое место. Наверное, выгонит. В лучшем случае переведет в рассыльные — таскать оригиналы в типографию, а из типографии — гранки и сверстанные полосы. Нечего сказать, хороший подарок я преподнес сам себе ко дню рождения...

— Подожди,— остановил он меня.

Я приготовился выслушать длинное нравоучение и опять ошибся. Майлин только посмотрел на меня — очень выразительно,— вздохнул и протянул рукопись статьи на казахском языке.

— Выправишь. И принесешь мне. Срок тот же, что и для всех. Иди...

Дело происходило накануне восьмого марта, и статья посвящалась женскому вопросу. Я два дня не показывался на лекциях, сидел в общежитии, готовил статью к печати. Писал, зачеркивал, переписывал, делал вставки.

В назначенный срок я переступил порог майлинского кабинета.

Беимбет оторвался от лежавшей на столе сверстанной полосы, и его большие серые глаза следили за тем, как я кладу перед ним рукопись.

— Принес?

— Принес...

— Садись.

Он читал внимательно, иногда возвращаясь к предыдущим абзацам. В одном месте сделал пометку красным карандашом.

— А это ты откуда взял?

— Из «Правды».

Вопрос относился к одной из моих вставок. Речь шла о том, что в Великобритании, стране высокой и старой цивилизации, женщины только в тысяча девятьсот восемнадцатом году добились права голоса на выборах, а наши казашки — на год раньше, в семнадцатом. Начитанный студент, я попытался объяснить это известным ленинским положением об угнетенных ранее народах, которые вступают на путь социалистического развития, минуя стадию капитализма.

Как умел Майлин обрадоваться чужой удаче, даже если удача — просто логичное, вытекающее из хода рассуждений сопоставление в обыкновенной статье.

— Молодец! А свое что-нибудь пробовал писать?

— Нет.

Не мог же я сказать «да», имея в виду то сочинение, которое не перешагнуло через порог Пресногорьковской школы.

— Может быть, попробуешь?

Через несколько дней я показал ему небольшую зарисовку, она называлась: «Когда Эдеге хорош, а когда плох». Я постарался коротко описать знакомые мне взаимоотношения между батраком — Эдеге и его хозяином. Гонишь табун на пастбище — хорош, поехал за топливом — хорош. Но тот же Эдеге становится плохим, стоит ему присесть отдохнуть или завести разговор, что не худо бы купить ему новые сапоги.

В очередном номере газеты мое произведение заняло двадцать одну строку. Впервые — с подписью.

— Видел?— спросил меня при встрече Майлин.— Я там исправил всего четыре слова. Пиши дальше.

«Пиши дальше».

Эти слова меня преследовали, они не давали покоя. Они положили конец моим сомнениям. Я не спал четыре ночи. Я писал рассказ —«В бушующих волнах». Мне очень нравилось название.

Я старательно переписал рассказ, трижды приносил рукопись в редакцию и трижды уносил обратно: так и не решился показать Майлину, не набрался храбрости заставить его окунуться в мои разбушевавшиеся волны. Кончилось тем, что рассказ был помещен в нашей рабфаковской стенгазете — на всех листах подвалом, длиной в два метра двадцать сантиметров.

Одни меня ругали, другие хвалили, третьи вообще молчали. Через несколько дней о рассказе стали забывать, хоть стенгазета все еще висела возле комитета комсомола.

Днем в перерыве между лекциями я задержался в аудитории, и вдруг сюда ворвался мой сокурсник:

— Что ты сидишь! Беги скорей вниз! Майлин читает твой рассказ!

Расталкивая встречных, я съехал по перилам. Но Майлина в вестибюле уже не застал. Из разговора с то-

варищами выяснилось: Майлин в тот день побывал и в соседнем институте. Писатели старшего поколения, как я теперь понимаю, заботились о смене — искали ее в учебных заведениях, среди молодежи.

Вечером мы вчетвером — в своей комнате в общежитии — готовились к завтрашнему семинару. Раздался стук в дверь. «Войдите»,— сказал кто-то из нас.

Дверь отворилась, и вошел Майлин.

Мы вскочили, и гостю было предложено одновременно четыре табуретки.

— Разве я такой толстый? Мне вполне хватит и одной,— засмеялся он.— Ну и надымили же вы своей махрой...

Он угостил нас толстыми папиросами, которые в то время считались большой редкостью и роскошью. Выяснил, по какой теме у нас проводится семинар и не боимся ли мы засыпаться. Мы ответили, что боимся, как не бояться, но надеемся успеть все прочесть.

Майлин повернулся ко мне:

— Как дела, джигит?

Я ответил, что дела у меня идут хорошо, а дома я сегодня потому, что не моя очередь дежурить по номеру, пусть он не думает...

— А я не думаю... Я не это пришел проверить. Я днем прочел твой рассказ в стенгазете. Разговор у нас с тобой будет подробный, особый будет разговор, а пока только скажу: неплохо, совсем неплохо. Что же не показал мне?

Сердце у меня в груди билось неровными толчками. Майлин говорит — неплохо...

Потребовались годы и годы, чтобы я понял — в моем беспомощном рассказе его, Майлина, привлек прежде всего сам факт: молодой парень, и вдруг не стихи, которые у нас писал каждый второй, а рассказ... Но как окрылен я был одобрительным «неплохо». Значит, значит, это начало?

В том, что это начало, я еще больше уверился, когда мой первый рассказ стал обрастать подробностями, событиями, в него входили, как домой, новые и новые люди. Рассказ постепенно превратился в повесть. Я не мог придумать другого подходящего названия, так и осталось «Тулаган толкында» — «В бушующих волнах».

Вечерами я подолгу сидел за столом, освещенным с краю неяркой керосиновой лампой, и белый лист —

справа налево, как принято в арабском письме,— покрывался узором слов. Я оставался один. Но это не было одиночеством. И как только вмещала их всех моя маленькая комната — друзей-партизан по отряду Дмитрия Ковалева и многих из тех, кого я в разное время встречал в аулах: баев, бедняков, красноармейцев, белых карателей и алашордынцев, слепых в своей ненависти к новым порядкам.

Была в повести любовь: Биржан-рыбак не мог смириться с тем, что его любимую, его Шайзу, продают в жены старому, но зато богатому баю Оспану! Она войдет в его дом как токал — младшая жена. А что за жизнь у них! Ночью нет покоя от мужа, днем — от старших жен, которые из ревности готовы разорвать ее на части. В иные времена — не избежать ей этой участи. Но Биржан и Шайза бежали из аула в город, где теперь находились красные, и там нашли свое счастье.

Пока я описывал то, что происходило на моих глазах, в чем я сам принимал участие, все шло легко и, как мне тогда казалось, вполне хорошо. Но вот настал в рукописи момент, когда потребовалось распутать завязанные узлы, и у меня, как я ни бился, ничего не получалось. Не найдя лучшего способа, я вынужден был уподобиться одному решительному герою древности — и лихо разрубил узлы!

Но то, что красочно и убедительно в мифологии, оборачивается огорчительной неудачей, если имеешь дело с конкретным современным сюжетом. Это в дастане герой совершал подвиг за подвигом по той простой причине, что он — герой и так ему положено по его геройскому званию.

Повесть в конце получилась скомканной, недостоверной, торопливой. Я бы не поленился переписать ее еще и еще раз, но не знал — как, не видел, что там еще переделать.

Я и теперь могу лишь позавидовать Льву Толстому, который несчетно принимался за своего «Хаджи Мурата». И дело же здесь не в трудолюбии, усидчивости, терпении, взыскательности. Меня поражает его удивительная, необъяснимая орлиная зоркость: он в каждой фразе, в каждом повороте событий, в каждом движении мысли понимал, что́ именно его не устраивает, он в точности знал, как добиться нужного оттенка, как еще улучшить текст, казалось бы, и без того совершенный.

Так или иначе, повесть «В бушующих волнах»— мое первое произведение, которое увидело свет и попало на суд к читателям. Правда, как показали дальнейшие события моей жизни, и это не послужило толчком для постоянной, а не от случая к случаю, литературной работы.

По прошествии многих лет мне трудно сказать — плохо, что так случилось, или хорошо. Я не нарабатывал мастерства, методично сидя за письменным столом (а только за письменным столом, в бесконечных черновиках, отброшенных и заново написанных вариантах, фраза за фразой, оно и рождается). Зато — я жил, я накапливал запас жизненных наблюдений, размышлял о том, что мне пришлось увидеть... А без этого нет и не может быть никакой литературы.

...Я сейчас не пишу повесть моей жизни, а перелистываю ее отдельные страницы.

Я был сыном своей степи, которая вспоила меня и вскормила, и я понимал, как нужны ей люди, обладающие научными познаниями в сельском хозяйстве. Может быть, потому, что в моей памяти был слишком жив страшный джут кабаньего года, я выбрал Омский сельскохозяйственный институт, он назывался тогда Сибак (Сибирская академия). Но после первого курса меня мобилизовали на год — для работы в аулах. Потом срок мобилизации был продлен на два года, и я навсегда оторвался от налаженной институтской учебы.

Работа в сельском хозяйстве, как и военно-милицейская деятельность, не стали содержанием всей моей жизни. Меня по-прежнему привлекала нетронутая белизна листа бумаги, она заставляла заново переживать события, участником которых я был, заставляла думать и вспоминать о том, что я видел, что знаю, о чем должен рассказать. Ведь никто другой никогда не сделает этого за меня.

Оказывается, за сорок лет я написал не так уж много. Два романа, около десяти повестей и пьес, четыре десятка рассказов. «Лучше меньше, да лучше». Я старался придерживаться этого правила, но не собираюсь навязывать его всем. Я достаточно прожил на свете и понимаю: то, что хорошо для меня, не обязательно хорошо для всех. (К сожалению, только писать меньше бывает куда проще, чем лучше.)

Повесть «В бушующих волнах»— тысяча девятьсот двадцать восьмой год. К ней примыкают и некоторые

рассказы, написанные в разное время,— о больших социальных переменах в степи, о том, как степной народ сам готовил перемены в своей судьбе. Сюда же я бы отнес и драму «Амангельды»— о вожаке народного восстания в самый канун революции.

Незадолго до войны меня привлекла судьба нашего выдающегося поэта и композитора. Его звали Ахан-серэ. Он был муллой, занимал в обществе видное положение — и бросил все, ушел в искусство, которое и в конце XIX века считалось занятием не совсем приличным, ненадежным, неустойчивым, а для муллы — и вовсе грешным. Мулла в прошлом — у него были свои счеты с богом, и Ахан стал, пожалуй, первым в казахской поэзии откровенным бунтарем, выступавшим то насмешливо, то гневно против незыблемых устоев религии. Отдельные эпизоды его бурной биографии прямо просились в пьесу, и мне казалось, что я должен написать ее. Под названием «Ахан-серэ»—«Актокты» она шла во многих драматических театрах.

Мне всегда представлялась нерасторжимой цепь событий в судьбах поколений. Но обращение к прошлому, без которого и настоящее не могло бы наступить, иные недальновидные или слишком дальновидные критики, в угоду скороспелой моде, постарались объявить уходом от действительности, как будто писатель может куда-то скрыться от своего времени!

Я считал для себя необходимым подробно рассказать о том, как еще при царе исконные кочевники находили в своей степи новые дороги — и становились рабочими на меднорудных и угольных предприятиях в местности, обильно поросшей караганом, откуда и пошло ее название — Караганда. Их непростые судьбы, их новое понимание своего места под солнцем — все это легло в основу романа «Пробужденный край».

Должен сознаться, что я никогда не мог безраздельно сосредоточиться на какой-то одной теме, вопреки бытующей ныне узкой специализации. Потому-то я и возвращался в своих книгах — то в аул Жанбырши, к потомкам знатного казахского рода, то в степь, охваченную огнем гражданской войны, то обращался к памяти поэта, первого у казахов поэта, ставшего певцом революции. От забавной истории, случившейся в поезде, переходил к древней легенде, сохранившейся в роду найманов, а потом начинал рассказ по своим японским впечатлениям после посещения Хиросимы и Нагасаки...

Может показаться, что я недопустимо разбрасывался, и не только в выборе жизненного материала. В самом деле, и прозу писал, передовицы и очерки в газете, и пьесы, сценарии документальных и игровых фильмов, занимался переводами, выступал в качестве литературного и театрального критика. Но причина тут не в легкомыслии и не в самонадеянности. Национальным писателям моего поколения (и не только казахским, но и киргизским, узбекским, туркменским и таджикским — тоже) приходилось быть едиными даже не в трех, а во многих лицах.

Звонили из газеты: «Ты писателем стал, а нам нужен очерк и еще — рецензия на новую книгу». Встречался режиссер театра и упрекал: «Ты же писатель, а нам требуется пьеса, своя». Приходили композиторы: «А что, если вы подумаете над либретто, либретто для оперы?»

Либретто для оперы?.. Я в любую минуту мог представить заросшие берега озера Кожабай, услышать голос дяди Ботпая и его дочери Батимы. Они первыми приобщили меня к искусству, и я на всю жизнь сохранил неизгладимое впечатление от народных дастанов «Кыз-Жибек» и «Козы-Корпеш и Баян-слу». Я постарался на их основе создать сценические представления.

Музыку для «Кыз-Жибек» написал Евгений Брусиловский. Опера жива и по сей день. Не так давно в Казахском оперном театре я присутствовал на тысячном спектакле, в нем участвовали многие из первых исполнителей. (Оперной сценой странствия Жибек не кончились. На киностудии «Казахфильм» сделана картина, в основу которой положен этот дастан.)

Мое желание с разных сторон представить исторический путь народа не могло не обращать меня к животрепещущей современности. И не только в рассказах. Роман «Солдат из Казахстана»— о моем сверстнике, о его довоенной жизни, о его фронтовых делах — стал для меня наиболее объемным воплощением этой большой и сложной темы.

Иногда меня спрашивают:

— А почему вы стали писателем?

Ответ у меня давно наготове:

— Потому, что так велела Сильвия Михайловна, моя учительница в Пресногорьковке. Я не мог ее не послушаться.

А если говорить серьезно, то это действительно трудно, если вообще возможно,— объяснить, почему тебя начали вдруг занимать разные истории из жизни людей. И в какую минуту тебе захотелось рассказать о сдвигах в судьбе твоего народа, который дал тебе жизнь, дал язык для выражения твоих мыслей, твоих чувств.

Почему я начал писать?.. Я не могу ответить,— так же, как если бы у меня спросили: почему именно я, а не кто-то другой, родился в ночь Науруза, когда год коровы уступил место году барса.

РАССКАЗЫ О МАТЕРИ

МАТЬ

Когда мы были детьми, мулла учил нас в доме седого Айтилеса.

Неподвижная жара. На холмах играет мираж. Скот находит прохладу в озере, входя в воду по шею. В полдень солнце стоит прямо над головой, и тогда тень человека, не находя себе места, прячется под ногами. Пастухи пекутся на солнце, похожие в своих сыромятных одеждах на худых бычков, у которых не вылезла еще зимняя шерсть. Кажется, что они сожжены солнцем и что купи, съеживаясь и топорщась, ссыхаются на их телах. Женщины, ходившие за шесть холмов собирать кизяк, едва бредут с мешками на спинах: пыльные их лица пересечены струйками пота, смешанного с пылью.

Таща под мышкой истрепанный, как старый потник, арабский букварь, я приходил к Айтилесу. Если дети еще не собрались, Айтилес обычно беседовал с муллой или со всегдашним своим гостем — торговцем Рамазаном, рыхлым, как мешок для кумыса. Разговаривая, Айтилес, слепой старик с белоснежной бородой, разглаживал могучими пальцами широкую бороду. Белая и пышная, она покрывала его халат, словно вышитый серебром нагрудник.

Старые, покрытые ржавчиной забвения, события Айтилес подчищал, подновлял — и рассказы в его передаче сверкали блеском. Старик, после потери зрения собравший весь свет в груди, в ушах, перетряхивал давно прошедшие дни, как слежавшиеся меха.

— Ай, молодая пора наша, когда мы еще играли

ушами коня!— начинал Айтилес.— В то время палуану[1] Жанаю было восемьдесят два, а может, все восемьдесят пять лет. Сердце его еще было горячо, хотя силы начали его покидать. Звучный голос его играл над шанраком[2]. Когда рассказывал этот человек, мы, бывало, сидели на корточках у юрты, приподняв кошму у косяка двери, и слушали, вливая каждое слово в уши и заплетая в умах... Вот слушайте, что рассказывал раз Жанай...

— Дело было давно, мы были тогда еще молоды,— так рассказывал однажды Жанай.— Палуан Жалпак собирал нас в барымту на аулы Ергенека. Вышло это так. Палуан Жалпак приходился названым зятем Балабаю. Как-то бий[3] вызвал к себе палуана и говорит ему:

— Уа, Жалпак! Дважды Ергенек совершил налет на наши аулы. Один раз они ограбили меня, в другой раз ограбленным оказался ты. У меня они взяли скот, ты же — отдал душу. Разве не душу отдал ты, если отдал свою невесту, за которую отец твой уплатил все сорок семь голов скота?.. Правда, в то время ты был еще мал. Ты был еще так мал, что не только не мог отомстить врагам, но даже встретившись с ними в степи, еле избавился от них сам, отделавшись конем, на котором сидел.

Но сейчас — ты называешься палуаном. Как же ты забываешь о мести?

— Бий!— вскричал Жалпак, вскакивая на ноги.— Я не знал, что на лбу моем темнеет черное пятно... Мне говорили — та невеста была не моя! Мне было шесть лет, когда они отняли у меня коня... Если победа будет со мною — убью врагов. Победят они — останусь мертвым в степи, но без позора на лбу! Прощай! Я сяду на коня в счастливый день — в среду!

— Подожди, батыр! — говорил Балабай. — Поехать — ты поедешь, и набег ты свершишь. Но выслушай совет: не гонись за прежней невестой, она давно уже стала женщиной. Лучше кинь глаз на густые табуны лошадей!

И вот мы отправились на барымту — сорок отборных джигитов, держа запад на лбу и юг на левом локте. Жалпак (в плечах, как юрта, кулаки, как дубины, смо-

---

[1] Па́луан — борец-профессионал, силач.
[2] Шанрак — верхний круг остова юрты.
[3] Бий — старшина рода, родовой судья.

треть сзади, как печь) ехал впереди на расстоянии выстрела. Светловолосый лысый его конь, взматывая головой, изгибался, как садак[1], прыгал, как сайгак[2]. Ни один конь не поспевал за ним!

В сумерки на седьмую ночевку Жалпак сказал, спрыгивая с коня:

— Э, не простой, верно, был человек! Переночуем на его могиле...

Все мы сошли с коней. Большая черная могила на шестьдесят шагов в круге. На входе — надпись. Ее мы не прочли, из сорока джигитов ни один не знал грамоты...

— Когда вспомнишь об этом,— говорит Айтилес, отвлекаясь от рассказа,— душе моей становится тепло, что нынче дети учатся. Пусть до уездных не достать рукой, но хоть волостным собакам не позволят себя рвать на куски! Дайте детям сыр!— кидает он через плечо своей старухе и продолжает рассказ от имени Жаная.

— Мы зажгли кремнем огонь, развели костер. Кинув в рот горсти по две сушеного мяса, улеглись спать, положив под головы седла, под себя — потники.

Когда созвездие Плеяды поднялось к небесному своду, а красивая звезда Уркер — на высоту лба, батыр Жалпак вскочил на ноги:

— Джигиты! Ослабьте переднюю подпругу, заднюю стяните покрепче, не жалея коней... Когда солнце подымется на высоту копья, мы встретим добычу. Если сбудется желание моего бия — налетим на лошадей...

— Оказывается, это могила старого палуана Байсары,— сказал еще Жалпак.— Ночью он говорил мне: «Вы, кому я дал приют над своей мертвой головой, вы, чьи кони щипали траву у моей могилы,— не смейте трогать мой народ. Тронете — не пеняйте». Мы спорили с батыром всю ночь, но к согласию не пришли. Если он батыр, мы что же — бабы? Садитесь на коней, джигиты!

Кони, выдержанные для похода и подготовленные для пути, грызли удила, вертелись, как веретена, изгибались, как садаки.

Солнце поднялось на высоту копья, и мы увидели табуны, покрывавшие низины и холмы. Мы кинулись к табунам. Двое всадников выскочили из их гущи и помчались к холмам. Мы не стали гнаться за ними.

---

[1] Садак — лук.
[2] Сайгак — степной козел.

Когда, свернув табуны с одного конца, мы с гиком и свистом погнали коней, я увидел черноокую девушку с мешком кизяка за спиною. Глаза ее были как у верблюжонка. Все мое тело заныло. Конь подо мной звался Кудай-кок[1], я подлетел к ней стрелой, подхватил ее на седло, засунул обе руки ее себе за пояс и полетел дальше. Издали послышался вопль ее матери, она причитала: «Жеребеночек мой»,— распустив волосы. Вопль матери задел меня меньше, чем укус мошки.

Вскоре ударами плетей мы собрали большой табун и отогнали его за два холма. Тут палуан Жалпак увидел у меня девушку на седле, и, видно, она пришлась по душе батыру.

— Сауга![2]— звонко приветствовал он.

— Если она угодила тебе, чего же ей больше желать? Бери, батыр!— сказал я.

Он поравнялся со мной, погладил девушку по голове, поцеловал ее волнистые черные волосы и поехал дальше. С этой минуты красавица, прикосновения которой все время кидали меня в жар, стала для меня холодней лягушки.

Мы отбили столько лошадей, что с трудом не давали им разбегаться. В давке жеребята падали под ноги кобыл и отставали с тонким ржаньем. Мы угнали табуны уже на расстояние полкочевья, когда в степи за нами зачернела точка.

Она неслась, как падающая звезда. Не успели мы мигнуть, как гнедой конь врезался в наш отряд, неся на себе старика. Это был опытный табунщик, видавший виды: на нас он и не взглянул, а прямо подскакал к палуану Жалпаку:

— Положим, все хорошо: ты совершил набег, ты угнал байские табуны... Но зачем тебе, батыр, единственная дочь табунщика? Нужен раб — возьми меня. Но верни дочь — несчастная мать осталась в горе.

Разве батыр послушает такие слова? Жалпак усмехнулся себе под нос и мигнул джигиту Кейки, ехавшему рядом. Кейки был быстрый и могучий, он вонзил копье в грудь табунщика, покрутил стариком в воздухе и скинул на землю.

Гнедой конь, как красивый сайгак, ринулся в сторо-

---

[1] Кудай-кок — серый бог.

[2] «Саура!»—«С добычей!». По старому обычаю, казахи отдавали часть добычи первому, кто их приветствовал.

ну. Трое джигитов кинулись в погоню, но гнедой только хвостом махнул, будто прискакал только затем, чтобы доставить табунщика и умчаться обратно.

Девушка зарыдала и высвободила руки из моего пояса. Я переложил ее вперед и внимательно осмотрел. Глаза и в самом деле были как у верблюжонка. По лицу лились потоки жемчужных слез. Бывает же, оказывается, красота как нежный весенний цветок! Я даже сжалился и не посмел обнять ее окаменевшими руками...

Мы прошли по степи еще один переход ягнят. От случая с табунщиком не осталось и тени в голове. Кони горячились. Пугаясь криков, табун шел вперед, лошади давили друг друга.

Вдруг — смотрим назад: стрелой, как охотничья птица, летя, как звезда, опять показалась в степи черная точка. Не успели мы крикнуть: «Ау! Остановись!»— как заметили что-то белеющее.

— Шешетайм-ай![1] — крикнула девушка с моего седла.

Оказывается,— это был тот же гнедой, и теперь на нем сидела жена табунщика, мать девушки. С гиканьем она подлетела к табуну, потом, повернув, вылетела вперед и понеслась вправо.

И весь табун — как ринется за ней!..

Мы пытаемся свернуть его в сторону — он скачет в другую.

Мы хотим поймать женщину — гнедой не подпускает, нельзя вонзить копье или достать дубиной. Несколько раз мы заворачивали табун назад, но тогда он пускался врассыпную, не помогали ни плети, ни дубины. Наконец табун ударился через единственный проход на широкий остров посреди реки. Оттуда его уже нельзя выгнать...

Посреди острова был холмик. Женщина выехала на тот холмик и машет нам джаулыком... Ну, думаем, теперь-то проткнем ее пикой!

— Я — женщина, я — мать этой девушки!— крикнула она.— Я — мать всем вам! Каждого из вас родила такая же мать... С матерью не воюют. Чем виновата перед вами моя единственная!.. Иди ко мне, верблюжонок мой!

Не знаю, как спрыгнула девушка с моего седла и как повисла она на шее матери. До нас, кто еле дышит от гнева, у кого кровь капает с бровей, им нет никакого

[1] Шешетайм-ай — мамочка.

дела. Мать ласкает дочь, дочь ласкается к матери, они — сами по себе.

Кейки не выдержал.

— Батыр,— обратился он к Жалпаку,— если позволите, свяжу их и повезу на жеребчике. Дочь пойдет в жены, мать — таскать дрова!

Жалпак посмотрел на Кейки, окинув его широким, как ладонь, глазом, потом повернулся к женщине:

— Что ты за человек? Твоя смелость удивляет меня. Скажи, кто ты такая?

Женщина ответила:

— Батыр, слезь с коня. Некому гнаться за тобой: если вы совершили набег на этот аул, то и наши джигиты с утра тоже поехали в барымту на соседей. Ты сможешь угнать табуны не торопясь.

Мы слезли с коней, расположились вокруг холмика. «Какой бред черной бабы будет он слушать?»— думали мы, недовольные Жалпаком.

Женщина выпустила из объятий дочь и начала говорить:

— Я — мать этой девушки. Ей пятнадцать лет. В том же возрасте и со мной было такое же несчастье; холодная стужа, черное тавро тех дней лежит на мне и сейчас... О каком народе говорить мне вам? Рассказывают, был аул Ит-Кула, из четырех юрт, что влачил жизнь по берегам рек. Я — дочь Сыным из того аула... Был (не знаю, какого рода, родиться бы ему в пустыне!) бий Балабай. Раз, по случаю обрезания сына, он устроил той. В приз на байгу поставил девять голов скота и главным призом — раба. В приз на борьбу — тоже девять голов и главным призом — рабыню. Разве кто отдаст для приза свою дочь? Бий послал джигитов поискать девушку в степи...

Отец чинил арбу, мать варила кашу, подлетели десять всадников, я смотрела на них из-за шалаша. «Э, джигиты, да будет счастлив ваш путь!»— приветствовал их отец. «Пусть не будет счастлив путь, была бы девушка!»— ответили они и поскакали дальше, подхватив на седло меня...

На другой день, после веселья, байги и борьбы, меня посадили на нара[1] с коврами и отдали в приз. Победителем в борьбе оказался палуан Байсары, чья могила в этой степи. Прибыв в свой аул, он подарил меня баю

[1] Нар — одногорбый верблюд.

Кулетке. Бай помолвил меня с одним из своих рабов и поставил дояркой. Я прожила так два года.

Кулетке выдавал дочь замуж и устроил той. Меня поставили в приз второго скакуна, а помолвленный со мною раб был поставлен в главный приз. Он ушел в одни руки, я в другие, к баю Сары, чьи табуны вы сегодня угнали. У Сарыбая был табунщик по имени Кайрак, он выпросил меня себе в жены. «Всю нашу жизнь будем псами у ваших дверей»,— умолял он бая. «Будь табунщиком, она пусть будет дояркой. Поработаете — освобожу»,— обещал Сарыбай.

С тех пор прошло пятнадцать лет. Мужа сегодня освободила смерть, а я вот стою перед вами. Длинный аркан рабства накинулся сегодня на шею дочери, поэтому я поскакала за вами: дайте мне жеребчика, посажу дочь и увезу обратно...

Джигиты, готовые вначале разорвать женщину, опустили уши и глаза. Нет ни вопроса, ни ответа, взоры легли на землю.

Женщина, видно, заглянула в наши сердца. Она протянула к нам черные ладони:

— Как равный с равным, жила я с мужем пятнадцать лет, тело его видела и знаю. Мощь рук, острые копья вы обратили не к сильному и широкоплечему батыру. Разве он был грозным врагом, а не умоляющим калекой? Как же вы платите за него? Взвалив на седло, увозите дочь? Походит ли это на храбрость или на справедливость? У вас — дочь моя будет рабыней. Останется со мной — будет свободно расти. Я беру дочь с собой.

Глуповатый Кейки, в первый раз в жизни слышащий такие слова от женщины, сказал:

— Женщины созданы, чтобы быть женами мужчин, что им больше делать в степи? Купишь девушку — будет женой, отобьешь в походе — тоже будет женой. Джигиты! Заставим эту старуху замолчать, заберем с собой и ее! Кизяк и у нас есть, чтобы ей собирать!..

Палуан Жалпак долго сидел в задумчивости. Потом вскочил и подвел своего саврасого к женщине.

— В искупление вины,— сказал он,— отдаю то, что принадлежит мне. Возьми, не думай, что мало! Если хочешь избавиться от рабства, бери из этого табуна коней сколько хочешь и кочуй с ними до края земли. Только что-то не слышал я, что есть на земле народы, где нет рабства. Поэтому иди за мной: я не дам никому бить вас крылом, терзать клювом!

— Сколько лошадей из этого табуна достанется вам самим?— спросила женщина.

— Может быть, ни одной... Про это знает бий,— отвечал Жалпак.

— Тогда не предлагай табуна, не отдавай и своего коня. Идти за тобой не могу: ты — свободный батыр, пока не доедешь до своего аула. А там и ты лишишься свободы и превратишься в простую дубинку твоего бая или бия. Немало видела я батыров и палуанов. Тобой помыкают, как батыром, мной, как женщиной,— только и разница. Ты — не свободней меня. Разве не так, мой батыр?

Палуан Жалпак опять опустил голову.

— Мы — слепые хищные совы, джигиты,— сказал он.— Шевельнемся, когда ткнут в глаза, не будут тыкать в глаза — не видим. Ты сняла с моих глаз бельмо, апа! Я думал сделать твою дочь ненадолго игрушкой в широкой своей жизни. Теперь отступаю от этой мысли... Пока я свободен — и я хочу дать свободу человеку. Дочь твоя принадлежит тебе. Живите вольнее ветра!

У несчастной платье в лохмотьях, руки — как пальцы талки, черны-пречерны, губы растрескались в сорока местах. Но от нахмуренных ее бровей, от сыплющих огонь глаз — душа трепещет. Нет в них ни мольбы, ни страху — она овладела сорока джигитами. Будто обе только и ждали последних слов палуана: одна вскочила на саврасого, другая — на гнедого, и понеслись. Только тогда опомнились мы.

— «Ширкин[1], женщина из женщин»— так всегда заканчивал этот рассказ палуан Жанай,— сказал слепой Айтилес, и мы, дети, рассевшись полукругом, затянули по указке муллы: «Агузе... бесмелляй... ирасири... ирасири...»[2].

1935

МУЖЕСТВО

Та осень запомнилась на редкость прозрачной, сухой. Над степью колыхались неутихающие громовые раскаты, но резкий ветер не приносил с собой ни клочка туч.

---

[1] Ширкин — восклицание, выражающее высшую степень восхищения чем-нибудь.

[2] Арабские слова из Корана.

Только неприкаянные пожелтевшие листья метались в воздухе. Ветер дергал кошму на шанраке, стараясь сорвать ее. Деревянные ребра юрты вздрагивали и стонали под его ударами.

А когда далекий гром гремел особенно явственно, старый мулла на почетном месте возле очага недовольно ежился, поднимал кверху глаза и скрипучим голосом обращался к богу:

— О алла! Опять грохочет! О алла! Да не падет твой гнев на нас, твоих рабов. Пусть горькая беда стороной минует наш дом. Будь милостив, о всемилостивейший!..

Гром в безоблачном небе — это был орудийный гул, не успевший стать привычным для здешних жителей. Гражданская война, о которой столько ходило разноречивых слухов, достигла их степи и теперь надвигалась на аул.

Круглолицый Жуман — хозяин самой большой и добротной юрты — тяжело вздыхал и жаловался, ни к кому не обращаясь:

— Сердце у меня — вот-вот разорвется... Даже еду и то душа не принимает, вот до чего мы дожили!— При этом он сокрушенно поглаживал пухлый, величиной с подушку, живот. Очевидно, Жуман полагал, что душа находится именно там.

Ему никто не ответил, а ведь народу набилось довольно много. Почти вся родня Жумана. Небогатые, а то и просто бедные люди, они тянулись сюда из своих залатанных юрт, чтобы погреться у очага. И, кроме того, лучше быть вместе в это неспокойное время, когда не знаешь, что тебя ждет завтра, не говоря уже о надвигающейся ночи.

Жапар — постоянный батрак Жумана — только вернулся с дальних отгонов и теперь устроился у порога. Он неторопливо, чтобы продлить удовольствие, макал лепешку в миску с айраном[1]. Он еще не успел увидеться с матерью и сейчас думал о ней. Есть ли у нее дрова? Есть ли что поесть? Нагима из гордости не переступала порог дома, где в батраках жил ее сын. Она говорила Жапару: «Пусть ветер гостем входит в нашу юрту,— но это наша юрта... И свой кусок, пускай черствый, не застрянет в горле».

От этих мыслей Жапара отвлекла хозяйка — Жа-

---

[1] Айран — квашеное молоко.

ныш. Она вошла, притворила за собой дверь и так сказала, словно сообщила какую-то новость:

— Опять стреляют. Слышите?.. И когда только устанут! Из-за них даже на свою зимовку перекочевать никак не соберемся, что же — и зимовать будем в юртах?

Она шагнула мимо Жапара, полой камзола мазнула его по лицу и, не обратив на это внимания, принялась снимать галоши.

— А ты, я смотрю, никак не набьешь свое бездонное брюхо?— заворчала она, даже не посчитав нужным повернуться в сторону Жапара.— Чем хуже тебя Уразалы?.. А он вот не сидит без дела, не ждет — с утра возит дрова.

Она сердито дернула ногой, и кусок кизяка, приставший к подошве, угодил в чашку, где еще оставалось порядочно айрана.

Живя в зависимости у чужих людей, Жапар привык сносить несправедливости, окрики, злые насмешки. А тут — не выдержало у него сердце! Он отшвырнул к стене чашку, встал и молча вышел из юрты, сердитым ударом ноги распахнув дверь.

В очаге зашевелился огонь, потянуло едким кизячным дымом. Жуман поморщился и оглядел своих сородичей, которые постарались не заметить этого маленького происшествия.

Жаныш проворчала:

— Камчой бы его хорошенько, за наглость...

Жуман повернулся к ней.

— Прибери чашку и подотри,— приказал он.— Камчой сегодня не поможешь... Кто знает, что случится завтра и кто будет хозяином в ауле.

Старый мулла кивнул в подтверждение:

— Одному аллаху известно, что написано в книге судеб. Один аллах может наслать гром и молнию в чистом небе. Его одного мы должны молить, чтобы он отвел от нас беду.

Мулла сказал это и медленным взглядом прощупал всех собравшихся. Но они ничего ему не ответили и даже старались не встречаться с муллой глазами. Им был ясен скрытый смысл его слов: мулла намекает, что он готов помолиться за них, грешных. А где молитва, там и курмалдык, жертвоприношение.

Их затаенное молчание не сбило с толку многоопытного старика. Он немного выждал и продолжил:

— В трудное время люди должны помнить о боге,

чтобы он не отвернул от них свое лицо. Так, Жуман, или не так?

Мулла рассчитывал на его влиятельную поддержку и вовсе не скрывал этого.

— В твоих словах — вся правда, молла-еке,— значительно сказал Жуман, который тоже отлично понимал, чего хочет от него старик.— Народ забыл бога. Народ перестал чтить память отцов, которые на веки веков завещали нам свои устои и порядки. А все это к добру не приведет!

В ответ раздались робкие слова одного из присутствующих:

— Что можем мы, жалкие бедняки? Разве аллах услышит наши слабые голоса? Пусть почтенные, богатые люди нашего рода покажут добрый пример...

Его поддержали:

— Что может пожертвовать богу бедняк?

— Возле моей юрты даже следов бараньих не осталось!.. Принести в дар дырявую кошму? Такой курмалдык может только оскорбить нашего уважаемого муллу.

— Кто говорит, что я забыл бога, тот неправильно говорит. Но разве богу угодно будет, чтобы я оторвал от моих детей последний кусок лепешки?

Жуман сделал вид, что все это не имеет к нему отношения, а ведь сородичи явно старались все расчеты с богом переложить на него одного.

— Все мы покорные рабы аллаха,— вздохнув, сказал он и тоже поднял глаза к небу.— Все мы равны для него, и не делит он людей на бедных, на богатых... Всем одинаково придется держать ответ, когда придет за его душой Азраил[1].

Они снова помолчали. В наступившей тишине раздались рокочущие голоса орудий. Они подкатывались все ближе к аулу, все ближе.

— Вы слышите?— с мрачной торжественностью спросил мулла.— Надвигается! Надвигается божья кара! Только молитвой можно отвратить ее от ваших грешных голов...

Но времена действительно наступали другие, и прежние слова уже не имели той силы, того значения. Надо было еще разобраться: кого из них и за что может покарать аллах? С тех пор, как в безоблачном осеннем небе

---

[1] Азраил — ангел смерти у мусульман.

стали слышать громовые раскаты, многие понятия изменились. То, что прежде было грехом,— становилось благом, а былое благо приобретало обличье греха. Это хорошо понимал Жуман. Это понимали и его сородичи. Все дело было в том, чья дорога пересечет их аул: дорога белых или дорога красных...

Аллаху на этот раз было угодно испытать их волю и крепость духа, и в ауле появился Антонов. Тот самый, которого в степи прозвали ак-оба́, белая чума. Путь его отряда всегда легко было проследить: зеленая трава становилась бурой от крови и дыма, ветер подхватывал и разносил горький пепел пожарищ.

Аульные собаки издалека чуяли беду. Они, поджав хвосты, потихоньку прятались за юртами, а не встречали всадников заливистым бесшабашным лаем. При появлении Антонова даже соседи, много лет враждовавшие, забывали подлинные и мнимые обиды и старались, чем могли, помочь друг другу.

В отряде Антонова были и русские — колчаковцы, и люди алаш-орды — свои, казахи, но такие казахи, от которых при случае вполне свободно можно было получить пулю в лоб.

В ауле, охваченном неуверенностью и страхом, один лишь Жуман немедленно обрел былую важность.

Он говорил:

— Вот когда настало время посчитаться с нечестивцами, которые предали законы отцов, попрали их своими грязными лапами. Вот когда настало время покарать грешников, забывших аллаха!

Его слушали молча, чтобы не связываться. Но тревога — это холодная скользкая змея — рывками заползала в сердце и сворачивалась там тугими подрагивающими кольцами.

Антонову свои контрразведчики исправно докладывали о настроениях: каждый здешний бедняк, каждый батрак — спит и во сне видит приход красных.

Этому приходу он уже не в силах был помешать. Военная удача от него отвернулась, и Антонов отступал. Но вот что он мог и что собирался сделать: оставить по себе такую память, чтобы его имя в страшных снах мучило их потомков до седьмого колена!

Посередине аула Антонов остановил коня. Люди молча ждали, с чего он начнет. Антонов тоже помолчал,

наслаждаясь тем страхом, который вызывает одно его появление.

Наконец он заговорил:

— Я хорошо знаю, что вы не меня ждали... А тех, у которых красные тряпки на папахах. Так нечего играть передо мной, нечего прятать глаза! Красные еще где... А пока — опять я к вам пришел!..— Он постепенно распалялся.— Пришел попрощаться... Понятно? Мы так с вами попрощаемся, что никого не останется, кто бы мог сбежать под рваные красные знамена.

И тут из него, как из дырявого мешка, посыпался дробный мат. Старый мулла только вздохнул:

— О алла! И где он только набрал таких черных слов, проклятый? Да не осквернит нас его брань...

Но эту злобную ругань собравшиеся пропускали мимо ушей. Им важнее было узнать другое: сам Антонов в запальчивости проговорился, что скоро в аул придут красные. А судя по слухам, они не трогают простых, бедных людей. Пусть тогда Жуман тревожится! Антонов, значит, уходит. Что поделаешь — он действительно может на прощанье сотворить много зла, потому что загнанный волк, которому некуда податься, и огрызается отчаяннее... А им что оставалось, кроме того, как полагаться на милость божью? Оружия ведь ни у кого в ауле не было...

Когда иссяк поток ругательств, Антонов спешился и, поддерживаемый Жуманом, прошел в его юрту. А всадники стали располагаться на постой. Они повыгоняли хозяев и заняли их жилье. После этого, не надеясь, что аул будет верен законам гостеприимства, антоновцы сами отправились к загонам — выбрать для солдатского котла овец пожирнее.

Мать Жапара — Нагиму — тоже вытолкнули из юрты. Она не успела еще и решить, где же сегодня будет с сыном ночевать, как ее внимание привлекли злые окрики и знакомое натужное блеянье.

Два антоновца силком тащили барана, ее барана! Один из них тянул его за рога, а другой прикладом винтовки напирал сзади.

На этого барана Нагима и Жапар возлагали все свои надежды. Словно какой-нибудь падишах, он шествовал из одного овечьего загона в другой. А соседи потом расплачивались ягнятами за его посещения. Мать с сыном часто мечтали: наступит когда-нибудь время, и Жапару удастся сменить батрацкую долю, у них наберется

достаточно скота и денег для выкупа подходящей невесты.

Поэтому, забыв про все свои страхи, и кинулась Нагима им навстречу.

— Зачем его? Зачем его?— кричала она.— Баран жесткий, его мясо плохо жевать. Я приведу вам овцу, самую сытую, самую толстую!

Они остановились.

— Овцу?..

— Да, да! Самую хорошую приведу.

Баран тоже остановился и, наклонив красивую лобастую голову, словно бы ждал решения своей участи.

— Как думаешь? Может, отпустим?— нерешительно спросил тот, что шел сзади.— Верно, какой толк с барана в котле?

— Ну, послушаем тетку,— согласился второй.— Пусть пригоняет овцу. Но смотри, чтоб молодая была,— повернулся он к Нагиме.

Тем бы и кончилось, но тут, на беду, откуда-то вывернулся офицер. Лицо у него было красное, и он сосредоточенно следил за тем, чтобы ступать ровно, не пошатываясь. Неизвестно почему, вид смиренного испуганного барана привел его в неистовство. Он рванул из ножен шашку, и только свистнул рассеченный воздух — голова барана тяжелым рогом ткнулась в землю, а туловище, отдельно от нее, судорожно дергалось, копыта сбивали кочки, струями била кровь, поднимая маленькие пыльные облачка.

Солдаты повернулись и пошли обратно к загону, за новой добычей, а возле юрты Жумана кто-то захлопал в ладоши.

Там стоял Антонов.

— Молодец, Рудаков!— крикнул он офицеру.— Просто мастерский удар! Сразу угадываешь конногвардейскую руку. Распорядитесь-ка теперь насчет ужина.

Нагима продолжала стоять возле затихшего барана, и руки у нее висели вдоль тела, как плети.

Она не протестовала и тогда, когда ее заставили варить еду для антоновцев. Оглянувшись по сторонам — не наблюдает ли за ней кто-нибудь из чужих,— Нагима швырнула в казан и ту баранью принадлежность, которая от века служит для продолжения овечьего племени.

— Это вам, собаки,— проворчала она.— Это вам, потому что вы не люди, нет, не люди... Вы лучшей пищи не заслуживаете... Вот вам в зубы!..

Потом она с тайным злорадством наблюдала, как жадно накинулись на вареное мясо антоновцы, и ей казалось, что она хоть немного, но отомстила за их непрошеный приход, за их жестокость, за гибель своего любимца.

На следующий день антоновцы быстро оседлали коней и уехали. Для всех этот мирный отъезд был полной неожиданностью. На прощание, правда, Рудаков по приказу Антонова лично отобрал шестнадцать лошадей, но тем дело и ограничилось.

Жуман прикладывал руку к сердцу и громко высказывал свою обиду: почему же его друг Антонов заранее не предупредил, что собирается навестить их аул... Тогда бы он, Жуман, распорядился пригнать лучший косяк с дальних пастбищ...

Ни Антонов, ни Рудаков не стали вступать с ним в разговор. Они с места пустили коней рысью, и вскоре пыль в степи, поднятая отрядом, улеглась.

Жуман повернулся к своим.

— Вот видите, сколько неправды можно услышать про этих достойных людей,— сказал он.— Они весь вечер у нас провели и всю ночь, все утро... А где убитые? А где сгоревшие юрты? Ничего такого они не сделали. Несколько баранов мы недосчитываем? Ну и что же? По законам нашей степи, нельзя отпустить путника, не накормив его досыта. Грех...

Еще не успели в ауле стихнуть толки и пересуды, вызванные появлением и отъездом антоновцев, а под вечер всех всколыхнуло новое событие. Пятеро конных, с яркими красными ленточками на папахах, подъехали к аулу и остановились возле юрты Нагимы.

Жапар как раз пришел домой навестить мать, и к нему-то и обратился тот, что ехал впереди,— видно, старший среди них.

— Здравствуй, друг... Ну как тут у вас живут-поживают граждане? Можно нам у вас в ауле отдохнуть и подкормить коней, а? Разрешаете?

И Жапар, и его мать, и подошедшие соседи были удивлены.

Это и в самом деле было удивительно по тем временам, чтобы вооруженные люди не кричали, не угрожали, не требовали ничего, а спокойно и вежливо спрашивали разрешения — можно ли отдохнуть, можно ли подкор-

мить коней... «Граждане»— такого слова Жапару слышать не приходилось. Что же оно может значить?

А старший, который к нему обратился, по-своему истолковал его молчание:

— Нас-то вам бояться нечего. Слышишь, товарищ?— продолжал он.— Мы видели тот отряд, что у вас ночевал. Но мы же понимаем — вы не по своей охоте привечали беляков. Так можно коней разнуздывать? Мы ненадолго. Дальше ехать надо.

Жапар уже немного освоился, да и слово «товарищ» ему было легче выговорить, чем «гражданин».

Он сказал:

— Отдыхать можно. Можно, табарыш.

Один из них спрыгнул с коня и подошел к Нагиме:

— Мамаша! Попить чего-нибудь не дадите?

«Табарыш», «мамыш»... Нагима если и не все понимала из их разговора, то, во всяком случае, по тону чувствовала, что эти люди не станут разбойничать и шарить по загонам, не станут рубить своими шашками бараньи головы.

Она зашла в юрту и вернулась с чашкой айрана, но тревожный топот конских копыт заставил ее замереть на пороге. К аулу — в два потока, чтобы арканом захлестнуть его,— неслись всадники, антоновцы, и солнце ослепительными вспышками плавило обнаженные клинки и стволы карабинов.

В толпе пронеслось:

— Ак-оба́!

— Антон вернулся!..

Да, это возвращался его отряд. Красноармейцы наметом понеслись к лесу, синевшему вдали. И антоновцы, на ходу меняя направление, потекли следом за ними. Вдогонку завыли пули.

Нагима — с чашкой в руках — следила за удаляющейся пятеркой всадников. И вдруг ахнула, подалась вперед, и айран плеснулся на землю.

Один из пятерых на всем скаку вылетел из седла, когда до спасительного леса оставалось уже совсем немного. Гнедой конь, привыкший, очевидно, к своему седоку, нерешительно потоптался на месте, а потом, испугавшись новых выстрелов, кинулся догонять остальных.

Антоновцы свернули наперерез — им важно было, чтобы никто из пятерых не ушел. А раненый, они считали, уже никуда не денется, его можно будет подобрать на обратном пути. Выстрелы постепенно удалялись.

Нагима хорошо видела, как раненый боец — тот самый, для которого она принесла айран,— приподнялся, хотел встать на ноги, снова рухнул в траву и медленно, очень медленно, но все же пополз в сторону леса.

Нагима, забыв про осторожность, на глазах у всех позвала сына:

— Жапар!..

Тот подошел.

— Жапар, сынок...— тихо заговорила она.— Видишь, у него совсем не осталось сил, он не сможет укрыться от них. Возьми коня — и к нему. Скорей. Укроешь его в Уйшик-Жале[1]. Там год будут лазить, а не найдут.

Жапар только кивнул и скрылся за юртой, где была привязана старая кобыла. Минуты не прошло, а он уже появился верхом, без седла, и всем было совершенно ясно, куда он направился.

Жуман побелел и задрожал от злости. Он подскочил к Нагиме и стал кричать на нее:

— Ты что? Ты что? Понимаешь, что делаешь, или без мужа совсем дурой сделалась? За это твой Жапар в тюрьму попадет! Только его еще раньше Антон кончит... Зачем ты послала сына?.. Ты одна так решила, а мы всем аулом должны будем за него отвечать? У русских — свои дела, пусть они хоть все поубивают друг друга, а ты — не мешайся!

Нагима не ответила ему. Успеет ли, успеет ли сын к раненому раньше, чем вернутся его преследователи, удастся ли Жапару утащить его в лес...

Жуман махнул рукой, сплюнул и убрался к себе в юрту, лишь бы не быть свидетелем.

А женщина продолжала смотреть, как с каждым шагом кобылицы уменьшается расстояние между Жапаром и раненым красноармейцем. Она дрожала при мысли, какой опасности подвергается ее сын, но ведь и иначе она не могла поступить. Не могла не послать его на помощь. Сухой пыльный ветер вырвал у нее из-под кимешека прядь волос и теребил ее, а Нагима даже не заметила этого.

Успел Жапар!..

Он соскочил на ходу, взвалил раненого на плечи и быстро — почти бегом — направился к лесу. Вот, уже совсем недалеко остается...

---

[1] Уйшик-Жал — местное название непроходимой лесной чащобы.

Правильно, что бросил лошадь. Она могла бы его выдать, отозвавшись на ржанье других коней.

Нагима облегченно вздохнула: антоновцев пока не видно, а Жапар уже исчез в длинной и густой тени, которую лес отбрасывал сейчас, на заходе солнца, и растворился среди деревьев.

Вечером Антонов сидел у Жумана, а его люди ходили по юртам и допытывались:

— Куда девали этого красного? Которого мы подбили... Куда девали? Ну, отвечайте, а то худо будет!

Свистели нагайки, антоновцы хватались за сабельные эфесы. Но все их угрозы не помогали. «Не видели», «Откуда мы можем знать?», «Я из своей юрты не выходил»,— раздавалось в ответ.

Потом всех согнали к юрте Жумана. Оттуда вышел Антонов и сделал несколько быстрых шагов.

— Тебя зовут Нагима?

Этот вопрос обрушился на нее внезапно, имя, полученное ею при рождении, прозвучало как обвинение. Но она не дрогнула, она выдержала и его окрик, и его взгляд — твердый и беспощадный, как сама смерть.

— А почему не видно твоего сына? Где он? Куда запрятали красную сволоту?

Нагима поняла, что Антонову все известно. Жуман постарался. И она ответила так, будто все это ее нисколько не касается.

— Они далеко. Они оба ушли, и вам их не найти.

Антонов взмахнул нагайкой, и на спину обрушился короткий удар. Она не шевельнулась. Она подумала, что была к этому готова еще в ту минуту, когда позвала сына и сказала ему: «Жапар! Возьми коня — и к нему».

Возле юрты Жумана было тихо, как может быть тихо лишь в вымершем ауле. А ведь все люди стояли здесь, стараясь не встречаться друг с другом взглядами. Они ничем не могли облегчить ее положение, но им было страшно: а что же с ней будет, им было стыдно: на их глазах избивают женщину, которая никогда и никому не сделала ничего подлого.

— Я тебя заставлю говорить, стерва ты!— срывающимся голосом закричал Антонов.

Его нагайка в клочья превратила синее платье Нагимы — на плечах у нее, на спине, на боках обнажилось тугое тело еще нестарой женщины. Раз за разом оно

вспухало багровыми рубцами, рубцы кровоточили, и кровь струйками стекала к бедрам. И Антонов бил, бил тем яростнее, чем острее он чувствовал свою безраздельную власть над этим беззащитным женским телом.

Сыромятная плеть стала красноватой, влажной, а Нагима молчала. Только если бы можно было убить глазами, Антонов уже давно валялся бы в пыли у ее ног.

То ли рука у него устала, то ли он хотел скрыть свое бессилие перед стойким мужеством женщины, но Антонов отступил в сторону и приказал:

— Бейте! Бейте, пока она не заговорит, один за другим бейте!.. Ну!

— Я все вытерплю,— сказала Нагима.— Мне боль не страшна. Мне страшнее, что вы можете поднять руку на женщину, на мать. Или вас всех волчица выкармливала?

— Хватит!— крикнул Антонов.— Начинайте!

Он подтолкнул в плечо того, кто стоял первым, и сунул ему в руки свою нагайку.

Но тот вздрогнул и отступил:

— Нет, не могу...

Нагайка упала в пыль, и он еще поддал ее носком сапога — к другому, который тоже сделал нерешительный шаг в сторону, а не наклонился, чтобы поднять ее.

Антонов понял: если он сейчас, сию минуту, не заставит их выполнить приказ, то они навсегда выйдут из-под его власти, он никогда не сумеет заставить их повиноваться. И его рука потянулась к деревянной кобуре, из которой высовывалась черная рукоять маузера.

Его солдаты настороженно следили за ним.

Антонов ладонью ощутил привычный холодок металла. Он знал, что так просто, ничего не сделав, уже не сможет вложить маузер обратно. Главное сейчас — даже не эта баба, черт с ней!.. Прежде всего — он должен вернуть своих солдат.

Он отдал команду — построиться.

Солдаты нехотя вытянулись в одну линию, как раз напротив Нагимы. Она все еще держалась на ногах, не чувствуя боли, словно застыв в своей ненависти, в своем горе, в своей непреклонности.

Аул замер — и женщины, и дети, и старики, и те немногие мужчины, которые оставались дома. Они с ужасом ждали, что теперь будет. Первую пулю примет грудью Нагима, а потом — потом польется рекой кровь, и красные огненные змеи начнут ползать в темноте от

юрты к юрте. Рассказывали: с кого-то одного начинает обычно Антонов свои расправы.

Они ждали этого первого выстрела, первого залпа, но вместо него раздался знакомый голос Нагимы:

— Что же вы стоите? Поднимите свои ружья и стреляйте. Думаете, что мне страшно? Нет. Я сегодня видела других людей... У них тоже есть ружья и сабли, но они — добрые. Они говорят: табарыш... мамыш... А вы — ак-оба! Я знаю — красные дойдут и до ваших домов. Но я знаю и то, что у них рука не поднимется на ваших матерей. Даже на ваших матерей, которые выкормили таких волков, как вы!

Уже совсем стемнело. Рыжая луна вставала над тем лесом, в котором Жапар укрывал раненого красного. А может быть, потащил его дальше, к своим?.. Но этого она уже никогда не узнает.

— Молчать!— крикнул Антонов.— Солдаты!.. Слушай мою команду!

В слабом мерцании звезд блеснул клинок, раздался глухой удар и хрип, и чье-то тело наотмашь упало на землю.

— О алла! Прости этой женщине все ее прегрешения. Возьми ее под свою высокую руку,— пробормотал старый мулла, он прятался за юртой Жумана.

Но он преждевременно сотворил свою молитву.

Нагима осталась стоять, как и стояла. А солдаты — возбужденные, встревоженные — оттащили в сторону уже переставшее корчиться тело начальника отряда.

Кто это сделал, они не успели заметить. Возможно, стоявшие рядом и видели, но предпочитали молчать. Трудно сказать, почему такой резкий перелом произошел в их настроении. Может быть, повлияло и то, что вдали, за лесом, в небе, усеянном крупными звездами, нарастал орудийный гром и полыхали мгновенные молнии, а ветер пропах терпким запахом порохового дыма.

Силы оставили Нагиму. Она сама не в состоянии была добраться до своей юрты. И слов у нее больше не осталось — ни хороших, ни плохих. Она долго молчала, вся переполненная неожиданной радостью.

Это была не только радость избавления. Ни камча в руках Антонова, ни его шашка, ни маузер — не могли поколебать ее твердости. Она радовалась тому, что люди, про которых она говорила: «Или вас всех волчица выкармливала?»— поняли ее и в самую решительную минуту, на краю могилы, заступились за мать.

Сейчас она не знала и не хотела знать, почему все так переменилось, все так произошло. С ней осталось несколько бывших антоновцев — и русских, и казахов. А другие бегали по аулу — искали Рудакова. Но тот исчез, хотя из юрты Жумана вышел вместе с Антоновым и все время стоял рядом с ним. Все это видели, но найти его не могли.

— Я думаю, что будет с вами?— тихо спросила она.

Солдаты в юрте не расслышали слов и наклонились над нею. Нагима продолжала:

— Я думаю: по какой дороге вы пойдете?

Бывшие антоновцы жили только этой минутой и не загадывали, что их ждет впереди. Поэтому ответить на вопрос Нагимы им пока было нечего.

Она подождала.

— Я простая женщина из бедного аула,— сказала Нагима.— Но я хочу, чтобы все люди говорили друг другу: табарыш... мамыш... Я верю, что так будет. А сейчас — идите. Я помолюсь за вас.

Ночью бывшие антоновцы долго обсуждали, как им теперь поступить.

Одни настаивали: выступить утром и всем пойти на соединение с красными частями. Другие боялись: за прошлые дела их по головке не погладят, а поставят к стенке. Они предлагали уходить, уходить на рысях, а там — разбрестись, и каждому в одиночку добираться домой, где никто не знает ни о чем.

К согласию они так и не пришли, и отряд разделился.

Разъезжались затемно.

— Ну коль на этом свете не свидимся, на том уж — непременно...

— А мать говорит: молиться за вас буду.

— Ну и чего? Материнская молитва силу имеет, будь она мусульманская, будь наша, православная.

До Нагимы, лежавшей в юрте, доносились их голоса.

На рассвете в аул пробрался Жапар, который и не подозревал, что здесь происходило. Он взнуздал старую кобылу — кобыла благополучно прибежала домой после того, как он оставил ее у леса. Вместе с раненым Жапар решил податься в сторону красных.

Нагима доползла до двери, потом — через порог, и встала на ноги, держась за шершавую кошму. Она смотрела вслед сыну и шептала:

— В добрый путь, дети... В добрый путь.

Встало солнце.

Из темноты снова возникла степь, возник дальний лес с его надежным Уйшик-Жалом, и в безоблачном небе — ближе, чем вчера,— слышался нарастающий гром.

1936

МАТЕРИНСКИЙ ГНЕВ

— Разрешите переночевать у вас?

В дверях юрты стояла одетая в лохмотья исхудалая женщина.

Хозяин медленно поднял на нее неприветливый взгляд. В голосе незнакомки ему послышалась не просьба, а приказание.

Плотно сжав потрескавшиеся губы, она терпеливо ждала ответа. Глубокие тонкие морщинки соткали у глаз ее и на лбу мелкую сетку. Сквозь дыры разорванного короткого рукава виднелась темная, похожая на обуглившуюся деревянную кочергу рука с серебряным кольцом на пальце. Кольцо своим блеском еще больше оттеняло черноту этой руки.

— Кто вы? Откуда?— спросил хозяин.

— Если я даже всю свою родословную расскажу, такой домосед, как ты, вряд ли что разберет. Ты, видно, никого, кроме жениной родни, не признаешь! Ну да об этом после, а сейчас давай решим о моем ночлеге...— Гостья усмехнулась.

Хозяин растерялся и, не находя ответа, забормотал:

— Если хотите переночевать...— Трусливо мигая глазами, он посмотрел на жену, словно прося ее своим взглядом: «Избавь ты меня от этой бедовой бабы, не то она меня своими глазищами насквозь пронзит».

Но жена решила по-своему.

— Что ж, ночуйте, оставайтесь,— сказала она незнакомке.

Гостья вошла, повесила у порога выцветший, до дыр изношенный камзол и, приблизившись неторопливыми, усталыми шагами к очагу, протянула к огню свои исхудалые, черные руки. Дети, сидевшие вокруг огня, потеснились, давая ей место.

— Озябла я,— сказала женщина.— Издалека иду...

И столько горечи было в ее словах, что хозяин усты-

дился своей недавней неприветливости, хотел было с ней заговорить, но не посмел ни о чем спрашивать, ждал, когда женщина заговорит сама. А та молчала.

Хозяйка тем временем достала мисочку муки и принялась наскоро месить тесто, с беспокойством поглядывая на гостью.

— Ну что ж,— проговорила она.— Вы, видно, очень устали, но все же, если не трудно, расскажите, откуда и кто вы?

— Расскажу, расскажу,— ответила женщина и поправила выбившиеся из-под косынки черные с проседью волосы.— Хозяин твой совсем, кажется, с толку сбит, меня испугался. Что это, мол, за старая ведьма навязалась!

Она с усмешкой взглянула на хозяина и продолжала:

— Из города я. Уже десять дней, как оттуда плетусь. А родом — из дальних аргынов[1], из аула Бадена.

Женщина тяжело вздохнула, помолчала и начала рассказ:

— Овдовела я рано. Муж в голодный год умер... Осталась одна с малолетним сыном. Назвала я его Бахытом[2], а пришлось мне из-за него семнадцать месяцев в тюрьме просидеть. Вот так...

Хозяйка дома, поправляя волосы тыльной стороной ладони, испачканной тестом, так и застыла, разинув рот от удивления.

Хозяин заерзал на кошме.

— Вот так,— повторила гостья.— Родное-то дитя для матери всегда дороже собственной жизни. Чем только не пожертвуешь ради него. Моему Бахыту в прошлом году исполнилось пятнадцать лет. Он уже два года в пастухах у бая Алтыбаса. Коров пас. И вот говорю я сыночку: «Попроси у хозяина то, что заработал за два года». Отказался проклятый бай платить сыну. «Ты,— говорит,— работаешь за молоко, которое у нас берет твоя мать». Куда пойдешь жаловаться? Конечно, к волостному. А волостной — сын бая Алтыбаса. Молодой — двадцать один год ему,— но головорез страшный: один глаз кровью залит, как у бешеной собаки, другой с красными прожилками, и волосы на голове дыбом торчат. Как пришел к нему мой Бахыт, избил его волостной до полусмерти и жаловаться на Алтыбаса — отца своего — запретил.

---

[1] Название главного рода Среднего жуза.

[2] Бахыт — в переводе означает — счастье.

«Не буду я у вас больше работать!»— крикнул им тогда Бахыт и убежал. Домой вернулся. Господи!..

Женщина снова вздохнула.

— С этого и началось,— сказала она, помолчав.— Разве беда стороной обойдет бедняка? Объявили тут мобилизацию на тыловые работы, и дошел до меня слух, мол, сын мой в черный список попал. Не поверила я сначала. Как так, думаю, не подходит Бахыт мой по возрасту, молод ведь он, совсем еще молод! Только оправдалась худая молва. Должен был уйти мой сыночек на тыловые работы в далекие края. Чем же я ему помочь могла? Не женить же его раньше времени, чтобы дома оставить?! Смирилась я. А народ не смирился, поднялся против царских законов. Восстание началось. И не успела я опомниться — поскакал мой соколик на своем стригунке вместе с другими джигитами. И побежали дни, а за ними — месяцы. Разгромили восстание. Кого на виселицу, кого в Сибирь. К счастью, на Бахыта тень не легла за то, что он вместе со всеми был. Но опять заговорили о тыловых работах, опять моего сына в списке поминают. Народ в смятении, но молчат испуганные матери, будто забыли, что совсем еще недавно проклинали и царя и его порядки. Пошла я к женщинам нашим аульным поделиться своим горем, а от меня стараются поскорее отделаться. «Ничего,— говорят,— не поделаешь против царской воли. На милость аллаха надейся». Ладно! Прислушиваюсь я к разговорам людей: многие, кто побогаче, сумели освободить сыновей своих от мобилизации. Как — не знаю. Но только мы, люди бедные, ничего сделать не можем. «Люди добрые! Помогите! Мой сын-кормилец в список попал. Молод он еще... Пожалейте!» А мне в ответ: «Мирись! На то божья воля!» Где правду найти, у кого? Пошла к баю Алтыбасу, обливаюсь слезами, молю его: «Освободи сына... Ведь пропадет он ни за что ни про что! Освободи, в вечную кабалу тебе его отдам!» А бай: «Не могу. Таких, как твой сын, теперь у меня больше, чем баранов в отаре». У него молодая жена была, гордая, надменная. Прогнала меня из юрты: «Иди, иди! Здесь тебе не место! Скоро к нам люди придут!» Хотелось крикнуть мне: «А я кто, разве собака?» Но сдержалась, затаила в себе злобу, вспомнила, что недаром народ прозвал Алтыбаса твердолобым. Разве такого слезами проймешь?

Пошла я к его сыну — волостному управителю. «Не беда,— ответил он мне нагло.— Народ без твоего сына

не осиротеет, женщины не овдовеют. И я тут ни при чем. Мужа своего вини, это он записал твоего сына на несколько лет старше...» Сказал он так и велел своему посыльному вывести меня из канцелярии.

Пошла я обивать пороги судей да аульных старшин. Все слезы выплакала. В конце концов меня и слушать перестали. Писаря умоляла, а он смеялся надо мной: «Пусть идет, пусть. Это ему на пользу... Разжиреет на русской свинине!» У писаря встретился мне один чернобородый, он всегда при волостном состоял. «Ты еще молода, хороша собой,— сказал мне чернобородый.— Сын только мешает тебе жить в свое удовольствие. Пусть идет окопы рыть, тебе руки развяжет».

И чего только я не предлагала за сына. Все возьмите: лошаденку последнюю, последнюю корову, только освободите моего сына. Но разве такая им нужна была взятка?

С неделю крутилась я около канцелярии волостного, питалась крохами со скудного стола батраков, спала под открытым небом. Обессилела я совсем и устроилась однажды на ночь под телегой Алтыбаса, груженной кизяками. Только дремать начала, кто-то схватил меня сзади. Оглянулась: чернобородый. Тянется ко мне ручищами, обнять хочет. Известно, что ему от вдовы надо. Не стану скрывать, было время — славилась я красотой, и люди называли меня тогда Айна-коз[1]. Насилу вырвалась я из его лап, пнула его что было силы, прямо в рот угодила, взвыл он от боли и повалился навзничь. Быстро вскочила я на ноги, и он поднялся. «Дура,— говорит,— любой стыдливой девушке тебя предпочту. Помочь тебе хотел. Зачем отказываешься?» А я ему: «Врешь, сатана черномазый! Живой меня не возьмешь!»— и схватила топор, что неподалеку на земле валялся. Чернобородый или струсил, или устыдился, но только вижу: попятился от меня. «Злая,— говорит,— какая проклятая сука!»

И ведь не он один ко мне приставал, пока я ходила, кланялась. Придешь просить за сына, а на тебя пялят жадные, бесстыжие глаза и начинают елейные речи: «Подожди говорить о сыне, вдовушка. Давай о другом поговорим». Ох и закипела у меня на людей злоба! Уже сын меня стал упрашивать: «Мама, перестаньте. Лучше мне на тыловые работы идти, чем вам из себя посмеши-

---

[1] Айна-коз — в переносном смысле — очаровательные глаза.

ще делать. Поезжайте домой, мама». А меня еще больше зло разбирает.

Решилась я на последний шаг. Взяла сына за руку и повела его к управителю. Приходим. Волостной у себя в юрте на белых тугих подушках лежит, кумыс пьет. И чернобородый с ним. Увидел меня, смотрит волком. «А-а-а!— заулыбался молокосос-управитель.— Вдовушка пришла, Айна-коз пришла. Проходи, голубушка, садись поближе ко мне». И давай надо мной издеваться, а сам голодными глазами на меня смотрит, сына моего не стесняется. Не выдержал Бахыт подлых насмешек над своей матерью. Не в силах он был заступиться за меня, а слушать надругательства тоже не мог. Заткнул мальчик уши и выбежал вон из юрты. «Ты поживи с ним,— говорит мне управитель, показывая на чернобородого,— с месяц... Я возражать не буду». Бросилась я из юрты бежать, а сын мой уже вскочил на своего стригунка и вскачь из аула... Все потемнело в моих глазах, ноги подкашиваются, голова кругом идет. Чуть было я не упала. Кто я такая? Рабыня... Кто они? Знатные люди... Что хотят, то и делают. Но неужели, думаю, всю жизнь мне терпеть издевательства? Человек я или собака? И вдруг увидела: джигит несет в юрту блюдо с бесбармаком[1]. Сверху — баранья голова, а на краю блюда — острый ножик... И уже не знаю, как это случилось, не помню. Схватила я нож, метнулась назад, в юрту, прямо к волостному управителю, лежавшему на подушках. Ударила его в глотку ножом, потом под сердце. Помутился мой рассудок, озверела совсем. Бросилась к чернобородому. «Ой, ой... о-о-о!»— закричал он, отмахиваясь руками, вытаращив на меня остекленевшие от ужаса глаза. Помню я, как вывалилось из рук джигита блюдо с бесбармаком, как покатилась по земле баранья голова с оскаленными зубами. Помню, как я ударила ножом чернобородого. Кажется, раза два. Больше ничего не помню. Упала без памяти...

Рассказчица замолчала, задумалась. Хозяин и его жена тоже молчали. Жались друг к другу дети, испуганные словами гостьи.

— Когда я очнулась,— вновь, как бы через силу, заговорила женщина,— едва разлепила дрожащие веки, стая мух слетела с моего лица. Надо мной небо, ясное,

---

[1] Бесбармак — название казахского национального блюда из крошеного мяса и тонко раскатанной пресной вареной лепешки.

голубое. Где я? Не пойму. Что со мной было? Не знаю. Голову повернуть нельзя — больно. Хочу встать — не могу: все тело будто свинцом налито. Рукой бы двинуть, ощупать себя, но рука не слушается и ноги не двигаются, словно чужие. Все чужое, только глаза мои. Злодеи, изверги... Мне казалось, будто взяли они меня, изрубили на части, а потом бросили где-то в степи, за аулом. Долго не могла понять, что со мной. А меня не изрубили. Меня приковали. За руки, да за ноги, да за косу к пяти кольям. Били плетью... Сколько били — не знаю. И что они еще творили надо мной — тоже не знаю. Знаю только, что еще не рассталась с телом злосчастная, проклятая душа моя. Вспомнила я про сына, заплакала горячими слезами. «Где ты, сынок мой»,— и застонала. «Эге, ожила, сука!»— сказал кто-то рядом со мной. Посыпались на меня удары плетью. Думала, смерть моя пришла.

Гостья посмотрела на хозяйку.

— Вам слушать меня и то страшно,— сказала она.— Твой муж, наверное, уже бежать из собственного дома собрался от страха... А мне каково было? Ладно уж! Покороче стану рассказывать. Через месяц и семь дней меня в тюрьму бросили, холодную, темную, как могила. И вот вышла я из этой могилы. Царь, говорят, от престола отрекся, а меня, слышь, большевики освободили... Не знаю, что за люди. Должно быть, хорошие, раз говорят, что теперь они извергов да палачей в тюрьмы сажать будут...— И она вопросительно глянула на хозяина,— мол, понятно ли это тебе? И тот, дрогнув, отвел от нее глаза.— Вот и все... Теперь в аул свой бегу... Сыночка найти тороплюсь. Сам-то он меня едва ли сыщет.

Она не притронулась к чаю, не попробовала лепешек, приготовленных для нее хозяйкой. Может быть, в эту минуту она уже представляла себе, как обнимет своего Бахыта, как скажет ему самые заветные ласковые слова. Глаза ее сверкали ярче огня, пылающего в очаге посреди юрты. Дети, попрятавшиеся было по углам, постепенно приближались к ней, припадали к ее коленям, не сводя глаз с ее лица. И когда со словами «все для вас» она ласково коснулась их головенок, они потянулись к ней.

А хозяин не отрывал взгляда от гостьи, уши его малахая были высоко приподняты, он боялся пропустить хоть одно ее слово.

Перед ним сидела женщина — сильная и бесстрашная. Она прошла через все муки своей беспросветной жизни и все выдержала. Перед ним сидела мать, знающая, как надо бороться за свое право быть счастливой.

1934

АКЛИМА

«Мама!» — так начиналось письмо солдата. «Мама» — это прекрасное слово облетело весь свет.

«Родная моя, как я соскучился по тебе...»

Многоточие. Почему оно здесь? Зачем? Оно напоминало капли упавших слез. Может быть, пишущий задохнулся от душившей его тоски, и, не найдя нужных слов, поставил точки? А может быть, и другое: просто не захотел солдат продолжать, все его чувства вместились в эти три слова: «соскучился по тебе».

У Аклимы, получившей письмо, все закачалось перед глазами. Четыре года назад ее единственный сын Касым ушел на фронт. Каждый день израненное тревогой сердце матери вздрагивало от всякой весточки с фронта, как туго натянутые струны домбры при малейшем дуновении ветерка. Два года назад пришла последняя весть — извещение о смерти Касыма. До сих пор оно хранилось на дне сундучка, и до сих пор надежда не переставала стучаться в сердце матери: «Вернется, придет живой».

И вот пришел почтальон, принес письмо. Письмо со штемпелем полевой почты.

— Нурила! Милая! Иди сюда, скорее! — крикнула Аклима, выбегая на террасу.

В те дни люди быстро сближались друг с другом. Бывало, что одна ночь роднила их на всю жизнь. Аклима подружилась со своей молодой соседкой недавно, у них нашлись общие интересы, они помогали друг другу.

Как только Нурила выбежала на террасу, увидела расстроенное лицо Аклимы и письмо в ее руке, она все поняла и, ни о чем не спрашивая, ловко перескочила через барьерчик, разделявший террасу на две половины. Ее лицо заалело легким румянцем. Она взяла из рук Аклимы письмо.

— Только чур не плакать! — проговорила она. — А то и читать не стану... Это же радость, апа!

Она заставила Аклиму улыбнуться, но, прочитав слова «истосковался по тебе», запнулась, у нее от волнения

задрожали руки. Голубая жилка затрепетала на шее, и слезы затуманили прекрасные черные глаза. Безмерная тоска солдата бушевала в письме, подобно бурному, ниспадающему с высоты водопаду. Для выражения чувств он находил такие слова, что Нурила не в силах была читать письмо вслух. Она пробежала глазами первую страницу, перевернула и продолжала уже вслух:

«Мама. Первое свое письмо я послал на станцию Агадырь. Думал, что ты уже вернулась туда... Но я рад, что ты в Караганде...»

— Подожди, подожди!— растерялась Аклима.— Какая станция? Какой Агадырь?

Нурила продолжала читать:

«Мама, ты, конечно, спросишь, почему так? Об этом я расскажу тебе после. Сейчас слушай, мама».

Аклима слушала. Она жила каждым словом письма, каждой интонацией в голосе Нурилы, следила за каждым движением девушки. Глаза Аклимы, еще не потерявшие своей былой привлекательности, отражали все ее чувства и мысли. Эти глаза то теплели от любви к сыну, то расширялись от страха за него, то жмурились от облегчения.

«Мама,— писал солдат.— На этой войне я прошел две тысячи сорок девять километров. То, о чем хочу рассказать тебе, произошло на последних сорока девяти... Если мне не изменяет память, в тот день тебе как раз исполнилось сорок девять лет. Такое совпадение! Извини меня, что я не поздравил тебя с днем рождения... Письмо осталось в моем нагрудном кармане, я не успел отправить его».

— Неужели он забыл, что мне и теперь сорок четыре?!— с обидой и горечью воскликнула мать.— Ой, Касым, Касым!

«На войне, мама,— продолжала читать Нурила,— сорок девять километров не такое уж большое расстояние, а тем более для нас, танкистов. Но бывает и так, что один километр заставляет тебя остановиться надолго. Вот я и остановился. Столько прошел, а до Берлина не удалось дойти».

Голос Нурилы вздрогнул от какого-то нелепого предчувствия, она на мгновение прервала чтение, а Аклима смотрела на нее с ожиданием: «Что же случилось, что помешало ему?»

«Мама, я знаю: ты умеешь по-геройски встречать и радости и горе. Я помню, так раньше бывало. Поэтому

выслушай без страха, ведь я рожден тобою, я твой сын».

— Қасым, Қасым,— тяжело вздохнула Аклима.

«Я все хорошо помню,— читала Нурила.— Это была моя последняя ночь на передовой. Три дня и три ночи без сна и отдыха стояли мы на берегу речушки и не могли, никак не могли форсировать ее. Противоположный берег, опоясанный проволочными заграждениями, противотанковыми надолбами, минными полями и дотами, закрывала от нас завеса огня. Немцы били и били из орудий по нашим позициям, снаряды рвались то там, то здесь, река кипела от разрывов. Речка-то узкая, неглубокая, а переправу навести — и думать нечего.

Так вот — третья ночь. Пахнет гарью. На востоке мерцают редкие звезды. Низкие, густые, свинцовые тучи, поднимаясь из-за горизонта, застилают небо. Вражеские позиции постепенно погружаются во мрак. Я уже не помню: рассеялся этот мрак или нет. Да и не в том дело. Нужно было во что бы то ни стало сбить немцев с укрепленных позиций. А там не удержаться им против нас. Мы все так думали.

Помню, пришел к нам командир дивизии полковник Ревизов, широкоплечий, сильный. Ночью он великаном казался. Прошелся вдоль строя танкистов медленным шагом. Мы стоим, вытянувшись в струнку, ждем и уже чувствуем: что-то будет — наверняка получен какой-то особо важный приказ, и по лицу командира видно, да и младшие офицеры, прибывшие с полковником, ведут себя неспокойно. Ну и вот. Остановился Ревизов посередине строя и заговорил. Спокойно так, не повышая голоса, как близкий друг наш. А солдаты уважают такой разговор.

— Товарищи, давайте посоветуемся!— сказал полковник.— Получено ответственное задание. Говоря откровенно, тому, кто выполнит его, не хочу ничего обещать: ни орденов, ни званий. Их у вас много, а за то, что предстоит сделать, трудно придумать достойную награду... Одним словом, как вы считаете: не пора ли нам быть на том берегу?

Мы стояли молча, а полковник смотрел на нас испытующим взглядом, и мне казалось, что он читал наши мысли.

— Не успели с ходу проскочить. Время упустили. Так вы думаете? А?— спросил нас Ревизов.— Верно... Знаю... А вперед идти все равно надо!

Эти слова были сказаны дружески спокойно, без ложного пафоса, без брани и угроз, они не звучали как

приказ, а ведь солдатам, стосковавшимся по теплу родного дома, уставшим от окриков и команд, доброе слово командира дороже всего.

И выход был найден: попытаться в танках на предельной скорости прорваться по дну речушки на тот берег и закрепиться там.

Пять командиров шагнули вперед. Я был среди них.

Молча шли мы потом к своим машинам, прикидывая в уме расстояние, которое придется пройти под водой, стараясь представить себе преграды, которые могут там встретиться. Разведчики-водолазы не скрывали, что неприятель постарался и дно реки превратить в неприступный рубеж: железобетонные надолбы сбросил, проволочные петли. Тут уж не поможет безрассудство, тут необходим разумный расчет, выдержка и смелость. Только бы не наткнуться на подводные мины, только бы не застрять в тине, только бы вода не успела залить мотор, а нам хватило бы воздуха! Не то окажемся, как рыбы, в крепкой сети.

Молча построились мы с товарищами, крепко пожали друг другу руки, молча посмотрели на темную поверхность воды, взлохмаченную разрывами снарядов. Немцы, боясь нашего наступления, не прекращали огня и ночью. И я подумал про себя: «Прощай, мама, если мы не увидимся больше».

Но нет, мама! Нет! Я не сказал «прощай»! Эта проклятая мысль несколько раз приходила мне в голову, но я гнал ее прочь. Я не хотел прощаться даже с дымом паровозов, везущих уголь из черных шахт Караганды... Я все время помнил о тебе... Я думал так: возьму с собой письмо, которое утром написал тебе. Возьму его на тот берег, а завтра припишу два слова «жив и здоров» и отправлю. Ох, мама! Оказалось: между сегодняшним числом и завтрашним, между той ночью, когда я шел в свой последний бой, и этими вот минутами лежит целая вечность...»

Обе женщины понимали скрытый смысл этих слов и не смели поднять друг на друга глаза, полные смятения и скорби.

Светло-каштановые волосы Нурилы, слабо зашпиленные на затылке, рассыпались по плечам.

— Что с тобой, девочка? Ты плачешь?— тихо спросила ее Аклима, и голос ее дрожал от волнения.

— Нет, что вы, апа... У вас такой сын, разве можно

плакать?— ответила Нурила и попыталась улыбнуться, но ее волнение выдало дрожь в голосе. Она продолжала читать:

«И вот началось, мама. Тяжелый танк наш на полном ходу окунулся в воду. Мы неслись, то ныряя в какие-то ямы, то поднимаясь. Оглушительный грохот моторов стал тише. Товарищи не спускали взглядов с приборов. Я отдавал приказания:

— Прямо держи... Влево... Жми напрямик... Вправо...

Мелко дрожали передо мной стрелки хронометра, как крылья озябшей бабочки. Две секунды прошло. Две с половиной. Три. О, тут я впервые в жизни понял, что такое доля секунды,— целая вечность, за которую можно обойти весь земной шар. Мне казалось, что все происходит во сне. Непонятное чувство безразличия сковывало движения. Запах сырости щекотал ноздри. Воды было в танке уже по колено. Только бы не заглох мотор! Вода вдруг всколыхнулась, поднялась нам по грудь и стала быстро спадать. Мы поняли, что выскочили на противоположный берег.

Наш танк шел вторым, позади были еще три машины. Кто из них форсировал реку, а кто нет, мне до сих пор неизвестно. Тогда не было времени проверять. Перед нами — немцы, позади — наши войска, которые ждут своего часа, ждут начала наступления.

— Вперед!— кричу водителю.— Не сбавлять скорости!

И мы несемся... Вспышки разрывов вырывают из тьмы разрушенные проволочные заграждения, надолбы, мечущихся немецких солдат.

— Огонь!— кричу стрелку.

А по броне танка царапают уже пули и осколки. Мы — в полосе огня. Наш стрелок, Петя Чернов, не перестает бить по немцам. Пот ручьями течет по его лицу. А Рахим Сарыбасов — водитель — бросает танк в самую гущу немецких солдат, в панике удирающих от нас. Рахим оборачивается ко мне, узкие черные глаза его блестят.

— Коля!— кричу я Николаю Сорокину, радисту.— Ну как там? Пошла пехота?

Он отрицательно покачал головой. Да, пожалуй, еще рано ей переправляться. Но скорее бы! Скорее!

Мы углубились уже на десять километров от берега. Значит, всего пройдено две тысячи сорок девять километров, подумал я. И вспомнил, что тебе сегодня сорок

девять лет исполняется. Потрогал нагрудный карман. Письмо на месте.

Петя Чернов обернулся ко мне от пушки, хотел что-то сказать, и в тот же миг танк вздрогнул, пахнуло едким дымом. Чернов со стоном повалился вниз. Я хотел было броситься к нему на помощь, но что-то морозное, колючее ударило меня в лицо. Посмотрел — на руке кровь, теплая, моя кровь.

— Товарищ командир!— слышу голос радиста.— Пехота переправляется. Взвод автоматчиков уже на этом берегу...— Он внезапно запнулся и крикнул мне:— Нос... Нос...

А я показал ему на Чернова. Вдруг внутри танка вспыхнуло, заметалось пламя. И первое, что бросилось мне в голову: письмо. Письмо, которое я не успел отправить тебе, сгорит в моем кармане. Кровь заливала лицо, я хотел было утереться рукавом гимнастерки, но одежда вспыхнула на мне... Попытался тушить, хотел добраться до люка, открыть его и выбраться наружу, но что-то тяжелое и острое ударило меня по ногам, я почувствовал, что стремительно падаю в черную бездну, из которой могу не подняться... Вот и все. Что было дальше со мной — я не знаю. Очнулся через шесть месяцев и десять дней...»

У Нурилы, теперь читавшей письмо стоя, внезапно подкосились ноги, и она схватилась за стенку, чтобы не упасть. Листки письма выпали из ее рук, рассыпавшись по полу. У Аклимы не нашлось сил наклониться и поднять их. Горький комок подкатился к горлу и мешал ей дышать.

А рядом с террасой стояли и слушали чумазые ребятишки, только что вернувшиеся из школы. У одного из них была на голове большая отцовская пилотка, а в руке сумка.

— Понял, как надо фашистов бить? — спросил он у своего товарища.— Я-то уже знаю. Мне папа рассказывал... Сперва в тыл надо зайти, а потом — трах! И ударить!

Он хотел показать, как надо ударить, размахнулся, но товарищ его юркнул в сторону, и мальчуган в пилотке, потеряв равновесие, сам плюхнулся на землю. Книжки, лежавшие у него в сумке, рассыпались... Другой мальчик, не теряя времени, сел ему на грудь, зажимая рот рукой.

— А потом... Еще раз — трах!— приговаривал он.— Рот этому немцу завязать и тащить его к командиру!

Они играли в войну. А на террасе сидели две женщины, потрясенные самой страшной правдой настоящей войны.

— Читай, Нурила. Читай все, до конца!— с трудом выговорила Аклима, желая допить наконец безмерную чашу горя. И Нурила стала читать:

«Первое, что я понял, когда очнулся,— руки целы. Обрадовался. Все десять пальцев сохранились полностью. Обнимаются друг с другом, как старые друзья после долгой разлуки. Где же я? Что со мной? Почему так темно вокруг, так тихо? Наверное, ночь... Да, да! Ночь, думал я. Та самая ночь, когда загорелся танк. А может быть, он и не загорелся. Может быть, просто я уснул тогда, и все, что было,— сон, множество тяжелых снов! Ощупываю руками грудь... Цела... Сердце стучит. Поддерживая друг друга, руки движутся к голове... Вот — губы. Целы и губы, и зубы... Вот — нос. Но вместо носа пальцы нашли мягкую повязку, а под ней, словно расплавленный свинец,— боль. А ноги мои? Чувствую, что левое бедро немеет, а в пальцах правой ноги ломота. Руки скользнули вниз и... не нашли ног. Вместо них — обрубки.

Я потерял сознание, а когда снова пришел в себя, была все та же тишина, та же мягкая койка и были чьи-то руки, которые меняли у меня на голове повязку.

— Послушайте! Сколько времени?— спросил я.

Никто не ответил мне. Я снова спросил, но не услышал своего голоса. Что же случилось — оглох я или нем? Поднял руку. Тогда чей-то низкий голос у самого моего уха едва слышно проговорил:

— Успокойтесь. Вы спасены и будете жить. Вы в Саратове, в госпитале. Месяца через два начнете ходить. Поняли?— Голос неизвестного мне человека повторил все снова.

Да, я понял: буду жить, буду ходить. Но двух месяцев мне все-таки не хватило для того, чтобы подняться с постели. Теперь я уже мог считать дни, недели, месяцы... Прошло полгода с той минуты, как я пришел в себя, а подняться с койки все еще не мог. Постепенно возвращалось зрение, с трудом и понемногу я начал говорить, госпитальные хирурги восстановили мне нос. Но одного боюсь я все время: не узнают меня друзья-товарищи.

Лицо мое обезображено, ног нет... Я долго не решался написать тебе обо всем этом, мама, родная.

Но я хочу жить... Ведь руки-то мои целы, сердце-то бьется. Значит, не все еще потеряно.

Мама, я могу писать. Какое это прекрасное слово — могу. Какое это большое счастье — писать! На фронте я часто пел какую-то песню. Слов я теперь уже не помню и мотива не помню. Но это были мои слова и мой мотив. Хороши они или плохи для других — не знаю. Знаю другое: что-то большое всегда поднималось во мне, будто я плыл по бескрайнему морю или стоял на вершине высокой горы. Я забывал все горести, уныние, страх, злость. Я пел... А почему бы и сейчас не запеть мне? Почему? Пусть попробуют взлететь к небу слова моей песни, как птенцы с неокрепшими крыльями. Ведь не сразу, но все-таки они научатся летать!

И последнее, мама. Сейчас, когда ты читаешь это письмо, я — на курорте. Учусь ходить на протезах. Обрубки ног болят. Но я все равно буду ходить. Буду!

Жду твоего письма. Как только получу его, вылечу в Караганду. Жду свидания, жду, когда ты крепко обнимешь меня. Твой сын Сапар».

— Сапар?!— вскрикнула Аклима.— Кто? Какой Сапар? Может быть, Касым ты хотела сказать?

— Нет.— Нурила растерялась не меньше Аклимы.— Здесь написано ясно: Са...апар...

— Са-а-а-апар?— выдохнула Аклима, выпрямляясь. Успокоилось сердце... Не он!

Она не могла скрыть радости: эти нечеловеческие страдания не коснулись ее сына; другой, чужой, совсем не знакомый ей остался калекой, но не Касым, нет! Аклима посветлевшими глазами взглянула на Нурилу и вздрогнула. Девушка так изменилась, что ее не узнала бы и родная мать. Она поникла, сгорбилась, даже темно-красное шелковое платье с голубыми цветочками, плотно облегающее ее тонкий стан, казалось помятым, словно увядшим. Вся тяжесть страданий солдата ложилась теперь на нее одну. В ее взгляде, остановившемся на лице Аклимы, были удивление и упрек.

Аклиме стало стыдно за свою минутную радость.

— Он, наверное, так любил свою мать,— сказала она скорее самой себе, чем Нуриле, и в голосе ее зазвучала тайная материнская забота.

— Да!— воскликнула девушка.— Ведь я застала ее. Она жила здесь, в этой комнате, где вы теперь живете...

И Нурила рассказала все, что знала. Во время войны, когда она, окончив институт, приехала в Караганду, случай столкнул ее с Сапаром и его матерью. Однажды Нурила возвращалась домой после собрания. Была ночь. Вдруг мимо девушки пробежал голый человек. Зимой в Караганде она увидела человека, бегущего в одних трусах по морозу! Конечно, Нурила испугалась. Она бросилась к дому и на террасе у соседки, тети Улбалы, увидела человека, надевавшего гимнастерку. Утром, когда Нурила, направляясь на работу, вышла из дому, ей встретился молодой лейтенант, рослый, с густыми ресницами и черными, причесанными назад волосами.

— Сестренка,— сказал он, улыбаясь.— Я, кажется, испугал вас вчера... Вы меня извините... Я каждый вечер обтираюсь снегом. Я вовсе не хотел пугать вас. Честное слово!

Это была их единственная встреча. Вечером молодой лейтенант уехал на фронт. Но он надолго остался в памяти Нурилы. Потом она узнала от Улбалы, что это ее сын, что зовут его Сапаром. Через два года Улбала умерла, а в ее комнате поселилась Аклима. Вот и все, что могла рассказать Нурила.

И снова в душе Аклимы четко зазвучали слова письма, далекий и сильный голос солдата. Как он был понятен ей! Но что делать? Как помочь Сапару? Как написать ему, что никогда материнские руки не обнимут его израненную солдатскую голову, что никогда не услышит он голоса своей матери?

— Нуркеш, — нерешительно сказала Аклима. — А если я... если я вызову его... Ну, напишу ему от имени матери... Приезжай, мол, сынок. Что будет, Нуркеш? Я ведь теперь знаю: мой-то Касым не вернется...

Нурила ничего не ответила ей. Она только подняла свои большие карие глаза, наполнившиеся слезами, она только схватила руку Аклимы и крепко сжала ее.

В тот же день полетела из Караганды телеграмма Сапару:

«Приезжай, сынок, жду. Мама».

И Аклима стала ждать. Только не инвалида Сапара, нет! Такие, как он, никогда не становятся инвалидами, думающими только о своих несчастьях, о своей горькой участи...

Каждый самолет, пролетавший над ее домом, заставлял сильнее биться материнское сердце. Может быть, это он летит — ее сын, солдат, ее Сапар?

1943

В ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА

(АРАЛЬСКАЯ БЫЛЬ)

Узун кулак —«длинное ухо» степи, а точнее сказать, цепь уст и ушей, передающая новости,— работает безотказнее телеграфа. Телеграммы могут запаздывать, может опоздать поезд или, скажем, уполномоченный. Узун кулаку это неведомо. Стоит только какому-нибудь закону, приказу или вести о важном событии добраться до Оренбурга — дальше хабар будет подхвачен и полетит по просторам казахских степей. Бывает, что и сам Оренбург ничего еще не знает, а хабар уже несется по степи на верблюдах и лошадях, везет известие прямо из Москвы, а то даже из Парижа или Лондона.

И на этот раз, как всегда, узун кулак передал новость через Тамаршу. Куда этот джигит съездил? Всего-навсего в Казалинск. В тот самый Казалинск, где дома — серые землянки, по пояс втянувшие в себя сырость,— удивленно смотрят друг на друга незакрывающимися глазами окон и дверей. В Казалинск, из труб которого всегда тянутся дымы, как караван верблюдов, уходящий в степь. А за караваном бегут еще и верблюжата — дымки из множества самоварных труб. Весть, которую на этот раз привез Тамарша, не вмещалась в головы степняков:

— Ленин! Сам Ленин написал письмо аральским рыбакам!

В центре круглой, как юрта, артельной хижины, сложенной кое-как из кусков саксаула и прутьев джингиля, пылал огонь. Вокруг костра сидели люди, это была артель, промышлявшая рыбной ловлей и заготовкой топлива для паровозов. Люди с недоверием смотрели на

Тамаршу. А вестник стоял и улыбался — то счастливо, то растерянно.

— Кто, кто нам написал? Сам Ленин?

— Да, Ленин! Специальное прислал письмо. Привет рыбакам Арала.

У самого старшего из артельщиков аксакала Эсламкула задрожали редкие усы. Глаза превратились в треугольные щели.

— Вот что, мальчик,— сказал он.— Так шутить нельзя, если не хочешь, чтоб тебя поколотили. Понял?

И длинной палкой — оружием погонщика верблюдов — Эсламкул принялся шуровать в костре. Пламя взлетело и рассыпало миллионы искр.

— Что ты, Эсеке,— сказал Тамарша,— кто же позволит себе шутить? Вот письмо Ленина.— Он вытащил из-за пазухи сложенный в восемь раз лист сероватой оберточной бумаги и протянул Эсламкулу.

Аксакал не шевельнулся.

— Читай,— приказал.

— По-русски написано. Не прочитать...

Оба озадаченно уставились в бумагу. Кто-то из артельщиков кашлянул, сдерживая смешок. И тут Эсламкул — что-то пришло ему в голову!— выхватил бумагу из рук Тамарши. Осмотрел с лицевой и обратной стороны:

— Пропади пропадом тот бог, что послал нам тебя в начальники! Дурак, ведь бумага-то казалинская! Та самая, в которую завертывают вяленую дыню. Думаешь, Ленин не нашел бы листка белой бумаги?

Листок пошел по кругу, из рук в руки.

— Точно, казалинская бумага!— заговорили артельщики.— И деготь на буквах не просох — так только в Казалинске печатают.

Они были не прочь повеселиться насчет Тамарши.

— А что, Тамарша, разве Ленин приезжал в наш Казалинск? Ты не глотнул в поезде чего-нибудь вроде пива?

Смуглое лицо Тамарши постепенно краснело, стало багровым. В самом деле, как он не узнал казалинскую бумагу? Тамарша растерянно сказал:

— Там я вам чай-май привез. Да еще крупчатки-крупчатки... Принесу сейчас...

И вышел поскорей из хижины.

Тамаршу на самом деле звали Жангабыл. Но он был на редкость мал ростом, да притом года два уже возил **тамаршу** — особенно коротко нарубленные для топки паровозов чурки из саксаула и джингиля. Вот и прозвали джигита Тамаршой, а настоящее имя совсем забыли.

В те трудные годы доставка топлива для транспорта и продовольствия для народа стояла в ряду самых важных забот государства. Казахи, жившие по берегам Арал-моря в землянках, сколотив артели, заготавливали топливо для железной дороги и ловили в Арал-море рыбу. За эту работу они получали все, что было крайней необходимостью: муку, чай, сахар, табак. Саратовская махорка была драгоценностью того времени. В аулах, кочевавших далеко от железной дороги, за две плитки кирпичного чаю можно было получить верблюда.

Тамарша был чем-то вроде караван-баши в артели из семи человек, которая заготовляла саксаул и джингиль и на двадцати верблюдах подвозила топливо к железной дороге. Если точно подсчитать, из этих семи артельщиков грамотой владели четырнадцать и три десятых процента, то есть как раз один человек — Тамарша. Слова «пуд», «фунт», «аршин», «чай», «сахар», «мука» он писал без ошибок. А слова «саксаул» и «джингиль» не удавались. Поэтому можно сказать, что и грамотность самого Тамарши была не выше 14 процентов. Но все же он был грамотей, и поэтому Эсламкул, смеясь, называл его иногда начальником, что было очень обидно.

Сегодня Тамарша ездил в Казалинск получить в волпродкоме все, что полагалось артели за недельную работу. Он получил там два пуда муки, десять пачек махорки, две плитки кирпичного чая, двенадцать аршин ситцу с красно-зелено-белыми разводами, мешочек сахарного песку и еще — на несколько тысяч, а может быть, и миллионов, бумажных денег. Это была целая охапка денег. Трехрублевки были напечатаны по пятьдесят штук на больших неразрезанных листах.

Тамарше, который сразу получил столько богатства, хотелось еще узнать, какие есть на свете новости — надо же привезти артельщикам какой-нибудь хабар из волостного города! Подставляя свое ухо всем разговорам, которые можно было услышать, он добрел до последней комнаты длинного волпродкомовского коридора. Комната была полна людей, синего дыма и хриплых людских голосов. Пять или шесть человек о чем-то спорили во-

круг большого стола. К этому столу выстроилась очередь, конец которой был в коридоре. По привычке тех лет, Тамарша тоже стал в очередь.

— Бери и сматывайся,— говорил у стола человек в кожаной черной тужурке и кожаной кепке, видно, русский.— Вот тут подпишись. Чтоб не позже как завтра все рыбаки знали об этом.

Он давал каждому что-то похожее на плитку кирпичного чая, завернутого в бумагу.

Тамарша безошибочно определил: то, что раздает этот человек, выдается бесплатно, надо только расписаться. Он твердо решил — очередь покидать нельзя, и подтянул поближе свой мешок с мукой, который доставал ему до локтя.

Подошла очередь Тамарши, он налег на стол комиссара Смилгина и протянул руку к чернильнице.

— Ты-то откуда взялся?— уставился на него Смилгин.— Мешочник, буржуй!

— Нет, два раза нет! Буржуй не такой. Арал-море знаешь? Мой рыба ловит, саксаул таскает. Первый сорт крупчатка, чай, сахар — мешок.

Он похлопал по своему мешку. Затем оказалось, что за пазухой у него десятки расчетных квитанций, он выложил их все перед Смилгиным.

— Хватит, хватит, все понял!— остановил его комиссар.— Прячь свои квитанции. А я дам тебе вот эту бумагу. Очень хорошая бумага, письмо Ленина рыбакам Арала. Вам письмо, понял? Бери!

Таким-то путем письмо Ленина, размноженное в казалинской типографии, и попало в руки Тамарши.

Как не гордиться! Получал бумагу вместе со всем начальством волости. Бумагу не простую — письмо Ленина! Когда, вернувшись в Аральск, Тамарша подъехал к хижине артели, он даже не стал снимать свой мешок и коржун со спины верблюда — так хотелось поскорее выложить новость:

— Ленин! Сам Ленин написал письмо аральским рыбакам!..

Теперь, отвязывая мешок, он не торопился — остывал, подбирал слова, чтоб получше ответить Эсламкулу. Трудное дело побороть привычку — никогда еще не перечил он старику. Что ни говори — дядя родной. Но бумага, которую привез Тамарша, ведь действительно письмо

Ленина! «Нет, я сейчас так и выложу и дяде и всем остальным: прекратите вашу болтовню!»

Когда Тамарша втаскивал в хижину «чай-май» и «крупчатку-хрупчатку», один из артельщиков как раз отрывал от края казалинской бумаги косую полоску для «козьей ножки». Бросив у входа мешок и коржун, Тамарша выхватил у него листок. Чистые края письма были уже ободраны с трех сторон, и два других артельщика курили свернутые из этой бумаги «козьи ножки». Тамарша вырвал у них самокрутки и бросил в огонь:

— Вот вам мешок и коржун, там полно добра, делите. Свою долю я возьму из следующей получки. А сейчас еду в аул.

И, сжав губы, вышел.

«Аул», куда направился Тамарша,— это поселок Аральск. Со стороны вокзала он уже тогда был похож на окраинный уголок приличного города. А вот на берегу моря, которое в те времена плескалось у самых дверей Аральска,— там был настоящий аул, городище из тесно сгрудившихся землянок. Каждый знал там, что делается у соседа, каждый шепот был слышен всем. Тамаршу встретила стая собак. Одни весело сообщали аулу, что едет свой человек, другие визжали — враки, едет чужой! Как полагается по древнейшим законам степи, на лай собак выбежали и люди.

— Ау, кто там едет?

— Я, Тамарша!

— Кто же как не Тамарша!— слышался смех молодых женщин.— Между двумя горбами верблюда торчит только голова. Он один у нас такой!

— Тамарша! Куда так торопишься в ночное время?

— Важная новость. Ленин письмо написал. Нам, аральским рыбакам.

Тамарша направил своего верблюда к поселковому Совету. Поссовет оказался закрытым. Тогда Тамарша повернул верблюда и поехал к учителю школы. Собаки с лаем и грызней сопровождали его до учительского дворика. Здесь за саксауловым плетнем учитель Ажибай доил свою верблюдицу.

— Ассаламалейкум, здравствуйте!

— Агалейкумассалам, Тамарша! Сейчас, дорогой, сейчас. Жена родила. Вот сам дою, как видишь. Еще разок-другой потяну, подожди минутку.

В прошлом мулла, а сейчас учитель двухклассной ка-

захской школы, Ажибай продолжал доить. Окончив, пригласил Тамаршу в дом.

— Пожалуйста, молла-еке, это письмо от Ленина или другое что-нибудь? Разбери, пожалуйста.

Весьма нетвердый в русской грамоте, Ажибай долго рассматривал листок, поднеся его к коптилке. Потом сказал:

— Утверждать, что письмо от самого Ленина, трудно. Первым подписался человек по имени Ульянов. Подпись Ленина стоит второй. Но подпись есть...

И он прочитал по слогам, применяя арабский способ чтения:

— Ле-масле... Ни-насни... Нон-гасекен... Ленин. А вот что дальше, ты посоветуйся со своим ребром. Такое сейчас время — не то утренняя заря, не то вечерняя... У меня не хватает смелости углубляться дальше в такое писание...

Тамарша усмехнулся про себя: «Учитель, а до сих пор не знает того, что известно любому неграмотному степняку!» Но все-таки спросил:

— Может быть, вы мне хоть что-нибудь разберете?..

Учитель долго рассматривал листок, все приспосабливал способ чтения арабского письма к русскому тексту. Наконец произнес:

— Правильно. Аральским рыбакам. Хорошие слова. А вот тут совсем плохо... На Волге страшный, смертоносный голод, так и написано. Дальше — такое слово, которого я не встречал, не слыхал и не читал...

Жаль было смотреть на учителя — так он мучился.

— «Соли-дар-ность...» В общем, это значит вроде как братья. «Помогайте голодающим, поделитесь, чем можете».— И окончательно выбившись из сил, он вернул письмо Ленина Тамарше.

— Спасибо, молла-еке, понял.

Теперь Тамарша повернул домой — повидаться с матерью. Но оказалось, что землянка его полна людей. Те, кому не нашлось места в доме, толпились во дворе, окруженном плетнем. У старушки был сегодня той. «Твой сын получил письмо от самого Ленина»,— сказали ей люди. Конечно же, надо выставить угощение. Из двух разбитых и стянутых жестяными кольцами пиал старики поочередно пили чай. Молодежь, стоявшая поближе к двери, курила хозяйскую махорку. Мать плакала. Светлые слезы радости текли по ее лицу поверх улыбки. Старушка просила аллаха, чтоб он отводил от сына дур-

ной глаз и дурное слово. Жена Эсламкула плакала вместе с матерью Тамарши. Ах, ведь она так часто заставляла работать Тамаршу, иногда, бывало, и ругнется, порой даже плохими словами! А где же Эсламкул? Неужели из-за своего крутого характера не пришел?

Молодые женщины и девушки, которые частенько и довольно зло прохаживались насчет Тамарши, теперь чувствовали себя неловко.

— Ну, Тамарша, садись с нами, объясни, что пишет Ленин.

Тамарша уселся рядом с матерью и убежденно, словно читая письмо, стал объяснять:

— Ленин всем рыбакам поклон шлет. Детям и старикам, мальчикам и девочкам — всем вам!

— Спасибо ему! Дай ему бог здоровья!

— Родные мои рыбаки Арала,— пишет Ленин,— сети ваши так тяжелы от рыбы, что вы лошадьми еле вытаскиваете их на берег. Каждый раз радуемся, когда мы слышим об этом...

— Святая правда, все видит великий человек...

— Значит, он знает, что мы двумя верблюдами иной раз еле вытаскиваем сеть...

— Так и сказано — родные?

— Да, так и сказано. А на Волге-реке, друзья, сейчас голод. Голодают ваши братья, которые вам помогали свалить царя, избавили от банды белых, от алашордынцев. То, что ваши щедрые мозолистые руки смогут сегодня дать, Советская власть вернет вам многократно, не забудет.

— Ойбай, милый Тамарша, ответь Ленину, ответь! Как эта штука называется — молнией ответь. Пусть молния понесет ответ. Блеснет — и ответ на столе Ленина.

— Отдадим все, что имеем! Больше, чем просит Ленин, отдадим!

Рыбаки не спали всю ночь. На родном языке, местами близкие к фантазии, слова Тамарши прямо попадали в цель, в сердце. Людям стало легко и счастливо. Разве царь или даже его аульный старшина обращался к ним когда-нибудь как к людям?

От устья Волги до Китая разбрелся народ, имя которому — казахи, но кто считал их народом? У них было отнято даже это имя «казах». А вот Ленин написал им — братья! Казахская степь, которая в прошлом принадлежала не им, сейчас наконец отдана живущему в ней

народу. То, что, как нагар в котле, веками накапливалось в душе трудового человека, теперь растаяло.

Письмо Ленина превратилось в песни и зазвучало на струнах домбры. А наутро легенда о письме Ленина к аральским рыбакам уже звучала далеко от Арала на просторах Казахстана. Вместе с легендой разнеслось по степи и имя Тамарши.

В полдень к берегу моря потянулись люди. Мужчины и женщины, детвора, старики и старухи собрались на высокой песчаной косе. Все были одеты празднично. Кто имел хорошего верблюда или коня, выставил напоказ. Это было ленинское собрание, люди говорили торжественно и горячо. Они диктовали письмо — ответ рыбаков Ленину.

— Вот лежит перед нами, играет и плещется наше Арал-море, серебряный казан, полный рыбы. Большие рыбы ходят здесь в глубине — лоснятся, как жеребята весной. А когда заиграют, морю уже не вместить их, и золотистый сазан с серебристым судаком выпрыгивают на берег. Если две рыбины не заполнят котел, таких мы не берем, обратно бросаем в море... Первым Ленину пишите об этом!

— Голодающие братья-волжане! Арал ничего не пожалеет для вас. Пока не напишете нам, что вы сыты и разбогатели, не давайте нам покоя! Не просите, а приказывайте! Как сказано в письме нашего Ленина, так и будет. Наши мозолистые ладони щедры, ждите с каждым поездом аральскую рыбу. Очень жаль, что мы живем далеко друг от друга, а то мы заставили бы само Арал-море перекочевать поближе к вашим аулам... Вторым Ленину пишите об этом.

— По вашему, родной Ленин, приказу мы прогнали рыбопромышленников и создали артели. Мы могли бы отправлять каждый день по пять тысяч пудов рыбы, но у нас плохие корабли. Вроде старых дедовских сапог — как заденет носом воду, тут же и глотает. А чтобы отремонтировать их, ничего у нас нет... Третьим об этом пишите Ленину.

Из всех этих от сердца высказанных слов и была составлена телеграмма Ленину. Ее отправили в тот же день.

Осенняя прохладная ночь. При свете полной луны блестит морской плес, и по этому зеркалу катятся ред-

кие и медленные темно-свинцовые валы. На косе у вешал женщины нанизывают рыбу на шпагат. Несмотря на поздний час, никто не спит — играют дети, грызутся собаки, кипят самовары.

Вяленую и копченую рыбу мужчины отвозят на верблюдах к железной дороге, грузят в вагоны. Собирались к завтрашнему дню отправить двадцать вагонов рыбы, соленой и копченой, но хватит ее, видно, лишь на четырнадцать-пятнадцать.

— Пусть это будет первый наш гостинец Ильичу Ленину!— как бы оправдываются рыбаки друг перед другом.— Вот наступит зима, море у берегов застынет — горы рыбы сложим на льду!

Высоко поднялся в эти дни авторитет Тамарши. Когда подошло время отправлять рыбу, он приостановил подвозку топлива и пригнал все двадцать верблюдов на косу. Как только Тамарша появился здесь, он показался людям уполномоченным от самого Ленина. И стал как бы бригадиром всех рыбаков. К привычному его имени прибавилось уважительное «товарищ». Если что-нибудь не ладилось, люди обращались к нему:

— Товарищ Тамарша, шпагату не хватает.

— Беги в магазин,— приказывал Тамарша,— пусть Файрахман открывает свою лавчонку.

— Сказать, что сам товарищ Тамарша приказал?

— Что хочешь говори, но чтобы шпагат был...

— Товарищ Тамарша! Четырнадцать вагонов нагружены до потолка, рыбы осталось на полвагона, как быть?— спрашивает дядя Эсламкул у Тамарши, хотя они работали вместе, рука об руку.

Тамарша улыбнулся про себя:

— Пусть останется. Не люблю ничего половинчатого. Отправим в следующий раз.

И вагоны ушли.

— Москва, Кремль! Ленину!..— вслед поезду радостно кричали рыбаки.

Наступили холода. Неглубокие морские заливы замерзли. И сразу же на льду появились первые штабеля мороженой рыбы. Вскоре из штабелей разросся целый городок с десятками проходов и улочек. Ворохами лежала свежепойманная рыба.

Сегодня Тамарша опять возвращается из Казалинска. И опять с ним ленинское слово к рыбакам. На этот

раз он везет две листовки, отпечатанные на русском и казахском языках.

По-русски Тамарша не читал. А вот казахский текст приказа он почти весь разобрал еще в тамбуре товарного вагона и теперь, пересев на своего верблюда, качаясь из стороны в сторону, повторяет слова этого удивительного приказа:

«Товарищу Лем Нон Крицману,— две буквы, стоящие перед фамилией этого человека, Тамарша прочитал по-арабски:— Товарищу Лем Нон Крицману... В двадцать четыре часа...»

Между высокими горбами белого верблюда видна в самом деле только голова Тамарши. В такт движению ног корабля степей раскачиваются уши хозяйского заячьего малахая. Губы Тамарши повторяют: «Товарищу Лем Нон Крицману... В двадцать четыре часа...»

Когда степной скороход с Тамаршой между горбами появился в аральском ауле, люди опять кинулись навстречу:

— Что, товарищ Тамарша, опять какие-нибудь новости?

— Да, товарищи рыбаки. От Ленина. Еще раз от Ленина. Собирайтесь в поссовет, услышите.

Председатель поселкового Совета — немного щеголь, в меру покладистый, достаточно грамотный, отчасти похожий на старого аульного старшину и лишь отчасти — на председателя Совета, одетый почти по-городскому — на голове черная тюбетейка,— сидел в кабинете, не зная, куда девать свой вечер. Ему очень не понравился Тамарша, который без разрешения быстро вошел в кабинет.

— Что случилось, что ты так врываешься без спросу?

— От Ленина приказ,— ответил Тамарша.

— Если будет приказ, он прежде всего придет в Совет. Ты-то что так ошалело бегаешь без дела?

— Приказ очень срочный, товарищ председатель.

— Ну, если срочный, мы и выполним по-срочному.

— Нет, товарищ председатель, вы сначала выслушайте его.

И Тамарша одним духом выложил все, что запомнил из этого приказа:

— «Товарищу Лем Нон Крицману... В двадцать четыре часа рассмотрите заявку для шести судоремонтных мастерских Аральского моря на два экскаватора... И еще на четыре... И на токарный и фрезерный станки».

Вот. На русском и казахском языке. Ленина приказ. Берите.

Он положил приказ перед председателем поссовета. Тот задумался: «Что этому Тамарше надо? Может, председателем поссовета стать хочет?» Но к приказу самого Ленина равнодушным оставаться нельзя.

— Хорошо, товарищ Тамарша,— сказал он.— Приказ наверняка получим, не сегодня, так завтра. Соберем народ, огласим. Ну, а как ваши дела?..

В это время за дверью затопали рыбаки. В резиновых и казахских сапогах с побелевшими от соли головками, они входили, теснясь, наступая на каблук идущего впереди. Рабочему человеку некогда заниматься пустыми разговорами, и рыбаки подступили прямо к председателю.

— Что же наш родной Ленин нам пишет?

— Совет еще ничего не получил. Получим — соберем, услышите.

— Ты дай нам хотя бы самую соль. Соль! Нам надо знать, чтоб наши сети шли, как смазанные жиром.

Председатель смолчал. Тамарша посмотрел на него.

— Приказ Ленина председатель уже получил. Я ему привез, в столе лежит. Если у председателя нет времени передать вам хотя бы самую соль, я прочитаю вам целиком. Приходите вечером ко мне...

Вечером в землянке Тамарши первыми собрались молодые женщины и девушки. Кто из них смеялся над ним? Кто говорил, что его голову чуть видать между двумя верблюжьими горбами? Похоже, что никто. На ресницах девушек трепетало уважение, в глубине глаз — улыбка и еще что-то... Все приоделись, появились серьги и браслеты.

Тамарша говорил гостям: «Проходите, садитесь», но оставался прежним,— как и раньше, стеснялся, не находил слов, чтоб поговорить с ними. Лишь улыбался и потел.

Девушки уселись в ряд на переднем месте землянки. Молодые женщины окружили вниманием старую мать. Ставили самовар, топили печь, разбивали на части куски саксаула, твердые, как камень. Перед гостями постелили дастархан, пестрый от множества заплат. И наступила тишина. Девушки, которые привыкли мозолистыми руками ломать просяной хлеб и отправлять в рот сразу большой кусок, сегодня лишь прикусывают

его. Сахарный песок сыплют жестяной ложечкой на самый кончик языка. Что случилось с ними?

— Передай, пожалуйста, пиалу Тамарше-ага,— осмелясь, говорит одна...

Ночью рыбаки, вернувшись с лова, ввалились в землянку. Мужчины оттеснили женщин и девушек к печи, сбили их в табунок, как козлят.

— Так, товарищ Тамарша. Объясняй теперь нам, о чем сказано в приказе Ленина.

И еще раз наизусть Тамарша отчеканил: «Товарищу Лем Нон Крицману... В двадцать четыре часа...»

— Святые слова...

— Что же это такое —«экстебатор»? Это же по-нашему означает «дважды батыр»!..

— Не экстебатор, а экскаватор называется машина.

— А мы думали, вдвое больше делает, чем может человек.

— Не вдвое. В сто раз!

Но крепче всего засели в голове людей эти двадцать четыре часа, в течение которых Ленин требовал выполнить поручение. До сих пор казахская степь измеряла свою жизнь не часами, не днями, а столетиями. И вдруг —«в двадцать четыре часа»!

— А наши некоторые джигиты двадцать четыре часа могут только спать. Двадцать четыре часа уйдет на зевок. Еще двадцать четыре — чтоб с мыслями собраться...

— Хорошо, если бы после этого они хоть двадцать четыре часа поработали с огоньком...

Как бы высоко ни ценили рыбаки свой труд, они представляли себе, какой всеобъемлющей и сложной должна быть работа Ленина. Присвистнув, качали головами: не работает ли Ленин все двадцать четыре часа без сна каждый день?

Коснулись в разговоре и председателя поссовета.

— Из этих бы слов Ленина да сделать талисман,— сказал Эсламкул,— и на шею председателю!

Сказал и оглянулся на Тамаршу смущенно. С того дня, как к имени племянника было добавлено слово «товарищ», Эсламкул уже не решался разглагольствовать перед ним.

Тамарша молча взглянул на девушек и неожиданно для всех и для себя разразился целым потоком слов.

— Хадишажан,— обратился он хоть и не к самой красивой, зато к самой миловидной из девушек.— Ты же учишься в школе. Так найди мне красный бархат — ар-

шин в длину, пол-аршина в ширину. И вышей белыми шелковыми нитками: «В двадцать четыре часа. Ленин». Вышьешь?

В черных глазах девушки будто вспыхнуло пламя. Тамарша покраснел — ведь он в первый раз за всю свою жизнь сказал девушке так много слов! Не отвечала и Хадиша — она думала: не шутит ли он? Или действительно на нее пал такой ответственный выбор?

— Почему не вышьет?— сказал отец девушки.— Вышьет!

Пока перед глазами девушки не прошли эти вышитые ею на красном бархате буквы, она молчала. Затем ответила сразу:

— Вышью.

— В двадцать четыре часа, милая?

Хадиша молча кивнула.

— Вышьет, вышьет!— зашумели вокруг все.— Ее мать, Аймангуль,— первая мастерица расшивать бисером казахские узоры.

Так на глазах у всех вырос, стал известным сначала один человек — Тамарша, а за ним и второй — девушка по имени Хадиша.

И родилась на берегу Арал-моря еще одна легенда: о том, как Ленин требует работы от людей и как работает сам.

* * *

Мать легенд всегда — правда. Кто ищет правду в нашей легенде, найдет ее, раскрыв 53-й том Сочинений В. И. Ленина.

1970

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Секретарь райкома второй раз напоминал мне:

— Ты что же?.. Ты бы поторопился с поездкой в тот аул. Не понимаю, чего тут тянуть!

В его голосе звучало беспокойство, и я не стал оправдываться. Он без того знал, что меня держат занятия, которые я веду в Боровском лесном техникуме. Знал — и все же настаивал.

Месяца четыре назад на самой окраине района шесть или семь аулов объединились и стали называться — колхоз. Слово было новое, и дело было новое. И у нашего секретаря никак не укладывалось в голове, почему все там против принять своих соседей из аула Жанбырши. Тем более что «тот аул», как мы называли его между собой, владел лучшими землями.

По рассказам выходило, что его обитатели тоже не проявляют особого нетерпения и пока не собираются увеличивать процент коллективизации в районе. Может быть, дошли до них разговоры о колхозе, где все люди должны носить одинаковую одежду, должны спать под общим одеялом, укладываться и вставать — одновременно, по команде... Или хоть бы жили богато, тогда бы все можно понять! Но инструктор, ездивший к ним, застал там неприкрытую нищету — и все равно ничего не добился. На все его увещевания в ответ раздавалось: «Да свершится то, что предначертано аллахом».

Рассчитывать на аллаха секретарь райкома не мог, и поэтому мне пришлось прервать лекции.

От Борового до Жанбырши — путь не близкий. Я решил, что удобнее проделать его не верхом, а в телеге, на

мягком сене. Но тут была одна загвоздка. Не так давно я не удержался и купил вороного мерина, четырехлетку: голова серпом, горбоносый. Под седлом шел легко и проворно, а со стороны взглянуть — было в нем то изящество, которое без всяких слов отличает хорошего коня от жалкой посредственности. Меня даже не остановило, что у него была короста. Я рассчитывал ее вылечить.

Настоящий степной конь — к седлу приучен, но стоило заложить его в упряжку, он мгновенно начинал пятиться назад и как-то ухитрялся в оглоблях кружиться на месте, словно больной вертячкой. В поездке я надеялся отучить его от дурной привычки. Одному сделать это было трудно, и я пригласил с собой двух ребят — студентов техникума.

Намучились мы порядком, но все же трое молодых парней оказались умнее и сильнее своенравного мерина. Солнце пошло на закат, когда появились угодья аула Жанбырши, и я убедился: утверждение, что этот аул владеет лучшими землями,— не пустые слова...

Мало наезженная дорога вела по густым ковылям. После жаркого дня их влажное дыхание приятно холодило лицо. Вдали полукольцом синели рощи, оберегая от суховея все урочище. По пути попадались озера, и тогда ветер, дувший в спину, запутывался и утихал в сплошной стене камыша. Казалось, этот уголок нарочно был создан для того, чтобы лишний раз подчеркнуть неповторимость, красоту и приволье нашей степи.

Впереди я увидел сильно поредевшую березовую рощу. Издали казалось, что там вплотную к деревьям подступили несметные полчища тли. Но стоило подъехать ближе, и взгляду предстало то, что там было на самом деле: приземистые землянки, оплывшие от дождей и потревоженные ветрами.

Зимовка аула Жанбырши встретила нас полной тишиной, и мы отправились дальше. Вскоре открылся просторный лог. В буйной зелени чернели юрты, десятка полтора. По дороге стали попадаться лошади, ходившие без привязи, коровы паслись — по две, по три, кучками разбрелись овцы и козы. Первое, что бросалось в глаза,— как же они отощали! Какие-то живые скелеты, обтянутые кожей... А ведь минувшая зима была милостива к скотоводам. Их табуны, стада и отары вышли на весенние пастбища в хорошем состоянии.

Мы въехали в небольшой аул, продолжая удивляться и строить разные предположения, почему же здешний

скот выглядит так, словно едва уцелел после жестокого джута.

Одни девчонки, прислонившись к войлочным стенам юрт, лениво наблюдали за нашим приближением. Та из них, что была постарше, безразлично зевнула и босой ногой почесала щиколотку другой ноги. Не было тут ни одного мальчишки, который непременно попытался бы прицепиться сзади к телеге и которому пришлось бы пригрозить кнутом.

На пригорке посередине аула неподвижно сидели мужчины, человек восемь или десять. Неподалеку от них я и натянул вожжи, и мерин, порядком уставший от борьбы, которая велась с самого утра, покорно стал.

День был по-настоящему теплый, но все мужчины сидели, нахлобучив тымаки-ушанки. Из ушанок клочьями торчала шерсть.

Мужчины давно заметили появление чьей-то чужой телеги, но по-прежнему хранили гордое, независимое молчание, только чуть повернули головы в нашу сторону.

Несмотря на все их высокомерие, надо было начинать знакомство. Я подошел и протянул руку первому с краю.

— Нет, нет, айналайын![1]— запротестовал он и еще глубже засунул руки в рукава оборванного халата.— Не со мной... Сперва полагается поздороваться с нашим аксакалом!— И он кивнул в сторону старика, который беззвучно шевелил впалым ртом, казалось, слова застревают у него в бороде, наполовину седой, а наполовину — рыжей.

Старик, исполненный чувства собственного достоинства, поднял голову мне навстречу:

— Уагаляйкум ашшалям!..

И снова замолк. Старику, как видно, не приходило в голову, что его надменная осанка не вяжется с беспомощным шепелявым «уагаляйкум ашшалям», с дырявыми юртами, с тощим скотом, который мы встретили, подъезжая к их аулу.

Надо было здороваться дальше, и я повернулся влево, но моя протянутая рука повисла в воздухе.

— Нет, поздоровайтесь с тем, кто сидит справа от уважаемого Атеке...

Сообразив, что рыжебородый — и есть Атеке, я подал руку бородатому человеку — бородатому, но безусому.

[1] Айналайын — дорогой, милый.

Он звучным голосом, раскатистым, как у муллы, привыкшего нараспев выкрикивать молитвы, ответил мне:

— Уа-га-ляй-кум ас-са-лям!

Я хотел было продолжить в этом же направлении, и опять невпопад.

— Не туда, не туда,— поправил меня распорядитель. — Теперь — по старшинству — надлежит подать руку тому, кто слева сидит от Атеке...

Я пересекал круг, соблюдая строгую очередность в приветствиях, и пока я это делал, прошло столько времени, что его вполне бы хватило целому аулу собраться в дальнюю перекочевку.

Наконец все руки были пожаты, и Атеке прошамкал:

— Кораш, ты потеснись... Для молодого гостя это место будет самое подходящее.

Кораш недовольно поморщился, но ослушаться он не смел и немного подвинулся — ровно настолько, чтобы я мог втиснуться рядом с ним.

О, аллах всемогущий! Смешно и грустно было видеть этих надутых спесью людей, которые даже здесь, под вольным весенним небом, чванились и не позволяли ни себе, ни другим сесть свободно. О таком неукоснительном соблюдении древних обычаев я знал только по рассказам, а в жизни не встречал — ни раньше, ни позже.

— Пусть счастлив будет твой путь, юноша, твой и твоих достойных товарищей,— обратился ко мне аксакал.

— Да сбудутся ваши пожелания,— почтительно наклонил я голову, приложил руку к сердцу и робко начал:— Мы приехали в ваш аул, чтобы...

Но Атеке не дал мне договорить:

— Пока достаточно и того, что ты сказал: «Да сбудутся ваши пожелания». Об остальном ты расскажешь нам, когда наступит для этого время.

Мне оставалось только еще раз наклонить голову и еще раз приложить руку к сердцу.

Атеке уселся поудобнее и начал расспросы, с которых обычно начинается в степи всякое знакомство.

— Скажи нам,— а какого ты рода?

— Я — керей.

— Из каких кереев?

— Из кзыл-жарских, Атеке.

— Все ли в порядке у вас? Не терпите ли бедствия или нужды в чем-либо?

— Когда мы выезжали, все было благополучно.

— Слава аллаху, всеблагому и всемилостивому,— добавил он за меня.— А выехали вы сегодня откуда?

— Из Борового.

— А-а, из Бурабая,— поправил он.— И где же кончается ваш путь?

— Здесь, в вашем ауле, Атеке.

Старик неторопливо обвел взглядом всех собравшихся мужчин, ни одного не пропустил. Он советовался с ними, как поступить, и, видимо, прочел согласие в их ответных взглядах.

— Есенгельды!— обратился он к тому, с кем я по недоразумению хотел поздороваться с первым.— Отведи приезжих юношей в большую юрту для почетных гостей. Их место — там...

Его поддержал безусый бородач, тот, что сидел справа:

— Верно говорит наш Атеке... Если они ехали к нам, то место их только в большой юрте.

Но и при его словах Есенгельды не поднялся с места. Видно, полагалось, чтобы еще кто-то что-то сказал.

Я не ошибся.

— Наш Атеке прав. Отведи приезжих юношей в большую юрту... Их место — там.

Распоряжение старика слово в слово повторил мрачный густобровый мужчина, глаза у него были расставлены так широко, что казалось, будто они смотрят с висков. Он произнес это и снова застыл как изваяние.

Но по всей вероятности, его голос имел решающее значение, потому что Есенгельды тотчас поднялся и торжественно изрек:

— Молодые друзья! Пойдемте, я провожу вас в большую юрту, туда, где мы принимаем почетных гостей.

Мы последовали за ним, все трое. Мои молодые смешливые ребята еле сдерживались, чтобы не расхохотаться во весь голос. А мне приходилось еще труднее, чем им. Улыбнись я — хотя бы чуть-чуть, хотя бы уголками губ, и они бы разошлись вовсю, и наше дело оказалось бы безнадежно испорченным.

Чтобы этого не случилось, я завел серьезный разговор с нашим провожатым.

— Есеке! Время еще раннее. Нам бы хотелось сегодня поговорить о деле, которое привело нас к вам, в Жанбырши. Как вы думаете, когда мы сумеем это сделать?

— На все установлен свой порядок,— отозвался он.—

У нас в Жанбырши Атеке сам позаботится о ваших делах. Он спросит: а с чем вы пришли к нам? Тогда и расскажете.

Оставалось одно: подчиниться этим незыблемым правилам и покорно следовать за Есенгельды. Вид у него был важный, словно он являлся посланником какого-нибудь султана! Есенгельды, как, впрочем, и остальных сородичей, ничуть не смущало, что он мало подходит для этой роли. Из его старой шапки — на забаву ветру — клочьями торчит верблюжья шерсть, а черная юрта, по направлению к которой он нас вел, обтянута ветхой кошмой.

Он намеревался широко распахнуть перед нами дверь. Но дверь висела на одной верхней петле и подалась с тягучим скрипом, подрыв при этом землю у входа.

— Добро пожаловать!— сказал Есенгельды и уставился на меня немигающими глазами.

Смесь былого величия и крайнего оскудения — вот что я увидел внутри. Начать с того, что вся юрта светилась. У самого последнего пастуха мне не приходилось встречать такой кружевной кошмы. Его жена давно бы наложила заплаты на все эти зияющие дыры.

Пять или шесть ууков[1], в ладонь толщиной, еще носили следы искусной резьбы. А все остальные были самодельные: одни толстые, другие — как прутики, а несколько штук — ровные, без обязательного изгиба, копьями вонзались в шанрак.

На деревянной кровати с причудливо изогнутой спинкой валялось одеяло, сшитое из лоскутьев, а поверх него — какое-то жалкое тряпье.

Есенгельды величественным жестом указал нам — занять почетные места. В центре корчились плохо выделанные шкуры — одна козлиная, две телячьи и еще — конская, но небольшая, снятая, должно быть, со стригунка.

— Отдыхайте,— сказал наш провожатый и вышел.

А мы трое, не в силах больше сдерживаться, с выпученными глазами катались по полу, зажимали ладонями рты, и уже слезы у нас катились от хохота, и мускулы живота болели, а мы все не могли остановиться.

---

[1] Уки — изогнутые жерди, образующие купол юрты (шанрак) и соединяющие его с деревянными стенными решетками (кереге).

Когда прошел этот неудержимый приступ, мои ребята отправились распрячь присмиревшего мерина. А я от нечего делать снова принялся рассматривать юрту.

Первое впечатление не было обманчивым: былой уверенный достаток уступил место самой нищей нищете. Справа у входа на низкой деревянной подставке покоился старинный сундук, окованный железом. Рядом с ним —«кебеже», большой ящик для хранения посуды и всякой утвари. Кебеже был тоже старинный, местами сохранились следы костяной инкрустации.

Я не удержался, заглянул внутрь. Ящик был пуст.

На решетчатой стене висело седло. Его передняя лука, покрытая темным лаком, в серебряных разводах, напоминала утиную голову. Такое седло когда-то стоило очень дорого. А сейчас... Если бы кому-нибудь, не дай бог, взбрело в голову затянуть подпругу или сунуть ноги в массивные стремена, то полуистлевшие ремни расползлись бы от малейшего прикосновения.

Вернулись студенты. Они принесли наши вещи. Жесткие шкуры пришлось застелить черным одеялом, которое мы захватили с собой из техникумовского общежития.

— Хорошо... Мы так и будем одни? А где же хозяева этого дома?— спросил один из них.

Другой ему ответил:

— А вот... Видишь?

Лохматый пестрый пес нахально просунул морду в одну из дыр и, нимало не смущаясь нашим присутствием, собрался уже протиснуться сюда.

— Кет!— прогнал я его.

Мы условились с ребятами: поменьше разговаривать и стараться не выказывать своего отношения к тому, что происходит на наших глазах. Только так удастся получше разузнать, что же из себя представляет аул Жанбырши.

Снаружи донесся голос Есенгельды. Он крикнул кому-то:

— Карашаш! Оу, Карашаш!.. В большой юрте у нас сегодня гости. Слышишь? Атеке велел, чтобы ты их обслуживала!

— Какие еще гости? Откуда они взялись?— послышался ему в ответ густой женский голос.

Мы с опаской переглянулись. Что-то еще нам предстоит перенести?.. Но ничего другого не оставалось — ждать.

К юрте приблизились шаги, заскрипела дверь. Но это опять был Есенгельды.

— В ауле, куда привела вас ваша дорога,— наставительно сказал он,— не принято, чтобы гости сами распрягали своих лошадей. Это забота хозяев.

— Спасибо. Не беспокойтесь,— почти подобострастно ответил я, стараясь приладиться к их нравам.— Мы люди молодые, как видите, мы и сами посмотрим за нашим мерином.

Есенгельды тоном, не терпящим возражений, повторил:

— В этом ауле, который зовется Жанбырши, не принято, чтобы гости сами распрягали своих лошадей и ухаживали за ними.

Он удалился, и мы бы, конечно, снова залились, но нас удержало появление пожилой женщины. Она переступила порог тотчас вслед за тем, как юрту покинул Есенгельды.

Карашаш приветливо поздоровалась с нами — с приезжими молодыми людьми, каждый из которых годился ей в сыновья.

— Слава аллаху, я не жалуюсь на жизнь,— сказала она и тут же добавила:— Должно быть, привыкла... А потом — жалуйся не жалуйся, все равно ничего для меня не изменится. Но вы-то какими судьбами попали на это кладбище?

Как видно, Карашаш, в отличие от нас, не собиралась скрывать своего отношения к жителям аула Жанбырши, к укладу их жизни. И я понял: вот женщина, единственная, у кого можно поподробнее разузнать все, ради чего и предпринималась эта неблизкая поездка.

Ей даже намекать не пришлось на то, что нас интересует. Карашаш долго копила раздражение, и ей надо было выговориться.

— Не знаю, вы слыхали или нет?..— начала она.— В Жанбырши с древних пор живут тёре[1]... Это их земля. Но сами они рукой не пошевелят, чтобы хоть царапнуть ее плугом. Считают, что и счастье, и достаток, и удача — все им от бога, свыше дано! Прежде тут с ними жили толенгиты[2]. Тридцать семейств толенгитов. Они-то все и делали. А потом, вскоре после того, как переменилась

---

[1] Тёре — знатный род, происхождением от монголов; тёре занимали в степи привилегированное положение.

[2] Толенгиты жили у тёре и обслуживали их (толенгиты могли принадлежать к разным родам).

власть, они все ушли. Стали жить отдельно. Колхоз у них... Вчера я ходила пригнать коров и видела: поля у них вспаханы, сеять начали. Разве плохо им? А наши!..— Она безнадежно махнула рукой.— Из десяти мужчин ни одного нет, кто бы стал седлать своего собственного коня! Я уж не говорю — привезти дров, сена на зиму накосить... Руку не поднимут — паршивую козу зарезать. Даже если брюхо от голода совсем подведет! Все я делаю. Я дочь толенгита. Вот, осталась с ними, с этими живыми мертвецами.

Рассказывая это, Карашаш несколько раз выходила — она ставила самовар — и снова возвращалась. Я и раньше слышал о жанбырщинских тёре, но не мог себе представить, что тут у них происходит теперь.

В окрестностях многие земли принадлежали им. Стоило кому-то из их рода появиться на свет или умереть не дома,— и это урочище в степи считалось принадлежащим тёре. Таков был закон. Но на этих землях и колышка не было вбито их руками. Знатным людям не приличествовало трудиться. Все заботы брали на себя толенгиты. Они пасли скот и косили для него сено, они сеяли пшеницу и овес. И коней седлали они, когда кому-то из хозяев приходила мысль поехать на охоту, в гости или по делу. От былого благополучия осталась драная кошма. Но потомственная спесь — в крови у них...

Карашаш внесла огнедышащий самовар.

— Вскипел вот...— сказала она и, стараясь не встречаться с нами взглядом, предупредила:— Только угощать вас придется забеленным кипятком, молока-то я найду. А вот чаю... Поверьте, во всем ауле заварки нет.

Заварка была у нас. Узнав об этом, Карашаш повеселела и отправилась разыскивать чайник.

Чайник оказался под стать рваной кошме, ветхому седлу: по фарфору расползлись черные трещины, его стягивали жестяные полоски, и жестяная трубочка была приделана вверху отбитого носика. Десяток пиал. Разные цвета, и величина разная. Ясно, собирали по юртам.

Карашаш расстелила залатанную скатерть, а мы — поверх — кинули свое полотенце. Хорошо еще, что догадались захватить с собой хлеб, масло и сахар.

И вот, как только мы собрались не то пообедать, не то поужинать, дверь отодвинулась, и в юрту вошли мужчины. Входили они гуськом, соблюдая старшинство. Первым — Атеке. Он остановился возле меня с гордо под-

нятой головой, и по выражению его лица я понял, что опять занимаю не свое место.

Я тотчас приподнялся, чтобы пересесть, но старик движением своей сизой бороденки остановил меня:

— Так далеко не надо... Место рядом со мной принадлежит старшему из гостей.

Я остался. Зато мои ребята после всех перемещений очутились довольно далеко от меня. И, что важнее,— далеко от хлеба и масла.

Отсутствие зубов не мешало Атеке: масло вообще не надо жевать, а кусочки хлеба он отламывал и быстро отправлял в рот, делая всем телом глотательные движения. Все остальные аксакалы не уступали ему в проворстве, стараясь опередить один другого.

Мы трое выпили по пиале чаю, а на скатерти не осталось ни куска. А когда все исчезло, словно корова слизнула своим шершавым языком, Атеке нарушил молчание:

— Я должен сказать, что масло было свежее... Есть можно.

И опять слово в слово посыпались те же подтверждения, как будто ни у кого из них не было ни единой своей мысли, а все ждали, что изречет их аксакал.

— Атеке сказал правильно,— подхватил безусый, который устроился рядом со мной, только с другой стороны.— Масло было свежее. Есть можно.

Я подумал: я сам и мои студентики — единственные, кому не пришлось в этом убедиться. Я подумал еще: а что же будет дальше,но как-то не сообразил, что кусочки колотого сахара сиротливо разбрелись по скатерти.

— Грех на душе у того, кто, насыщаясь, забывает про детей и внуков, плоть от плоти своей,— сказал Атеке.— Побалую-ка я свою крошку...— Узловатыми черными пальцами он прихватил со скатерти три-четыре куска и сунул в карман.

— Атеке прав, как всегда,— согласился с ним безусый и тоже потянулся за сахаром.

Их примеру последовали и все остальные — и Есенгельды, и Кораш, и тот, у которого глаза заскочили на самые виски.

Скатерть опустела. Держа пиалы на самых кончиках пальцев, тёре стали шумно потягивать пустой чай. Одна только Карашаш, устроившаяся у самой двери, испытывала неловкость оттого, что гости остались голодными.

Несколько раз я порывался выйти к своему коню, но меня останавливал знаток и хранитель обычаев — Есенгельды, он повторял, что забота о лошадях гостей в их ауле всегда лежит на хозяевах. И я вынужден был садиться обратно, хоть мой вороной по-прежнему стоял на привязи, голодный, как мы. А Атеке, которому надлежало меня расспросить, с чем я приехал в аул, тоже молчал, прислушиваясь к бурчанию в животе.

Карашаш зажгла лампу. Стекла не было, и фитиль тускло чадил. Ветерок, доносившийся в юрту сквозь бесчисленные дыры, время от времени пригибал пламя, и тогда становилось совсем темно. Огонек выпрямлялся снова и бросал неспокойные отблески на лица хозяев. Они казались мне неживыми.

Да, их вполне можно было принять за мертвецов, тем более что ни один не произносил ни звука, и в юрте стояла могильная тишина. Мне стало не по себе, как в страшной сказке.

Но тут Атеке поднял голову и откашлялся.

— Время идет,— сказал он.— Для гостей, которых мы сегодня принимаем в большой юрте, надо бы заколоть барана.

— Как всегда, мудр Атеке, и, как всегда, он самый верный хранитель законов гостеприимства, доставшихся нам в наследство от славных предков,— поддержал его безусый.— Для гостей, которых мы сегодня принимаем в большой юрте, надо бы заколоть барана.

Эту же мысль повторил и тот, с глазами на висках, чье слово звучало как призыв к действию.

Я попытался возразить — зачем лишние расходы... Но никто не посчитал нужным обратить внимание на мой робкий протест. И я замолчал, соображая, что поесть мяса — совсем не плохо. Утром, собираясь в дорогу, мы завтракали наспех.

Но до ужина было далеко, как до Борового. Все они снова замерли, исполненные чувства собственного достоинства. Они были просто набиты этим самым достоинством, как коржун — протухшим мясом, не успевшим хорошо провялиться.

Но если нам — гостям — ничего не оставалось, кроме как терпеть, то Карашаш прямо-таки кипела и наконец прорвалась.

— Если уж решили колоть, то почему они медлят?— сказала она, ни к кому не обращаясь впрямую.— Сказать сказали, а сами сидят, будто задами приросли к зем-

ле. О аллах! Аллах всемилостивый! Ты видишь?.. Избавишь ли ты когда-нибудь их от проклятых привычек?! Ведь живые же люди все-таки, а не мертвецы!

Она вскочила и вышла из юрты. Следом за Карашаш выскочил и пестрый пес, который отирался тут же в юрте, без всякой надежды чем-нибудь поживиться.

Но несдержанность женщины не могла поколебать достойного спокойствия мужчины. Атеке выждал еще какое-то время, прежде чем вымолвил свое решение.

— Я вижу смысл в словах Карашаш, хоть она и сказала их сгоряча. Время идет... Если уж надумали колоть, то надо колоть.

Как эхо в горах, откликнулись двое из наиболее почитаемых аксакалов. Но никто и не подумал сдвинуться с места, чтобы совершить намеченное.

Карашаш знала, что делать: она принесла и сбросила возле очага охапку дров, во второй раз появился закопченный казан, в третий — треножник. А между делом она продолжала тормошить своих хозяев.

— Ну, скоро ли?.. Чью овцу будете колоть? Надо же еще пригнать ее,— говорила она, а стоило ей выйти наружу, как оттуда доносились ее причитания и брань.

Но решить — чью, было не так-то просто.

— Есенгельды!— повелительно сказал Атеке.— Что же ты молчишь? У вашей бабушки есть овца, серая... По-моему, эту серую овцу и надо пустить в казан.

Дважды повторяются — справа и слева — его слова, и Есенгельды молча поднимается со своего места и выходит. В юрте снова тишина — тишина ожидания. С улицы доносится всхрапывание моего бедного вороного, который, видимо, уже совсем отчаялся получить хоть клок сена, не говоря уже о торбе овса.

Вернулся Есенгельды. Он сел на свое место и только тогда обратился к Атеке:

— Айша-келин говорит: серая овца вот-вот должна принести ягненка... И грех совершит всякий, кто поднимет нож на такую овцу, в такое время.

— Айша-келин знает,— подтвердил Атеке.— Это действительно грех. Не сегодня, так завтра серая овца должна окотиться.

Приятная возможность полакомиться свежим мясом все же оживила хранителей древних устоев. Очевидно, поэтому Атеке значительно сократил время мудрых размышлений.

— Сделаем так: приведи черного ягненка из дома

Канши-женгей. Ягненок этот из самых ранних, его вполне можно пустить под нож.

Нетерпение, наверное, овладело и Есенгельды. Он поднялся, не дожидаясь, пока безусый и глазастый подтвердят мудрость Атеке, и их слова раздались, когда он переступил порог юрты. И вернулся — значительно быстрее, чем в первый свой уход.

Но и сейчас поход оказался безуспешным. Есенгельды мрачно сказал:

— Айжан-келин меня встретила... Она говорит,— в пятницу исполняется ровно год со дня смерти Канши-женгей. Айжан бережет барашка, чтобы было чем помянуть достойную женщину.

— Да, да,— сокрушенно сказал Атеке.— Айжан права...

Он снова задумался, но голодный желудок заставил его мысль работать отчетливее и быстрее. Атеке тут же сообразил, кого можно принести в жертву гостеприимству.

— Хватит пустых разговоров!— решительно сказал он.— От разговоров наш казан не наполнится! Есенгельды, приведи нам серого козла, который принадлежит Кареке.

Время перевалило за полночь, когда снаружи дурным голосом закричал упиравшийся козел. Но Есенгельды был полон решимости — и, кажется, наш ужин из мечты становился действительностью.

Козел этот, которого я не мог видеть, густым тяжелым запахом дал знать о своем приближении. Значит — невыхолощенный... Производитель. Простой смертный мог бы задохнуться, что со мной чуть было и не случилось. Другое дело — потомки ханов. Ноздри их, надо полагать, были устроены как-то по другому. На запах они не обращали никакого внимания. Глаза у них горели, они шумно проглатывали слюну. Дай сейчас каждому из них по козлу, и они проглотят его живьем, и костей не останется.

Возникла еще одна помеха. Ни у кого не оказалось достаточно острого, надежного ножа. Атеке хорошо помнил, в каком доме есть какой нож, но посланный Есенгельды вернулся ни с чем.

Один из моих товарищей по несчастью, выведенный из себя долгим нудным сидением, голодом, зловонием, исходившим от козла, быстро вскочил с места, выхватил нож и ткнул им в сторону Есенгельды.

— Вот... Возьмите,— вежливо сказал он, хотя я по его глазам видел, с каким наслаждением он послал бы все тёре к шайтану, а сам поскорей бы исчез из аула Жанбырши.

Только под утро серый козел вновь явился к нам, но уже в сваренном виде, в корыте. И тут же следом вошли женщины — их было не меньше десяти.

Каждая из них вела с собой девочку. Да, почти все дети у них были девочки. Я заметил только двух мальчишек. Разбуженные среди ночи, дети зевали, терли глаза. Вид у них был хилый. Тот же древний закон, которого так строго придерживались в Жанбырши, повелевал хранить чистоту знатного рода, и потому браки здесь заключались почти всегда между близкими родственниками. На детей жалко было смотреть.

Женщины с вожделением принюхивались к запаху мяса. Но ведь козел, как известно, своими размерами значительно уступает быку... Вряд ли одним козлом накормишь такую ораву.

По праву старшего, Атеке взял голову, отрезал одно ухо и передал его мне, а всю голову положил перед собой. Безусый бородач отрезал с тазовой кости небольшой кусочек мяса — для меня, а всю кость тоже оставил себе. Остальные — тоже хватали куски, подобающие им по положению. Остатки мяса крошились над корытом, но както не успевали туда попадать. Они на лету кем-то подхватывались и тут же безвозвратно исчезали.

Угощение проходило с такой быстротой, что времени оно заняло не много. Наши хозяева запили козлиное мясо сурпой[1], передали детям обглоданные кости и, пожелав нам спокойной ночи, разошлись по домам.

Юрта опустела.

Мы еще немного побеседовали с Карашаш. Добрая женщина сокрушалась, что мы ляжем спать голодными.

Но мы вовсе не собирались ложиться спать. Не дожидаясь, когда сам Атеке сочтет возможным поговорить с нами о деле, и нарушая обычай, по которому гости в Жанбырши не могут сами заниматься своими лошадьми, мы пошли запрягать вороного мерина.

Мы не просто уехали. Мы бежали. Бежали на простор степи из этого аула, превратившегося в живое кладбище, бежали от высокомерия и тупости этих людей.

---

[1] Сурпа — бульон,

— Ойбай!— воскликнул один из моих парней.— А сколько же времени нужно, чтобы в этом ауле произнесли хоть одно дельное слово?!

— Это еще что!— добавил второй.— А сколько времени пройдет, пока слово, сказанное с такой важностью, превратится в дело?..

Я молча слушал их. Я возмущался несправедливостью истории. Сколько же веков, сколько бесплодных веков потеряли мы, казахи, пока такие тёре правили нами?

...Сообщение, которое я на следующий день сделал секретарю райкома, было предельно кратким.

Я сказал:

— Аул Жанбырши владеет землей, на которой свободно разместится десяток колхозов. Но в самом ауле Жанбырши есть только один человек, который может работать в колхозе. Это женщина по имени Карашаш, дочь толенгита.

— Вот как? А куда же мы денем остальных?

Я был молод тогда и ответил:

— Ну не знаю. Но там — им не место.

Секретарь райкома задумался.

1956

ПЯТЫЙ ВИД

Если бы мохнатый сары-атан[1] мог однажды задуматься о своей судьбе, то ход мыслей повел бы его по далеким тропам, пройденным им. Если бы сары-атан мог сказать о своей судьбе, то он выбрал бы, наверное, такие слова: «Неторопливые столетия прошли по этой земле, и разве я отставал в дороге от большого каравана? Нет, никогда. Случалось, я достигал таких краев, куда не могли доскакать самые быстрые скакуны».

Верно... И не случайно люди, которые миновали долгие века, покачиваясь на верблюжьих горбах, называли самых легконогих и выносливых лошадей —«Бота-тирьсек». А с кем сравнит молодой казах девушку, которая поразила его воображение? Он проводит ее пылким взглядом: «Бота-гёз, настоящая бота-гёз». И тот, кто видел глаза верблюжонка — глубокие, черные, с поволокой, с длинными загнутыми ресницами,— тот оценит это сравнение.

Если же не хватит слов — воздать должное неутомимому и верному спутнику человека, то надо взять в руки домбру... «Боз-инген»— белая верблюдица — называется неторопливый, задумчивый кюй, созданный в незапамятные времена, и слышится в нем мерная поступь каравана, раздается глухое позвякивание колокольцев... Сколько раз под искусными пальцами звучали струны, передавая все это, и невидимый караван медленно удалялся от джайляу, скрывался за перевалом, и люди, зачарованные мелодией, мысленно уходили вслед по доро-

[1] Сары — желтый; атан — холощеный верблюд.

ге, которая всегда манит своей далью и неизведанностью.

А если дорога,— то как же обойтись без верблюда?.. Кто, кроме него, преодолеет бесконечность необозримой степи, вытерпит иссушающую жажду пустыни? Ведь уже и в наше время верблюд безотказно помогал строить Турксиб, таскал карагандинский уголь, вез изыскателей на берега озера Балхаш, где нашли много медной руды.

Может быть, от неосознанного упоения своими заслугами, своим величием сары-атан и держит голову высоко поднятой.

Сейчас он не спеша приближался к аулу. Аул уже виднелся впереди. На этот раз сары-атан тащил телегу с широким плетеным коробом. Он шагал и шагал, уверенно переставляя длинные голенастые ноги. Он словно не чувствовал груза, а ведь от его тяжести даже задняя ось гнулась и скрипела.

В плетенке удобно расположился самодовольный хряк — до того жирный, что розовое сало просвечивало сквозь толстую шкуру и густую щетину. Даже дородная свинья выглядела по сравнению с ним более худой и какой-то незначительной. Но это и было понятно — семеро смешных поросят то и дело начинали недовольно попискивать и успокаивались только тогда, когда их суетливые пятачки утыкались в материнские соски. Писк прекращался. И какое-то время слышалось торопливое чмоканье.

Конечно, ни поросята, ни отец их, ни мать не ведали, что дорога ведет в такие места, где народ издавна считает их презренными, нечистыми, просто погаными животными. Чтобы не оскверниться, их даже не называют по имени, а прибегают к иносказаниям. Например, говорят — талпактанау, широкие ноздри.

Как раньше бывало? Если возникала ссора между русским и казахом, то каждый из них старался побольнее уколоть:

— Ах ты крикливый верблюд!..

— А ты — ты грязная свинья!

Хрюкающее семейство въехало в колхоз «Жана жол»[1], не подозревая, какое смятение они вызовут своим появлением. Привез их сам Саден — председатель этого колхоза. Кому бы другому он мог поручить такое щекотливое дело?

---

[1] Жана жол — новый путь.

Саден спрыгнул с телеги, как ни в чем не бывало. Его сородичи молча толпились в стороне и, вопреки своему обыкновению, не торопились подойти к нему: узнать, что слышно нового в районе, рассказать, какие события произошли в ауле за время его отсутствия.

Саден с подчеркнутой приветливостью улыбнулся им всем и сказал:

— Спасибо вам, что встретили меня... Давайте, джигиты! Помогите мне выгрузить этих... ну этих самых, что я привез... Мне одному не справиться.

Голос звучал без обычной уверенности. Единодушное молчание было ему ответом.

— Вы что же, к земле приросли?— продолжал он.— Чего испугались, спрашивается? Животные как животные...

Такое утверждение возмутило собравшихся, раздались голоса:

— Животные, говоришь?..

— Может быть, для кого-то это и животные, но...

— Что, что «но»?— спросил Саден, уже начиная сердиться.

— А то!.. Ты сам посмотри как следует. Рыло тупое, будто топором кто обрубил. Ноздри широкие...

— А рот, а рот!

— Да уж! Как будто они все время ехидно улыбаются, как будто издеваются над нами!

— Разве у нашего скота бывает такой ехидный рот?!

Собрав все терпение, какое у него было, Саден возразил:

— Что — у нашего скота?.. Вы не видали, что ли? Копыта... Копыта у них раздвоенные, такие же, как у баранов.

— Брось, брось, Саден!— резко оборвал его сухощавый старик.— Ты не смей сравнивать эту погань с нашими баранами. Ты скажешь! Ты видел когда-нибудь, чтобы у наших овец все брюхо было сплошь в сосках? Тьфу!..

— Ты нас не уговаривай, Саден. Мы и сами знаем, все знаем.

— А кто вам сказал, что она, что они — не скотина?..

— Ну, может, для кого и скотина, только наши деды, и отцы, и мы сами никогда не ухаживали за такой.

— Эй, Саден! А вот ты разве когда-нибудь держал такую?

Колючие вопросы, язвительные насмешки со всех

сторон сыпались на бедного Садена. Никто из колхозников и не подумал приблизиться, чтобы помочь ему. Наоборот, люди постепенно отходили все дальше и дальше от «нечистой» телеги.

— Да-а... Слава аллаху, порадовал ты нас, председатель!... Вот это ты съездил по делу, оказывается,— сказал все тот же старик, повернулся и пошел прочь.

Садену в ответ на эти негодующие выкрики не так-то легко было подыскать убедительные возражения. В глубине души он был на их стороне. Брезгливое чувство не покидало его с той самой минуты, когда в соседнем совхозе — по разнарядке из района — двух свиней и поросят погрузили в короб телеги, и всю дорогу его сопровождал неумолчный визг, глухое, подозрительное хрюканье, непрестанное причмокивание...

А тянуть дальше просто не представлялось возможным. Целых два месяца прошло. И в районе, и в совхозе ему напоминали: «Саден, ты когда же заберешь своих свиней?..» А он долго не решался везти их в свой аул, заранее знал, какая встреча ждет его... И потому каждый раз находил новые отговорки. То просил подождать, пока свинья опоросится, то говорил, что помещение не готово...

Наконец, когда почувствовал, что его домыслы больше не помогут, запряг сары-атана и поехал, не сказав в ауле ни слова, куда и зачем собрался. Саден даже пытался так настроить себя, чтобы свиньи ему понравились. Спина у них плотная, мощная... Говорят, не глупые они... Но тут же на глаза попадалась морда — тупая, обрюзгшая. И живот, усеянный, как пуговицами, дряблыми сосками. А уши, уши! Одно утешение, что копыта, как у порядочного животного,— раздвоенные.

— Вот уж погань, так действительно погань!— говорил сам себе Саден, но тут же возражал:— Что значит — погань? И что значит — нечисть? Для кого — нечисть? Казах свинину ни за что в рот не возьмет. А русский — конину не станет есть или верблюжатину. Кто как привык. Не стали бы русские, украинцы разводить свиней, если бы это не было выгодно. И не только они — многие народы едят свинину. И ничего. А все запреты — это просто болтовня мулл! Свиней разводят, да еще как ухаживают за ними! Зоотехник рассказывал в районе: в бане их купают, а поросят — так даже в чистые простыни заворачивают.

Подумать только — в простыни! Ничего другого, бо-

лее веского для доказательства, Садену на ум не приходило, и тогда он махнул рукой и решил: будь что будет, он привезет свиней на свой страх и риск. «Расскажу своим все, что знаю сам, пусть они как хотят, а остальное сейчас не имеет значения». Но оказалось, что люди и доводов его не хотят толком выслушать. Они предпочитают говорить сами и не прочь потешиться над председателем, в какое он попал смешное и глупое положение.

Саден поначалу растерялся. Потом разозлился. Но настаивать на своем, кричать, принуждать их делать то, к чему не лежит душа,— тоже бесполезно. У Садена в запасе был испытанный прием, который не раз выручал его, приходил на помощь в ту минуту, когда надо было, исчерпав слова, добиться чего-то вопреки устойчивому мнению большинства.

В таких случаях он упрямо замолкал и сам принимался за дело — пусть в одиночку, но на глазах у всех. Тогда им становилось неловко от сознания, что вот — человек трудится, а они бездельничают. И все мало-помалу, с воркотней, тоже включались в работу, сперва вроде бы нехотя, но дело доводили до конца.

Саден и сейчас задумал то же самое. Ни с кем больше не вступая в пререкания, он молча обошел телегу и для начала распутал взрослым свиньям ноги. Потом принялся перетаскивать в саманный сарай отчаянно визжавших поросят. Он брал поросенка на руки, успокаивающе гладил по хребту, осторожно трогал холодный пятачок и нес к сараю, держа на вытянутых руках, словно торсук[1]. Он перетаскивал их по одному — хотел, чтобы люди привыкли к их виду, к их визгу, хотел, чтобы люди увидели: скотина как скотина, и обращаться с ней нужно как обычно...

Визг поросят привлек аульных собак, которые никогда ничего подобного не слыхали. Они окружили телегу и недоверчиво принюхивались к новому для них запаху.

Саден ходил от телеги к сараю и обратно. Он не посчитал нужным ответить, когда один из колхозников крикнул ему:

— Саден!.. Смотри, этот маленький талпактанау на твоих руках успокоился. Значит, ты для него ближе матери!

Саден твердил про себя: «Ничего, ничего, ничего...

---

[1] Торсук — мех из козьей шкуры, в котором обычно держат кумыс.

Привыкнете... Я привыкаю, и вы привыкнете, чем вы лучше меня».

А вслух он сказал:

— Если бы вы не были такими трусами и подошли бы поближе, то могли бы увидеть, что животное это — очень чистоплотное.

— Что животное — это всем ясно. А вот что чистоплотное — так это навряд ли...

— А ты откуда знаешь?— спросил Саден насмешливо.— Поближе подойти — ноги от страха дрожат. И сам же говоришь: таких мы никогда не держали и отцы наши не держали. Так откуда же тебе про них все известно?

Пока что проверенный прием не действовал. Но сам Саден почувствовал себя увереннее и уже не боялся вступать хотя бы в словесную перепалку, один против всех.

— А кто же за ними ходить будет?

— Найдем, найдем!— отвечал он.

— А-а!.. Слава аллаху, он послал нам русскую келин. Марьям это дело и поручим, кому же еще...

Саден делал вид, что его не затрагивают их колкости. Он знал свое дело — таскал в сарай поросят. А когда перетаскал их, всех семерых, вернулся к взрослым свиньям. Хряк не выражал никакого беспокойства о том, куда девались его дети. Зато матка тревожно вертела головой, прислушиваясь к надрывному поросячьему визгу. Она обеспокоенно захрюкала во весь голос, не обратив никакого внимания на слова Садена, который негромко сказал ей:

— Ничего с ними там в сарае не сделается... И хоть бы ты — ты подождала со своими криками.

Ее хрюканье вызвало новый приступ веселости и новый поток замечаний:

— Что за прелестный голос у этой уродины!

— Голос такой, потому что шея короткая.

— Где ты увидел шею? Никакой у них шеи нет.

— А нос! А ноздри! Они же ноздрями кричат.

— Я слышал — они голову не могут поднять, чтобы вверх посмотреть.

— Вот сказал!.. Не хочешь ли ты, чтобы свинья считала на небе звезды?

Саден, почесывая свинье жесткую спину, отозвался:

— Чтобы звезды считать, на то ученые люди есть. Смейтесь, смейтесь... Потом наступит мое время смеять-

ся! Вот будет их на следующую осень голов тридцать, да каждая — даст по пять пудов сала... А то молодежь пристает — домбра нужна, шахматы в красную юрту давай... Женщины говорят: эй, Саден, нашим детям ясли нужны. А я сало продам, деньги у меня будут. Но я вам скажу: нет вам домбры, нет вам никаких яслей. Эти же деньги — поганые деньги!

— Ты, Саден, нас не уговаривай... Бараны — это бараны, коровы — это коровы. А свинья как была, так свиньей и останется.

— Кто тебе поверит, председатель, что она — чистоплотная?

— Если хозяин хороший, и она будет чистая. Разве коровы в хлеву сами за собой убирают?

Саден снова стал приводить разные доводы. Он и себя убеждал, и своих сородичей. Его слушали, не перебивали. Но все же к сараю старались не приближаться. Это всегда трудно — перешагнуть порог старых предубеждений. Установил же сам пророк однажды и навечно: для казахов, как и для всех мусульман, к домашнему скоту относится четыре вида животных — бараны, быки с коровами, лошади и верблюды. Других нет.

И тут невдалеке появилась Мария... Та самая русская келин, чье имя называли, когда речь зашла о том, кому же ухаживать за привезенными в колхоз свиньями.

Когда Апен, единоутробный брат Садена, привез из района русскую жену, дочь Ефима, над Апеном подшучивали:

— Ты нашел свое счастье, Апенжан... Будешь теперь есть мясо этой... ну, знаешь, которая хрюкает и в небо не смотрит... Смотри, чтобы у тебя не выросли такие же уши, как у нее.

Другие поддакивали:

— Апен, друг, как же твоя Марьям обойдется без своих любимцев? Заскучает... Ты купи ей парочку этих самых,— слыхал, они называются: талпактанау!

Сейчас Апен стоял позади всех, ни жив ни мертв. Шутки шутками, а, кажется, слова насмешников начинают сбываться.

Мария возвращалась из школы. Она ходила туда, к учительнице, читать по-казахски. Алфавит она освоила быстро, да и говорила довольно свободно — выросла же в этих краях. С трудом ей давалось только склонение и спряжение.

В руках у нее была книжка с надписью на обложке:

«Қазақ тили», учебник казахского языка. Она и повторяла вслух:

— Мен бардым... Сен бардын. Олар — они... Сиз-диниз. Ол — он, онымен — с ним.

Услышав шум, Мария подняла глаза от книги и увидела все это сборище у сарая. Она подошла к Садену, остановилась возле телеги.

— Агай[1]!.. Привезли наконец свиней? А эти друзья боятся их, да? Но ничего...— Она еще что-то хотела добавить, но тут в сарае, оторванный от матери, пронзительно завизжал поросенок, и Мария побежала туда.

Одного из них она вынесла на руках.

— Вот, посмотрите... Чем он хуже ягненка, например?.. Что он — может укусить или лягнуть? А ты где, Апен? А-а, вижу. Почему ты прячешься позади всех и боишься поднять глаза? Тебя тоже пугает этот страшный зверь?

Апен, переминаясь с ноги на ногу, не успел ничего ей ответить, как снова посыпался град насмешек:

— Марьям! Для тебя-то что ягненок, что поросенок, что теленок — все одно... А каково бедному Апену?

— Апен! Апен, смелей! Ты уже не маленький,— кричали ему ровесники.— А если не подойдешь, ночью придется одному спать. Подумай хорошенько,— что хуже, что лучше!

Неизвестно, что подумал Апен, но все же он первым рискнул приблизиться к опоганенной телеге и теперь стоял рядом с женой. В это время Саден забрался наверх и позвал:

— Келин! Келин, давай вместе попробуем спихнуть их...

Мария, не говоря ни слова, сунула поросенка в руки Апену и быстро вскочила в короб.

Апен замер, не зная, то ли швырнуть на землю маленькое тельце, то ли отнести в сарай, то ли стоять так... Он держал поросенка на вытянутых руках, и все его чувства тотчас отразились на лице. Лицо сморщилось, можно было подумать, что его вот-вот стошнит или он вот-вот неудержимо расхохочется, а может быть, заплачет.

Большое скопление людей, их смех, шум, лай собак, которые тоже неодобрительно относились к незнакомым пришельцам,— все это раздражало взрослых свиней.

---

[1] Агай — дядя; здесь — уважительное обращение к старшему брату мужа.

Они свирепо хрюкали, урчали и тыкались носами в плетеные стенки короба.

Саден понял: если сейчас не принять решительных мер, то им до ночи придется тут возиться. Он сказал громко, спокойно, как будто ничего особенного у них не произошло:

— Эй, джигиты! Вы мужчины или вы совсем не мужчины? Нам с келин вдвоем не справиться. Помогите-ка поднять их и спустить на землю. А дальше они уж сами на своих раздвоенных копытах побегут.

Его слова произвели впечатление: раз уже так случилось, нехорошо отказывать в помощи своему председателю. Джигиты медленно, нехотя, но все же начали снимать чапаны, засучивать рукава рубашек, и — по одному — подходили к телеге.

Поначалу ничего не удавалось. Каждый старался взяться за свиную шкуру только для виду, в надежде, что кто-то другой будет стараться и напрягаться. А от таких легких прикосновений большой грузный кабанище даже и не пошевелился.

— Взяли! Взяли!— прикрикнул Саден.

Пришлось приналечь — и большое, тяжелое тело совершило короткое и быстрое путешествие по воздуху и боком легло на землю. Хряк тут же вскочил на ноги.

Таким же способом переправили вниз и свинью. Она заспешила в сарай, на голос своих поросят, которые почувствовали ее приближение и завопили еще отчаяннее и успокоились, только когда она разлеглась. Все семь пятачков потянулись к соскам.

А хряк осмотрелся, шумно втянул носом воздух и решил проверить, нет ли тут в земле вкусных кореньев. Он подрывал носом землю, и ему не было никакого дела до недоверчивых, недружелюбно настроенных людей.

Вот так 2 мая 1933 года в колхозе «Жана жол» совершилась поправка в установление пророка Мухаммеда. Кроме назначенных им четырех видов животных появился еще и пятый — презренные талпактанау!

О том, как же быть с ними, речь зашла на следующий день в колхозной конторе. Дело снова не обошлось без насмешек и подшучиваний.

— Уж если они такие чистоплотные, как нам про то втолковывал Саден, давайте отдадим им свои юрты, а сами пойдем жить в сарай...

— А как же подзывать их? Вот коз мы скликаем: «Шоге, шоге!» А разве свиньи понимают козий язык?

— Кто имеет опыт, тот пусть и ходит за ними.

— Откуда ты этот самый опыт возьмешь? Они и по-козьи не понимают, и по-казахски тоже не понимают.

Мария слушала их, слушала — и нетерпеливо вскочила со своего места:

— Ну, раз никто из вас не решается к ним подступиться, я возьмусь за это дело! Так и запиши, агай!— повернулась она к Садену, который сидел за столом, не принимая пока никакого участия в общем разговоре.

Садену очень хотелось, чтобы кто-нибудь из казахов — сам, а не по принуждению — выразил желание принять на себя заботы о «пятом виде». Саден встретился глазами с братом: Апен растерянно улыбался, боясь, что выбор падет на него... Если нажать — пойдет, куда денется. Но Апен нужен на ферме, и потом — брат все же...

— Кто согласится пасти талпактанау, тому будем платить полтора трудодня за день,— сказал Саден.

Марьям?.. Но Марьям нельзя отпускать из полеводческой бригады. Она там и бригадир, и полевод, и учетчица. Она с детства привычна к крестьянской работе, и потому в молодом казахском колхозе, который не так давно начал заниматься земледелием, нужны не только ее неутомимые руки, но и опытный глаз, и добрый совет в поле. Жаль заставлять Марьям, чтобы она тратила свое время и свои силы на то, чтобы пасти свиней.

— Я ошибся,— сказал Саден.— Не полтора, а два трудодня будем платить тому человеку... Вы меня слышите, Есеке?

— Нет, я тебя не слышу,— отозвался Есен, одинокий старик, который в колхозе перебивался на разных работах. У него уже не хватало сил пасти неспокойные резвые табуны, оберегать от волков отару...

— Два, два трудодня,— повторил Саден.

Два трудодня не могли прельстить Есена. Он отбивался как мог от этого поручения, он чуть не плакал. Но Саден, когда хотел, умел настоять на своем. Старик вдруг подумал, что это сам аллах посылает ему наказание за какие-то грехи. Но грехи, очевидно, все же не очень тяжкие — в утешение будет Есену начисляться два трудодня...

Все равно — с того дня жизнь Есена превратилась в сплошное мучение. Он стыдился показываться со своим стадом на людях и потому рано-рано утром, когда свет только начинал свой спор с ночной тьмой, выгонял двух

взрослых свиней и семерых поросят на берег озера, густо заросшего камышом и осокой. А сам устраивался поодаль от них, как человек, который просто занят тут своим делом, чтобы, не приведи аллах, ни один прохожий не подумал, будто он имеет какое-то отношение к талпактанау.

Возвращался Есен в аул совсем затемно, запирал свиней в сарае и шел домой. Но прежде чем переступить порог, он снимал чапан — и чапан, и обувь, и палку оставлял снаружи. Долго умывался и только после этого разжигал огонь в очаге и растягивался на кошме, мысленно прося у аллаха прощения. И еще он у него спрашивал: искупил ли он свою вину и долго ли ему заниматься этим нечистым делом?

Своими пастушескими заботами Есен ни с кем, кроме Садена, не делился. Стыдно было. Он даже старых чабанов старательно избегал.

Постепенно в «Жана жоле» стали привыкать к талпактанау, и на заседании правления, например, без всякого смеха и шуточек обсуждался вопрос о том, что надо для их маленького свиного стада выделить фураж.

Есен мог теперь пораньше возвращаться домой. Его встречали не насмешками, а уже можно было услышать:

— О Есеке! Смотрите, какие они стали жирные! И как только их ноги держат столько мяса и столько сала!

— Пожалуй, Саден сможет не одну домбру купить для красной юрты...

— А где это поросенок зацепился боком?..

Но вот однажды утром, когда Есен гнал свиней на берег озера, сзади его нагнал чей-то голос:

— Пусть умножится ваше стадо!..

Он, как всякий пастух, не задумываясь, ответил:

— Да сбудутся ваши слова...

И только после этого обернулся — посмотреть, кто же приветствовал его добрым пожеланием. Следом за ним, верхом на коне, ехал Мухаммеджан, сын покойного Касена-муллы. Ехидная насмешка, игравшая на губах Мухаммеджана, достаточно убедительно говорила о том, что свои слова он произнес не от чистого сердца, а чтобы лишний раз попрекнуть старого Есена его недостойным занятием.

— О Есеке,— сокрушенно продолжал он.— Глаза бы мои не видели, как старому и уважаемому человеку при-

ходится пасти этих тупорылых! Какой грех вы берете на душу!

Но теперь и Есен иначе стал относиться к таким колкостям, он не нуждался в сочувствии. Старик не умолкал застенчиво, а резко обрывал насмешников.

Вот и сейчас он сердито сказал:

— Мухаммеджан! Учил ли тебя твой отец насмехаться над старыми людьми? Тебе не нравится, что я пасу талпактанау?.. Все знают, что наши дела тебе вообще не нравятся. Убрался бы ты куда подальше! И постарайся не путаться под ногами на моей дороге. Ты понял?

Говоря это, Есен достаточно выразительно поигрывал толстой пастушеской палкой. Он несколько раз потер о землю конец, словно утихомиривая его зуд.

Мухаммеджан не стал вступать с ним в объяснения. Он побыстрее отъехал, и, только удалившись на порядочное расстояние, запел старинную насмешливую песенку:

Он свиней пас и сам стал хрюкать...

Есен погрозил ему палкой. Ничего больше он сейчас не в состоянии был поделать с непочтительным сыном муллы. Но вечером старик отправился в школу, где учителя помогали выпускать колхозную стенгазету, и попросил их сочинить ответную песню против Мухаммеджана и его издевок.

Учителя были не бог весть какими поэтами. Но почти любой казах в случае надобности может сложить несколько строк, хотя бы и для домашнего употребления. Песню для Есена сложили. Он с голоса наизусть заучил слова и часто напевал ее.

Особенное удовольствие ему доставляло то место, где речь шла о недостойном человеке, о сыне муллы, который воображает себя умнее и чище всех на свете, а на самом деле всегда питался объедками с отцовского стола, да и теперь ничего не умеет делать, даже пасти свиней — и то не способен! А свиньи... Что ж, свиньи знают свое дело, они спокойно жиреют, и нет им никакого дела, что говорит про них этот глупый и нечистоплотный человек.

Пожалуй, это была первая в степи уважительная песня про талпактанау — про то, что они могут быть такими же равноправными в хозяйстве животными, как баран или конь, бык или верблюд. И колхоз «Жана жол» первым пустил эту песню гулять по свету.

...Через год в «Жана жоле» было уже двадцать восемь свиней, всего на две меньше, чем предсказывал Са-

ден. И за счет этих же — считавшихся презренными — сдали большую часть мясопоставок, сберегли добрую отару овец. Осенью состарившегося хряка пришлось забить, сало и мясо продали, а на вырученные деньги купили в совхозе двух стельных коров, породистых.

Спокойно жиреют свиньи, разгуливая на берегу озера под присмотром Есена. Издали они похожи на кожаные бурдюки, в каких держат кумыс.

Иногда рядом с ними пасется сары-атан. Пережевывая жвачку, он высокомерно поглядывает на них сверху. Но для такого высокомерия у него есть все основания: к тем славным и многотрудным делам, которые он успел совершить за долгие века, теперь прибавилось еще одно...

Это же он, ярким весенним днем, доставил в «Жана жол» телегу, в плетеном коробе которой попискивали маленькие подслеповатые талпактанау.

1933

ДЫНЯ

Паровоз тяжело вздыхал перед дальней дорогой, и я повторял его вздохи — у вагона, прощаясь с женой и дочерью.

Станционный служащий — высокий бритый старик — ударил в колокол один раз, другой и только отвел руку, чтобы ударить в третий, как возле него, будто из-под земли, выросла совершенно древняя старуха и спросила:

— Сынок, а сынок?.. И в какую же такую сторону твой поезд пойдет?

Старик, не поперхнувшись, проглотил это обращение: «сынок» и принялся терпеливо ей объяснять, что поезд под номером третьим следует до самой Москвы.

Турксиб в то время был совсем молод, и пассажиры привыкли к подобным задержкам с отправлением. Они разбрелись по перрону, пока старик еще и еще раз объяснял прилипчивой старухе,— если поезд идет в Москву, значит, ни в Ташкент, ни в Пишпек[1] на нем не попадешь.

Спелое августовское солнце закатилось в седловину Казы-Курта, где когда-то, невероятно давно, по казахским преданиям, нашел себе пристанище Ной со своим ковчегом. И только потому, что нашим предкам удалось спастись от потопа, сохранились на земле живые существа, способные расспрашивать, куда идет поезд, уезжать по командировочным делам в Москву, разлучаться и встречаться...

Старуха (я бы не удивился, если бы она оказалась одной из обитательниц того самого ковчега) наконец

[1] Пишпек — старое название города Фрунзе.

оставила дежурного в покое, и старик уверенно, весело и как-то по-особому лихо дал третий звонок.

Паровоз в голове состава отозвался учащенным дыханием.

— Ты запомнил, Болат?..— строго спросила у меня жена, моя несравненная Ботагоз.— Ты будешь писать нам через день.

А дочка в сотый раз потребовала, чтобы я купил ей куклу — самую большую, большую, как мама.

— Разумеется, куплю!— отозвался я.— Я куплю тебе, моя Карлыгаш, две таких куклы. А писать через день я не буду. Один день — одно письмо, вот так,— повернулся я к жене и торопливо обнял ее, потому что литые колеса с тяжелым скрипом уже тронулись с места.

Я поднялся в тамбур мимо проводницы с развернутым зеленым флажком и повернулся, чтобы по-отечески помахать рукой дочке. Но мое внимание обратила на себя женщина, которая бежала к вагонам. Чемодан в одной руке, большая плетеная корзинка — в другой... Нет, не добежит. Почти наверняка ей суждено отстать от поезда.

Сердце у меня дрогнуло, как всегда, если я вижу, что человек попал в беду. Тем более человек, отстававший от поезда, был красив яркой, броской красотой.

(Впоследствии при любом, даже самом косвенном напоминании об этом случае, начинали возмущенно звенеть серьги в ушах моей дорогой Ботагоз,— и через десять лет и через пятнадцать, ибо женщина не забывает и через сто).

Я не выдержал. Я совершил поступок, замаравший вечным несмываемым пятном мою, до того безупречную, супружескую репутацию. Я как-то забыл, что жена все видит... Я спрыгнул с подножки, помчался к женщине. Маленький зонтик затрепетал перед глазами, как пестрая алтайская бабочка, в нос ударил тонкий запах незнакомых духов. Я успел отметить все это, делая свое дело: выхватил у нее из рук вещи, сумел ее поддержать, когда она споткнулась.

— Бегите, ну!..— Это прозвучало несколько грубовато, но она послушалась, побежала, так и мелькали ее стройные ноги в прозрачных фильдеперсовых чулках, в светло-серых туфлях.

Чемодан, корзинку я на ходу сунул проводнику. Женщину подсадил на следующую тамбурную площадку. А сам еле уцепился за поручни хвостового вагона.

Все получилось как нельзя лучше, и только теперь я посмотрел назад. До меня донеслись слова:

— Телеграмму!.. Жди!.. Негодный!.. Чимкенте! Неблагодарный!.. Актюбинске! Жди телеграмму!

Голос жены слабел, расплывался позади. Вокзал скрылся за поворотом.

Черные грозовые тучи окутывали острые пики Алатау. Само солнце скрылось за седловиной Казы-Курта, но золотистые солнечные ресницы осторожно прикасались к тучам, заставляя их светиться.

— Что я такого сделал?.. Неужели... Неужели телеграмма будет такая суровая и непримиримая, что мне придется с полдороги возвращаться?— спрашивал я у самого себя и не знал, что ответить.

Поезд набрал ход.

Длинная белая грива тянулась следом за паровозом, который уже вырвался на свободу из переплетения станционных путей и громко кричал, приветствуя дорогу.

— Она, наверное, плачет, а дочка ее утешает, как может...— рисовал я себе то, что происходит там, на перроне. Но помочь уже ничем не мог и потому — успокоился.

Как по сговору, женщина, которая чуть не отстала от поезда, ехала в нашем, пятом, вагоне. Ее звали Лидией Николаевной, а фамилию она носила двойную — Зеркальская-Гольц. Я бы не взялся определить, сколько ей лет. Она казалась умной и знающей жизнь, так что молоденькой ее не назовешь... Но и слово «дама» тоже к ней как-то не подходило, не чувствовалось в ней этой дамской солидности. В общем, молодая, очаровательная, красивая, привлекательная женщина, и этого было вполне достаточно, чтобы все мужское население пятого вагона вскоре после отхода поезда появилось в коридоре. Никто и не подумал — переодеться в пижаму, как обычно все торопятся сделать это в поезде дальнего следования.

Одним словом, Лидия Зеркальская привлекала всеобщее внимание, а вот добавление к ее фамилии — Гольц — казалось нелепым, ненужным и вызывало глухое недоброжелательство и тайную зависть к тому, кто имеет наглость называться ее мужем.

По виду Лидии Николаевны я мог предположить, что замужем она за человеком основательным, занимающим

положение, заботливым ко всему, что касается жены. Мужчины нашего вагона ревновали ее к неведомому Гольцу. Единственным утешением было то, что на этот раз он сильно перед ней провинился: занятый своими служебными делами, он не смог ее проводить. Это бы ничего, но к тому же он забыл положить в машину корзину с фруктами, пришлось ехать обратно, потому-то она чуть и не опоздала. На первой же станции она попросила одного из нас отправить телеграмму, текст которой очень походил на строгий выговор с занесением в личное дело.

Мужчины злорадно переглядывались. Но все эти переживания, понятно, касались только мужской части. Женщинам было достаточно один раз взглянуть на Лидию Николаевну — такой взгляд равносилен удару кинжалом,— и она для них вроде бы перестала существовать.

Судя по всему, это мало беспокоило Лидию Николаевну. В первый же вечер она пришла в наше купе поблагодарить меня за помощь, и надо было слышать, какие изящные и приятные выражения она выбирала, чуть-чуть преувеличивая благородство моих помыслов и решительность действий. Я становился похожим на героя какого-то дастана. Что говорить, я был не против таких преувеличений.

Мой сосед по купе — седой профессор-микробиолог даже покраснел, как будто все эти похвалы относились к нему.

Как выяснилось, Лидия Николаевна ехала в Сочи, в санаторий, но перед этим ей предстояло заехать к матери в Ленинград. Отстань она от сегодняшнего поезда, пришлось бы ждать неделю, и тогда она стояла бы перед выбором: или не заезжать в Ленинград, или опаздывать на курорт.

Я хорошо понимал: сегодня никакая конкуренция мне не страшна. Если бы кто-нибудь рядом со мной попытался обратить на себя внимание Лиды (так я звал ее мысленно, для краткости), то такая жалкая, заранее обреченная на провал, попытка, ничего у нее не вызвала бы, кроме презрительного недоумения.

Но сегодня — это сегодня... А ведь предстоит не один день пути. И потому я решил попытаться закрепить достигнутые успехи. (Справедливости ради надо сказать, что слова жены: «неблагодарный... телеграмма... Чимкент...» приводили меня в некоторое смущение, но все же

не настолько, чтобы я перестал обдумывать план дальнейших действий).

Я счел за лучшее притвориться, что у меня нестерпимо разболелась голова. (Герой дастана пострадал на поле битвы ради женщины, спасая ее от беды). И разве она могла оставить без внимания своего спасителя? Она принялась ухаживать за мной — так мило, легко и непринужденно, словно всю жизнь проработала сестрой милосердия. Мне даже совестно стало, что я прикидываюсь. Но в конце концов, правда, голова у меня действительно разболелась.

Она дала мне таблетку. Она смочила свой батистовый платочек холодной водой и приложила его к моему лбу. «Как теперь, как — Болат?.. Лучше стало? Лежите, я сейчас принесу вам стакан крепкого чаю с лимоном».

Надо полагать, что мужчины в вагоне в эти минуты ненавидели меня гораздо острее, чем Гольца. Гольц был далеко, а я — рядом. На следующее утро профессор только вздохнул, когда ему пришлось поменяться с Лидией Николаевной местами.

Она перешла в мое купе.

В Чимкенте я сходил на почту, забрал телеграмму от моей Ботагоз — с самым последним предупреждением. Телеграмму я решил никому не показывать, а в ответ сочинил убедительное послание: «Если бы ты отставала от поезда и никто бы не помог разве ты была бы рада».

Я вернулся в купе, поезд отправился дальше.

Пришел старик-профессор, и мы, чтобы скоротать время, засели за покер.

Лидия Николаевна неизвестно для чего сообщила, что играть в покер ее научил муж. Она блефовала так отважно, что не было никакой возможности угадать: идет ли ей карта или на руках у нее вообще ничего нет.

Еще одна ночь пути.

Я проснулся рано. Прямо в открытое окно спускалось небо, синее, как море, навстречу которому ехала Лидия Николаевна.

Поезд постепенно сбавлял ход, потянулись приземистые бревенчатые дома, мазанки. Оренбург? Да, окраина Оренбурга, города моей юности. Жаль, я не мог сейчас хорошенько рассмотреть, каким он стал за годы нашей разлуки. Город тонул в дымке раннего утра.

И все же так неожиданно и сильно нахлынули на

меня воспоминания о том времени, что я не сразу услышал: Лидия Николаевна поднялась со своего места, зашуршал бухарский шелк ее халата, раздвинулась дверь купе.

Вскоре она вернулась, и на шум ее шагов я приподнял голову с подушки.

— Вы уже не спите? Ах, если бы вы могли знать, какую великолепную дыню я только что видела!

— Да? Где же?

— А тут рядом базарчик. Знаете, я даже не смогла поднять эту дыню, такая она тяжелая!

— Чарджуйская?

— Нет... Не знаю. Полосатая... Громадная.

— А долго будет стоять поезд?

— Кажется, осталось минут десять, двенадцать.

Я сказал:

— Отвернитесь, пожалуйста, на минутку.

Она стала лицом к окну, а я соскочил с верхней полки. Пожалуй, я был не совсем прилично одет для такой большой узловой станции, как Оренбург: помятые пижамные штаны, коротковатые, сетка-полурукавка, сандалии на босу ногу. Но времени на переодевание у меня не оставалось. Я сунул руку под подушку за деньгами и быстро выбежал из купе.

Даже ранним утром на станции было многолюдно. Кто-то уже приехал и сходил с нашего поезда, кто-то кого-то встречал, а кто-то собирался уезжать.

Небольшой базарчик — метрах в двухстах от вокзала. Вполне вероятно, что если бы догадались засечь время, то выяснилось бы, что я установил республиканский рекорд в беге на эту дистанцию. Мне удалось даже обогнать извозчика, который направлялся в сторону города.

С ходу я врезался в базарную толчею, свернул в тот ряд, где обычно торговали арбузами и дынями. Дыня, про которую говорила Лидия Николаевна, не могла не броситься в глаза. Настоящий дирижабль! И полосатая, как тигр. Но раздумывать над тем, с чем ее еще можно сравнить, мне было некогда.

— Сколько?..— спросил я, расталкивая людей, которые разглядывали эту диковинку. Рядом с ней все остальные дыни казались жалкими, убогими.

Не торгуясь, я выложил хозяину деньги, которых бы хватило на доброго барана, прижал дыню к животу и потащил ее обратно. Многие из тех, что встречались мне

по пути, были знакомы с моей дыней. Один спросил: «Как же это вы рискнули ее купить?»— словно я купил не дыню, а и в самом деле полосатого тигра. Другой отпустил грубую шутку насчет того, как это дыня сумела отрастить такое пузо.

Мне было не до них. Я торопился, уже предвкушая, каким благосклонным взглядом окинет дыню и меня Лидия Николаевна, Лида. Но когда я выскочил на перрон,— на первом пути моего поезда не было! Чуть дальше стоял состав, на вагонах которого белели таблички «Москва — Ашхабад».

А поезд — поезд номер три исчез! Я отстал, я остался в Оренбурге в пижамных штанах и в безрукавке. Хорошо хоть, деньги я сообразил вытащить из-под подушки. Правда, и дыня была со мной. Она оттягивала руки, и я бы с великим удовольствием трахнул ее о рельсы.

Куда мне было податься? Кое-как я пробился в кабинет начальника вокзала. Сидевший у окна сухощавый неласковый человек выглядел измученным, как может быть измучен летним сезоном начальник вокзала, через который проходят тысячи и тысячи пассажиров.

Мое появление не вызвало у него прилива энтузиазма. Он осмотрел меня с головы до ног, потом с ног до головы, чуть дольше его взгляд задержался на полосатой дыне, и снова глаза его стали равнодушными.

— Ничем не могу помочь, гражданин,— строго сказал он.— В общую очередь, в общую очередь... Купите билет — и езжайте себе дальше. Если все будут отставать от своих поездов, то никому из нормальных пассажиров билетов не хватит.

Но все же он снял телефонную трубку и вызвал дежурного. Слава аллаху, дежурный узнал: не меня, конечно, меня он видел в первый и в последний раз. Он узнал дыню и почему-то проникся сочувствием к человеку, который отважился ее купить и попал из-за этого в беду.

Мой вид — взъерошенный, дачный, растерянный — вызвал у него бурный приступ веселости. И разговаривал он со мной отвернувшись, чтобы не расхохотаться во весь голос.

— Ну так и быть...— сказал он наконец.— Сейчас сообразим, чем можно вам помочь. Так... Через два часа подойдет ташкентский скорый. Он быстро догонит вашу почтовую черепаху. Не теряйтесь только опять... Как

только ташкентский появится, я вас передам из рук в руки начальнику поезда. Понятно?

— О, спасибо! Это все, что я прошу.

— Хорошо, хорошо... Следите — я буду встречать скорый, и вы тогда подойдите ко мне.

Его слова: «и вы тогда подойдите ко мне» можно было понять так — а пока вам лучше держаться подальше от людных мест, чтобы не пугать женщин и детей.

Но где ты укроешься в Оренбурге на вокзале? Пока я искал тихий уголок, мне пришлось перехватить немало насмешливых взглядов. А что делать с дыней? Съесть ее невозможно и в десять присестов. Другого способа избавиться от нее я не видел. Мои робкие попытки продать ее встречались подозрительно, очевидно, дыню считали ворованной. А бросить было жалко, так я и ходил с ней в обнимку.

Подходили какие-то бойкие парни и непонятно заговаривали со мной, надо полагать, по-блатному, признавали во мне своего... Не получив ответа, они отходили в сторонку и продолжали издали наблюдать за мной.

Наконец я на все плюнул и, выбирая безлюдные переулки, добрался до пустынного садика старого караван-сарая. Там, в тишине, я с облегчением опустил дыню в тени дуба, и высокая трава скрыла меня. Не будь я так легкомысленно одет, можно было бы проехать в город, пройти мимо здания рабфака... Того самого рабфака, где преподаватели старательно вдалбливали в мою голову свои премудрости. А вдруг — жив еще сторож Мухаммед, с виду строгий, а на самом деле добрый человек, который выручал нас в минуты острого безденежья и всегда пускал в общежитие, как бы поздно мы ни возвращались.

Я потянулся на траве и подумал, что не такое уж страшное дело — отстать от поезда. В глазах Лидии Николаевны это зачтется, как вторичный подвиг, совершенный ради нее. Возможно, надо было бы послать телеграмму: «Догоню ташкентским». Но я верил — Лидия Николаевна сообразит: во что бы то ни стало, хоть на крыльях, я вернусь в пятый вагон поезда номер три.

Долгожданный ташкентский прибыл точно по расписанию.

Из вагонов высыпали беззаботные оживленные пассажиры — во всем белом, смуглые, в них сразу угадывались южане.

Я не отходил от дежурного по вокзалу. Стоило ему

повернуть голову, и я делал несколько шагов, чтобы не выпасть из поля его зрения. А так как голову он поворачивал довольно часто, то и я почти безостановочно шагал вокруг него.

Во время этих маневров ко мне подошел мужчина и поинтересовался, не продается ли дыня. Я ответил ему: нет, не продается. Уж сколько я с ней намучился, теперь имело смысл в целости и сохранности доставить ее вместе с собой.

Подошел начальник поезда, окинул меня насмешливым взглядом, но сочувствия я в этом взгляде не обнаружил. И я заулыбался, я говорил какие-то слова, лишь бы расположить к себе начальника поезда. Но вид у него по-прежнему был недовольный.

Все же дежурный по вокзалу уговорил его взять меня, чтобы я несколько перегонов сделал с его составом. Успокоение наступило только тогда, когда он привел меня в вагон и трехгранным ключом открыл свое купе.

Поезд тронулся тихо, без толчка, и оренбургский вокзал поплыл в окне... Начальник не возвращался, должно быть, ходил по вагонам. Я от нечего делать старался по виду купе определить характер его хозяина. На столике лежала трубка. Значит, человек он вдумчивый, основательный в своих суждениях. Но какой бы он ни был,— я еду, еду вдогонку за своим почтовым... Какой бы он ни был, не выбросит же он меня теперь на всем ходу под откос!

Дверь раздвинулась, начальник поезда вошел и устало опустился на нижнюю полку, снял и повесил форменную фуражку:

— Откуда будете, товарищ?..

«Товарищ!..» Это тебе не безразличное —«гражданин», которым встретил меня начальник вокзала в Оренбурге.

Я расчувствовался и принялся ему рассказывать свою биографию, и он внимательно слушал, а особенно ему понравилось происшествие с дыней. Он ни в коем случае не разрешил осуществить мое намерение: разрезать ее тут, у него в купе.

— Эти северные места в Казахстане я знаю хорошо,— сказал он про мою родину.— Сам — сибиряк. И с казахами встречался, с теми, что живут неподалеку от Кургана. Хороший народ, простой. Ну, ладно. Надо мне

по вагонам пройтись. А ты поешь и ложись отдыхать. Когда догоним почтовый, я разбужу.

Я только теперь почувствовал, как устал за этот долгий и нескладный день. Пышный матрац на верхней полке принял мое бренное тело, и я сам не заметил, как уснул.

Проснулся под вечер: кто-то теребил меня за плечо и говорил:

— Смотри... Подходим к станции. Там, должно быть, и стоит почтовый. Только мы тут — напроход, сойдешь на следующей, и там его дождешься.

Я высунулся в окно.

Паровоз протяжно закричал, сообщая о своем приближении и требуя, чтобы никто не вздумал занимать его путь. Он пронесся мимо станции, мимо длинного пассажирского состава. «Алма-Ата» успел я заметить на одном из вагонов, а «Москва»— прочел на следующем.

Мой!..

Итак,— пусть теперь почтовый догоняет меня, а не наоборот. Дыня со мной. Лидия Николаевна будет приятно поражена. Значит, все в порядке.

На следующей станции мы — все четверо — расстались. Скорый и его начальник отправились дальше, а я с дыней остался вышагивать по перрону. Станция была небольшая и своего вида можно не стесняться. А на расспросы о дыне я с важностью отвечал любопытным, что ей пять лет, она принадлежит к новому виду — многолетняя дыня, я везу ее в Москву, на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.

Я рассказывал все это с большими подробностями, а сам вертел головой в ту сторону, откуда должен был появиться желанный почтовый. Наконец его длинное зеленое туловище изогнулось на повороте. Поезд вполз на станцию, и мой пятый вагон остановился в двух шагах от меня.

Я не в состоянии описать, какие глаза сделала Лидия Николаевна при моем появлении. Но я несколько ошибся, отнеся это на счет ее восхищения моим удальством, моими способностями находить выход из любого положения. Дело было куда проще. Лидия Николаевна с виноватой улыбкой сообщила, что она своими руками собрала мои вещи и сдала чемодан начальнику Ново-

Сергеевки — той станции, которую я на скором проскочил.

Я молчал, не зная, что надо говорить в таких случаях, глупо улыбался. А Лида не переставала сокрушаться. Мне хотелось ее успокоить, и я предложил разрезать дыню, пусть хоть дыня немного подсластит неудачи этого дня. Но Лида именно в дыне видела основу всех бед и категорически отказалась оставить ее у себя, опасаясь навлечь на нас обоих какое-нибудь новое несчастье.

— Нет, нет, нет, ни в коем случае,— сказала она печальным голосом, и глаза ее оставались печальными, пока она в открытое окно смотрела на меня сверху вниз.

Какой-то пассажир торопливо поднялся в вагон.

Поезд простоял свои минуты. Прозвучали прощальные звонки, и колеса снова завели дорожную песню. Но теперь эта песня была не для меня.

Ничего не оставалось делать, как ждать какого-нибудь поезда и ехать за своими вещами. Поезда в скорости не предвиделось, и я вышел на маленькую незамощенную площадь перед вокзалом.

У станционного здания стоял легковой «газик»— серый, запылившийся на проселочных дорогах. Из-под «газика» торчали ноги в брезентовых сапогах. Шофер что-то проверял там, то ли рессоры, то ли задний мост.

Мне трудно было оставаться наедине с моими бедами, и я подошел.

— Чья машина?— безразлично спросил я.

— Моя, а то чья же,— ответил он снизу.

У меня не было другого вопроса, который мог бы продолжить разговор, и я повернулся, чтобы пойти в зал ожидания, но тут шофер вылез и увидел в моих руках дыню.

— Ну и чудовище!— удивленно воскликнул он, как многие восклицали до него.— Откуда она взялась?

— С бахчи,— не очень остроумно ответил я.

Шофер подошел, осторожно принял дыню из моих рук и подержал, чтобы почувствовать ее тяжесть. А мне необходимо было поделиться с кем-то происшедшим, и я рассказал шоферу всю историю, связанную с ней. Шофер оказался отличным слушателем, он так переживал каждый новый поворот событий, что мне хотелось продолжать и продолжать свой рассказ.

— Черт возьми, а!— вставлял он и старался предугадать развитие сюжета, высказывал свое отношение к тем или иным действующим лицам. Особенно не по-

нравился ему начальник станции Оренбург. Не понравился за то, что так сухо и черство отнесся ко мне.

Тут я угадал его слабое место и стал преувеличенно расписывать этого начальника, изображая его барственный и недоброжелательный тон.

— Ну, а что же теперь?— спросил шофер, когда я закончил свою одиссею.

— Что!.. Вот — жду поезда, поеду в Ново-Сергеевку за чемоданом, а там уж — как удастся сесть на московский...— Я выждал и добавил:— Конечно, была бы под руками свободная машина, куда легче было бы исправить дело.

Такие слова даже не назовешь намеком. Шофер все понял, и его колебания отразились на лице.

— На машине — можно...— нерешительно начал он.— Только вот стоить будет очень дорого.

— За деньгами я не постою,— отозвался я.— Мне важно вовремя попасть в Москву. Помоги, друг...

— Полсотни рублей, не меньше...

В то время это составляло четверть оклада партработника, однако другого выхода у меня не было.

— Полсотни, так полсотни! По рукам?

Шофер топнул ногой в брезентовом сапоге, изо всех сил хлопнул себя ладонями по бедрам:

— А, была не была! Давай! Тут до Ново-Сергеевки — восемнадцать километров...

Перед нами лежала гладкая, не хуже асфальта, степная дорога. До этого такую гонку я видел только в ковбойских фильмах, когда кто-то уходил от погони. Деревья и дома деревень так и мелькали, а за нами стеной стояла пыль. Дыня, словно живая, подпрыгивала у меня на коленях.

За двадцать минут мы домчались до Ново-Сергеевки. Начальник станции заставил меня перечислить, что находится в закрытом чемодане, который ему оставили на сохранение, записал номер моего паспорта, где, когда и кем выдан, а также — домашний адрес.

Что за человек был этот шофер — Василий К. (Я сознательно не называю его фамилии, чтобы ему не попало от начальства).

Раз уж он включился в сюжет, то теперь делал все от него зависящее, чтобы добиться счастливой развязки. Василий входил в азарт.

— Врешь! Догоним!— кричал он.— Догоним и перегоним!

Подпрыгивая на ухабах, я кое-как сумел натянуть на себя сперва рубашку, а потом и брюки. В одетом состоянии я почувствовал себя увереннее и тоже кричал «догоним и перегоним», хотя особенно перегонять почтовый нам было не к чему: не ехать же мне с Василием до самой Москвы.

И «газик» тоже словно понимал, как мы торопимся. Давно остались позади все предусмотренные и дозволенные скорости, и стало даже меньше трясти.

— Больше газу — меньше ям!— кричал Василий.

И мы мчались следом за поездом, который где-то там, впереди, старался оторваться от нас.

Но вот у Василия вместо восторженного «догоним», вырвалось досадное «ах ты, черт возьми».

— В чем дело?— встревоженно спросил я.

— Бензину осталось километров на тридцать.

— А сколько мы проехали?

— Восемьдесят.

— А сколько еще осталось?

— Я думаю, пятьдесят или шестьдесят, чтобы с ним сравняться.

— Что же делать?

— Придется свернуть. Тут есть тракторная колонна, там мы сумеем заправиться, вот только...

— Понял, понял! Бензин я оплачу.

— Ну, и немного прибавите мне и машине. Боюсь, после такой гонки рессоры придется менять.

Солнце ушло отдыхать. Очертания лесов вдали сливались с горизонтом. Ветер затих, и было слышно, как перекликаются перепела.

Василий включил зажигание, и мы свернули немного в сторону от полотна железной дороги.

Когда мы заправились у трактористов и поехали, уже совсем стемнело. И снова началась погоня. Я от нетерпения подавался вперед, рискуя расшибить лоб о ветровое стекло. На клеенчатом сиденье автомашины я вел себя, как всадник в седле, который все время посылает вперед коня.

— Догоним!— кричал Василий.

— Жми на полный!— кричал я.

Сейчас во мне говорила кровь моих предков, которые в своих нескончаемых далеких кочевьях хорошо знали цену быстроте и ничего не жалели за доброго коня.

Дорога гудела под колесами «газика», и яркий свет фар, словно сквозь решето, просеивал густую темноту.

Через два часа бешеной скачки (именно скачки, если учесть все ухабы, попадавшиеся на пути,) мы нагнали поезд. Он шел себе как ни в чем не бывало, пяля на нас желтые окна. Дорога вела вблизи насыпи, и в открытом окне пятого вагона я увидел Лидию Николаевну. Сердце у меня кольнуло: рядом с ней — как это он посмел!— стоял высокий незнакомый мужчина и что-то говорил, наклонясь.

— Вон она, та женщина, моя соседка по купе,— сказал я Василию, чтобы у него не оставалось сомнений, тот ли поезд мы догнали.

— А рядом с ней мой директор,— отозвался он.— Я на станцию его привез, когда мы с вами встретились.

— Не он ли занял мое место?— высказал я свое беспокойство.

— Ну и что с того?.. Ведь вы же едете в его машине. Хорошо еще, что темно, что он не может узнать нашего «козла». А то бы несдобровать мне!

Он еще нажал, и мы обогнали состав и подкатили к станции, опередив его.

Буфет был открыт. Пожилая женщина в белом переднике налила нам по сто граммов.

— За встречу,— поднял свой стакан Василий.

Мы чокнулись, выпили, и буфетчица во второй раз налила нам по столько же.

— А теперь — за разлуку,— сказал я.

На прощанье мы обнялись и крепко расцеловались, хоть я и не признаю этого обычая — поцелуев с мужчинами.

Я поднял чемодан, крепче прижал другой рукой дыню и вышел на перрон, устланный хрустящей галькой. Шипя и отдуваясь, подкатил паровоз, ведя за собой отару вагонов.

— Ваш билет...— начала было проводница, но, узнав меня, отшатнулась, словно я был выходцем с того света.

Я важно, словно ничего не случилось, поднялся по ступенькам и вошел в вагон.

Коридор зашумел:

— Болат?..

— А ведь это действительно Болат!

— Ты на самолете, что ли, догонял?

— Ну и джигит!

Второй проводник, пока шли все эти излияния, успел освободить мое место в моем купе, и я победоносно взглянул на васильевского директора. Никому не отвечая, сохраняя свой гордый вид победителя, я прошел к себе и сел.

Лидия Николаевна ахнула, всплеснула руками и рассмеялась.

— Вы и теперь?..— грозно спросил я.— Вы и теперь не захотите взять дыню? Если откажетесь, я своими руками выброшу ее в окно. Честное слово!

Но тут она, конечно, не могла отказаться.

Я с затаенным наслаждением всадил острый нож в бок полосатой, как тигр, дыни. Она оправдала надежды — оказалась спелой и душистой, она так и таяла во рту.

Ели ее всем вагоном, но героем и этого вечера был я.

1939

ЛЕГЕНДА О ЕР-КАПТАГАЕ

Рассказывают люди из большого и древнего рода найман — те, что и по сей день живут на юге Казахстана, в Сарканде, по берегам речки Аксу, которая направляет свой бег к Сырдарье.

Рассказывают люди из рода найман, а я — прилежный переписчик — доверил бумаге их рассказ, каким он сохранился с незапамятных времен.

Холодные ветры, не останавливаясь, мчались на юг от скованного льдом озера Балхаш.

Последний в тот год буран яростно метался от юрты к юрте в ауле найманов, словно хотел стереть его с лица земли. Он злобно выл в отчаянии от того, что кончается его время. И если уж он вынужден уступить скорой весне, то, по крайней мере, надо оставить по себе такую память, чтобы всех бросало в дрожь до следующей зимы!

Немного в стороне от аула, возле острых скал, похожих на зубы дракона, стояла большая черная юрта Ер-Каптагая[1]. Из дымового отверстия вылетали искры, каждая величиной с большой пчелиный рой. Буран, не боясь укусов, подхватывал их и швырял о скалу.

Иногда из юрты доносился протяжный трубный звук, который перекрывал неумолчный гул бурана. Это чихал Ер-Каптагай.

Он удобно устроился у очага, смотрел на багровые языки пламени и думал о том, что ему сегодня пришлось

[1] Ер — богатырь.

услышать от своих сородичей. Говорили, будто бы известный своими подвигами великан по имени Азрет Али находится на пути в земли найманов. Будто бы он намеревается в своем походе пройти еще дальше, чем когда-то проходил Эскендер Зулькарнайн[1]. У Азрета Али есть аргамак, которому достаточно сделать всего девять шагов, чтобы преодолеть путь длиной в девять месяцев.

Еще говорят, Азрет Али несет какое-то новое слово и требует, чтобы все принимали это слово и повторяли его с восторгом и верой. Кто не хочет его слушать, того он заставляет силой оружия. А секира у Азрета Али в девять раз длиннее, чем обычная. Там, далеко, на его родине, могучие львы, которые вообще не знают страха, и те покорно уступают ему дорогу при встрече.

Пока Ер-Қаптагай думал обо всем этом, Азрет Али и в самом деле остановил своего аргамака у скалы, укрывавшей большую черную юрту от бурана. А когда он переступил порог, Ер-Қаптагай только-только принимался за ужин.

В доме этом жили такие люди, что есть из одного блюда они не могли. Их пальцы мешали бы друг другу. Поэтому перед Ер-Қаптагаем, перед каждым из четверых его взрослых сыновей стояло отдельное блюдо. А вареного мяса было наложено столько, что по нынешним временам хватило бы накормить досыта целый аул. Сыновья не начинали ужинать, они почтительно ждали, когда их старый отец первым прикоснется к пище.

Азрет Али, увидев их, удивился. До этого он предполагал, что таких великанов можно встретить только у него на родине.

— Ассаламагалейкум,— сказал он, но никто не ответил на приветствие. Не зная еще, как ему повести себя теперь, он молча наблюдал: огромными пальцами старик поднял с блюда верблюжью голову. В те времена великаны и скот держали великанский. Голова верблюда была величиной с нынешнюю юрту.

Ер-Қаптагай успел проголодаться, и потому разом отправил в рот все мясо, снятое с верблюжьих скул, верблюжий язык, мягкий горловой хрящ. Только проглотив все это, он поднял глаза на Азрета Али, который по-прежнему стоял у порога.

Поначалу вид гостя пришелся по душе старику, хоть

[1] Эскендер Зулькарнайн (двурогий) — Александр Македонский.

он и не понял, что тот сказал. Густые черные усы, такая же черная борода, круглая, ухоженная. Высокий, статный... Настоящий джигит. С таким Ер-Қаптагаю прилично разговаривать как равному с равным.

— Садись к нашему огню, приезжий батыр,— сказал он и протянул гостю уместившиеся на одной ладони самые лучшие куски: половину огромной печени, отделил от лопатки тающий во рту жир, выбрал кость, на которой было много мяса.

По закону гостеприимства он хотел почтить гостя, чтобы тот принял еду из его рук. Но Азрет Али, видно, не знал этого степного обычая и немного отступил, как бы сторонясь предложенного ему угощения.

Азрет Али сказал:

— Перед тем как поесть, я бы хотел, чтобы мне предложили в этом доме ночлег...

Он мягко выговаривал незнакомые певучие слова, и слова эти коснулись ушей Ер-Қаптагая. Но откуда старику было понять их смысл? Он не знал языка пришельца, а пришелец — из арабов — не знал его языка.

— Что ты мне поешь?— спросил Ер-Қаптагай, начиная раздражаться.— Слов наших не знаешь?.. Но это же поймет, кто хочешь! Тебе мясо протягивают, значит, надо это мясо съесть. Будешь или не будешь?

Азрет Али приложил правую руку к сердцу и снова повторил свою просьбу о ночлеге. И снова Ер-Қаптагай не понял его. Уязвленный тем, что его угощение отвергается дважды, старик сам проглотил и печенку и жир, потом схватил с блюда верблюжью голову и запустил ею в пришельца.

Голова с ощеренной пастью пролетела совсем рядом с Азретом Али, он еле успел отклониться, произнеся: «О алла!»

Слышно было, как верблюжий череп снаружи глухо стукнулся о скалу.

Наверное, в других местах, по которым шел его долгий немирный путь, Азрет Али не был таким терпеливым. Но что он мог поделать здесь, на речке Аксу, если в юрте перед ним сидели богатыри — Ер-Қаптагай и его сыновья.

Азрет Али в третий раз повторил просьбу, но не было рядом толмача, который бы сделал его слова понятными для хозяина. Поэтому сердце Ер-Қаптагая не смягчилось, и он не спускал с пришельца подозрительных глаз.

Он весь напрягся, когда гость полез за пазуху... Но

не оружие достал Азрет Али, а какую-то книгу и сказал, шелестя ее пергаментными страницами:

— Я принес вам зикр[1], чтобы такие отсталые люди, как вы, задумались о своем пути, о своей судьбе. Я принес вам новое слово, которое заставит вас завести новые порядки и жить по-новому. Я сказал, а вы слушали...

Но теперь, после того как гость нарушил закон гостеприимства, отказавшись принять еду, ему уже невозможно было расположить к себе старого Ер-Қаптагая.

Ер-Қаптагай не дал ему договорить:

— Прекрати свою болтовню! Не то...— Он схватил с блюда кость величиной с молодое дерево и грозно помахал ею.

И сыновья его тоже вооружились. Один поднял тяжелую, как дубина, бедреную кость задней ноги, другой такую же, только переднюю, а двум достались острые, как секира, верблюжьи лопатки. И так они стояли, готовые по первому знаку отца обрушить на пришельца неотразимые удары.

Но Ер-Қаптагай остановил их движением руки. У него самого было достаточно силы справиться с кем хочешь, не зовя на помощь сыновей.

Азрет Али понял, что ему не одолеть их, и, пятясь, вышел из юрты.

Наверное, ему не очень было приятно стоять на ветру и слушать злобный вой бурана. Ведь у великанов и самолюбие тоже великанское. До сегодняшнего вечера Азрету Али и в голову не могло прийти, что на его долю выпадет когда-нибудь такое унижение!..

Он с войнами прошел и по Африке и по Азии, он покорял людей с самым разным цветом кожи: черных и белых, красных и желтых. Многие отдавались под его руку, даже не рискуя вступать с ним в единоборство. И вот, повстречавшись с Ер-Қаптагаем и его сыновьями, Азрет Али невольно думал: а случайно ли, что сам Эскендер Зулькарнайн не смог двинуться дальше? Не сама ли судьба ставит и перед ним глухую стену, которую не перескочишь на самом легконогом коне, которую не объедешь?

Азрет Али, готовый уже ко всему в этой стране богатырей, постоял в ожидании, не выйдет ли кто следом за ним.

Но Ер-Қаптагай и его сыновья кроме силы обладали

---

[1] Зикр — предостережение; одно из древних названий Қорана.

еще и благородством. Они не стали преследовать незнакомца, покинувшего их дом.

Азрет Али взял своего аргамака под уздцы, подвел его к скале с подветренной стороны и лег на землю, привалившись к большому камню.

Какой-то запах приятно щекотал ему ноздри, и Азрет Али сообразил, что это запах вареного костного мозга. Верблюжья голова, пущенная могучей рукой, ударилась о скалу и разлетелась вдребезги. Азрет Али почувствовал, что он голоден, и ощупью отыскал кости и куски мяса, которые еще не совсем успели остыть.

Один за другим он отправлял их в рот и думал: «Да, эти люди, оказывается, знают толк в еде». Потом ему пришла мысль, что надо было, прежде чем начинать разговоры, принять угощение старика. Тогда бы все могло обернуться иначе.

Поев мяса и вытерев снегом руки, Азрет Али уверился в том, что ничего еще не потеряно: утром он вернется к Ер-Каптагаю и будет говорить с ним.

Решив так, он немного расслабил кольчугу, плотнее завернулся в теплый халат, надвинул шлем на самый нос. Он спал всю ночь, не шелохнувшись, как спят богатыри.

Перед рассветом навстречу снежному колючему бурану подул ветер с юга и — одержал верх. Буран был вынужден убраться севернее, к озеру Балхаш, куда позднее приходит весна. С восходом солнца южный ветер принялся за уборку и вскоре растопил весь снег, который на прощанье успел накидать буран.

И по черной влажной земле пришлось гнать лошадей пятому, самому младшему сыну Ер-Каптагая — Мунайтпасу. Он сжимал пятками бока молодой гнедой кобылицы. Он торопился домой, как торопится верблюжонок, отбившийся от старших.

Еще издали он обратил внимание на то, что полог юрты откинут и что его старшие братья двинулись навстречу табуну, неся в руках наборные уздечки, должно быть, собрались куда-то ехать, а его, как всегда, оставят дома, скажут: ты мал...

Потом Мунайтпас заметил: какой-то незнакомый богатырь пустил пастись своего аргамака, а сам вошел в юрту. Это Азрет Али, проснувшись, решил исполнить свое вчерашнее намерение и отправился еще раз увидеться с Ер-Каптагаем.

Мунайтпас не знал о случившемся. Он мог бы рас-

спросить братьев, когда они подошли к нему. Но до того ли ему было?.. Он не в силах был оторвать глаз от аргамака.

О, такого коня мальчику еще не приходилось видеть, хоть и кони его отца были далеко не из худших на сто переходов в округе. Теплый ветер играл длинной серебристой гривой, словно хотел заботливо расчесать ее. Глаза у прекрасного арабского коня сверкали, как драгоценные камни. Чуткие уши ловили малейший шорох, и голова на гладкой изогнутой шее тотчас повернулась в сторону появившегося табуна.

Аргамак заливисто заржал, приветствуя кобылиц, предупреждая жеребцов, чтобы те не вздумали с ним соперничать.

Мунайтпас так и замер, продолжая любоваться невиданным роскошным конем, а в это время Азрет Али в юрте стоял перед Ер-Каптагаем и продолжал речи, прерванные накануне.

Азрет Али понял, что силой тут не возьмешь, и потому голос его звучал мягко, журчал, как речка Аксу, когда она пронесет уже шальные талые воды и успокоится к середине лета.

Азрет Али, как и вчера, вытащил из-за пазухи сверток кожаных листов — тонких, почти прозрачных. Листы были испещрены непонятными знаками.

Этот сверток он громко назвал: «китаб»[1] и запел стихи звучным приятным голосом. Ер-Каптагай не стал прерывать его, хотя слова, которые пел пришелец, по-прежнему ничего не говорили старику.

Но все же ему начало казаться, что в этих звуках скрыта какая-то большая тайна, и он вот-вот постигнет ее и сразу станет ясно, зачем покинул свой дом этот человек... Но чудилось в этих звуках старику и другое: если поддаться им, то неузнаваемо изменится его жизнь и перестанет он быть похожим на самого себя...

Азрет Али кончил петь и протянул китаб старику, чтобы тот прикоснулся к нему и подержал в руках. Это было признаком высшего доверия: дать священную книгу.

Но Ер-Каптагай этого не понял, а потому и не оценил.

Он принял китаб в надежде, что он и в его руках станет издавать те же чудесные звуки.

---

[1] Китаб — книга; тоже одно из древних названий Корана.

— Какой прекрасный, ни с чем не сравнимый голос у твоего китаба,— сказал Ер-Каптагай, думая, что если он похвалит таинственный сверток, то опять польется песня, которая неизъяснимым образом действует на душу.

Но китаб молчал.

— Ты, как вчера, морочишь мою седую голову!— сказал старик Азрету Али.— Что мне толку, если твой китаб поет только в твоих руках? Ты тогда и держи его у себя. И уходи, уходи. Я не хочу тебя видеть, и мои сыновья не хотят тебя видеть!

А пока шел между ними этот разговор, не понятный ни тому, ни другому, Мунайтпас продолжал мечтательно смотреть на аргамака и представлял, какое это счастье — хоть раз проехаться на таком коне! После этого и умереть было бы не жалко. Кони его отца выглядели жалкими клячами по сравнению с этим аргамаком, и сердце мальчика сразу остыло к ним.

Он спрыгнул со своей гнедой кобылицы и, ведя ее в поводу, направился к аргамаку.

Мунайтпас, как завороженный, еще не знал, что он сделает: то ли угонит коня, а там будь что будет, то ли просто проедется на нем, пока хозяин не видит, за это не обидно получить один-другой удар камчой.

Аргамак, поставив уши торчком, следил за его приближением. Но, понятно, до мальчика ему не было никакого дела. Его внимание привлекла гнедая кобылица — самая красивая, самая изящная в табуне, отмеченном тавром Ер-Каптагая.

А кобылица тоже не могла устоять перед таким мужественным красавцем. Она не тянула в сторону, она покорно следовала за Мунайтпасом, как только заметила, что он ведет ее по направлению к высокому жеребцу светлой масти.

В дальних суровых походах Азрет Али не пускал своего коня в табуны, и тот был лишен ласки, без которой не может существовать не только человеческое сердце. И потому жеребец вздыбился, едва не задев головой облака, показывая, какой он ловкий, сильный и статный, и так — на задних ногах пошел к гнедой кобылице, которая ждала его, раздувая ноздри и горделиво подняв голову...

Мунайтпас мгновенно сообразил, что если даже он и не угонит аргамака, то хоть в табуне у них останется его потомство. Мальчик проворно отскочил в сторону,

Азрет Али, разговор которого с Ер-Каптагаем опять кончился ничем, вышел из юрты в тот момент, когда короткая любовь аргамака и гнедой кобылицы уже кончилась, и он ничему не успел помешать.

Он кричал и бранился, а у великанов и ругань великанская. Но рядом стояли с мечами в руках четверо старших братьев Мунайтпаса, и Азрет Али даже не мог себе позволить влепить наглому мальчишке хорошую затрещину. В гневе он собрался было вскочить на аргамака, но тот еще не пришел в себя от любви и не хотел трогаться с места.

Азрет Али покачал головой и сказал так:

— Многие неприступные вершины пали передо мной ниц. А сейчас мой путь уперся всего лишь в какую-то маленькую скалу, и я вынужден повернуть обратно. Я, никогда и ни перед кем не отступавший!

Мунайтпас и его братья не поняли пришельца. Они увидели только, как Азрет Али в поводу повел своего коня прочь, и скоро скрылся за скалами, а ветер замел его следы.

И больше, пока живы были Ер-Каптагай и его сыновья, он сюда не показывался.

Та скала и сегодня стоит в Саркандском районе, на юге Казахстана.

Местные жители называют ее Скалой Аргамака.

А в напоминание о тех далеких временах у найманов осталась легенда о том, что ни силой, ни хитростью, ни притворной лаской нельзя победить таких богатырей, как Ер-Каптагай и его сыновья. И еще остались кони, обгоняющие ветер.

1942

СКАЗАНИЕ ОБ ОРЛАХ

— Это мне нравится...
— Тогда посвящаю вам.
— Это мне не нравится.
— И тогда посвящаю вам...
Автор

Ержан настойчиво звал уходящего орла:

— Кял, кял, кял!

Он выкрикивал это по-своему, по-ержановски, и короткий окрик, чуть в нос, был понятен только ему и его орлу, и мало кто разгадал бы в нем обычное «кел»— иди.

— Кял, кял! Кял!

Орел не пошел к хозяину и даже не оглянулся. Он легко набирал высоту. Для него не существовало ни Ержана, ни шустрого зайца, которого он успел заметить, едва освободившись от кожаного наголовника — томаги. Внезапно он подобрал крылья и камнем стал падать. Охотнику показалось — орел вот-вот расшибется об острые скалы. «Куда тебя понесло, что тебе привиделось?— обеспокоенно думал Ержан.— Может быть, лиса? Или волк?» В последние дни — охотник только теперь сопоставил это — орлу было не по себе, и он вел себя загадочно, будто одержимый какой-то тайной страстью.

Подгоняя гнедого, Ержан направился в горы, туда, где метался его орел. А может быть, это уже не его орел?..

На тропе лежал глубокий, по грудь коня, снег.

— Эх, ушел, ушел!..

Ержан хлестал гнедого, который увяз в плотном, чуть дымящемся сверху сугробе.

— Кял, кял, кял!

— Кял, кял, кял!— отозвалось чуткое эхо.

А ведь только позавчера Ержан привез с охоты двух красных лисиц — обе шкурки просто полыхали, это был так называемый алтайский отсвет. Солнце заставляло

играть пушистый мех, и сквозь густое червонное золото на боках проступали белоснежные штрихи, а ноги отливали чернотой. Все радовались его редкостной удаче: четырехлетняя дочка охотника вся сияла, примеряя на шею мягкий, как пух, лисий хвост; двухлетний Есентай громко хлопал в ладоши и требовал лисьих почек на обед (привык, что ему достаются почки зайцев и баранов). Соседи прибежали, поздравляя с алтайскими красными. Соседи желали Ержану такой добычи, которая бы по своей ценности не уступала сказочному вознаграждению, состоящему, как известно, из девяти частей, и одна лишь из них — три косяка лошадей! И пусть в юрте Ержана всегда пахнет свежей кровью, и пусть никогда не переводится жирное мясо!..

И по старым, и по новым законам охотнику грешно пользоваться добычей в одиночку. Время было трудное: на исходе длинной зимы толстый становится тонким, а тонкий — похожим на тень. И все равно — Ержан устроил званый обед: был бесбармак, была водка (без нее теперь даже в ауле не обходятся), были разные лакомства: курт, сахар, конфеты.

— Твой Шапшан[1] — настоящий орел, всем орлам орел!

— Ну и везет же нашему Ержану в нынешнюю зиму на лисиц... Верно, уже за двадцать перевалило? А, Ержан?

Ержан скромничал:

— Ну, до двадцати, положим, еще далеко... Трех не хватает.

Но похвала была ему по душе, и он спешил наполнить стакан соседа, сказавшего эти слова.

— Что может быть лучше охоты с беркутом? Недаром же ее воспел сам Абай. Помните?..

— Как же не помнить! Там у него сказано: когда мощный беркут сминает на снегу красную лису, то видишь дивное сочетание красок и мужественные резкие движения...

— И невольно представляешь, как купается румяная белотелая дева и как она косы отжимает на берегу.

— Абай знал, как сказать... А ведь есть что-то абаевское и в нашем Ержане,— вставил свое мнение другой сосед, и все вспомнили, как в свое время их радуш-

[1] Шапшан — быстрый, стремительный.

ный и щедрый хозяин ради охоты наотрез отказался от должности заведующего фермой.

За такие лестные слова нельзя было не наполнить стаканы, и Ержан опять потянулся за белоголовкой.

Их разговор, ставший уже немного беспорядочным, внезапно нарушил орлиный клекот.

Что это случилось с Шапшаном?.. Орел сидел на своем обычном месте, в холодных сенях, за перегородкой. Засыпал он рано, еще до наступления сумерек, а вот сегодня, несмотря на поздний час, никак не хотел успокоиться. Трудно было судить, что могло вывести его из равновесия: или эти редкие алтайские красавицы, в честь которых сейчас собрались люди в доме Ержана, или в нем пробудилась досада на свою неосмотрительность, из-за которой он однажды упустил волка.. Но так или иначе, орел ерзал на своем пне, бил крыльями о дощатую перегородку, чугунным клювом пытался раздолбить цепь на ногах. У него был приступ тоски. Он тосковал по свободе, его жгло желание взметнуться в небо, он хотел стать свободным и независимым...

Но ничего этого ни гости, ни сам Ержан не поняли. Они решили, что просто Шапшану не терпится снова на охоту, и он с помощью аллаха добудет еще не одну красную лису. За это снова пришлось налить.

Ержан проводил гостей, вернулся, прошел в спальню и сказал жене:

— Уложи Есентая... Да и тебе самой пора.

И Ержан вновь отправился на охоту.

Жена предупредила его, что на ужин особенно не приходится рассчитывать, если он не привезет ей зайца, а лучше — двух. И поэтому, когда Ержан наконец увидел лопоухого беляка, выскочившего из кустов, он сразу снял с головы Шапшана колпак и резко толкнул его в ту сторону, куда кинулся бежать заяц.

И вот — Шапшан вместо того чтобы камнем упасть на добычу, стал уходить от своего хозяина.

— Куда же он подался?

Если бы орел заметил зверя более видного, чем заяц, пора бы ему кинуться, высоту он набрал достаточную. Но Шапшан и не помышлял об этом. Он был один на один с чистым небом, он был свободен, и ничто больше его не занимало. Он то взмывал, сливаясь с бездонной

синевой, то камнем кидался вниз, то делал плавный круг в сторону. Порой он складывал крылья и начинал падать вниз, но тут же резко поворачивал, подставляя грудь встречному морозному потоку. Только мелькали в воздухе его огромные крылья.

— Кял, кял, кял!

Но Шапшан был глух к тревожному зову хозяина. Он увидел наконец то, что не давало ему покоя все эти дни, чего он так жаждал в неволе. О том, что так случится сегодня, он знал, хорошо знал, когда еще сидел на гнедом коне, покрытый томагой.

О том, что так будет, говорило все: и ясный морозный день, и чудом услышанный звук невидимых крыльев, и сердце, которое не может не заставить быть орлом, если оно действительно орлиное, и молодость с ее огненной энергией, искавшей себе выхода.

То, что заставило верного орла забыть про все земное, заметил теперь и Ержан. И все понял. На большой высоте, доступные лишь зрению охотника, летали три орла: двое из них беспечно играли, а третий — постарше — держался несколько в стороне. В свое время он смело кидался на самых сильных сородичей, теперь же спокойно парил и сдержанно любовался игрой молодых.

А игра только начиналась. Шапшан понял это сразу, с первого взгляда, но вступать в нее пока воздерживался, и лишь однажды, когда игравшие налетели друг на друга так близко, словно готовились броситься в объятия друг другу, он не выдержал: бурей пронесся над ними.

«Силен! Горд! Напорист! А на ногах что-то такое сверкает, никогда ни у кого не видела»,— подумала орлица, невольно любуясь незнакомцем. Горячась, она залетала очень высоко, с удовольствием подставляя грудь ледяной стуже.

С орлом из породы тас-кара[1] она встретилась на рассвете, когда вылетала из душного бора. Тогда черный привлек ее внимание. Играя, они поначалу держались на небольшой высоте. Потом, присмотревшись друг к другу, забирались все выше и выше, и Тас-Кара временами плохо поддерживал предложенный ему орлицей бурный темп.

Мир — и широк, и тесен для орлиного племени. У него и друзей много, и врагов хоть отбавляй. Поэтому

[1] Тас-кара — каменный, черный.

нужно такое потомство, которое не боялось бы ни сибирской стужи, ни азиатского зноя. Такое потомство, которое не принималось бы дремать после первого же сытного обеда. Такое, которое не довольствуется сурком и не затаивается у мышиной норки, хоть оно и сподручней, и не требует никакого риска. Это орлы знают от рождения, знают без каких-либо умственных усилий. Это у них от природы. Вот почему орлица, пока не изучит как следует, ни за что не подпустит к себе будущего отца своих орлят. Брачному союзу предшествует долгое состязание. И если орел покажет себя низменным, мелким, то пусть не ждет пощады: орлицы умеют постоять за себя, и тогда иной Тас-Қара валится на землю с разорванным зобом.

Хоть Тас-Қара иногда и хитрил, отставая от нее, все же орлица пока не осуждала его, продолжала игру. Справедливости ради надо заметить, что она держала в поле своего зрения и внезапно появившегося незнакомца.

Уже вечерело, но Шапшан все еще летал — просто так, в свое удовольствие, появляясь внезапно и внезапно исчезая. Раза два он подлетал к орлу, который по-прежнему держался поодаль. Летая с ним в паре, Шапшан вел себя скромно и уважительно:

— Ассалаумагалейкум, аксакал! Вы летаете безупречно. Отчего же все время уходите в сторону?

— Оттого, милый, что мое время прошло, и я любуюсь своей сменой, любуюсь ее полетом, хочу разгадать ее помыслы. Я по себе знаю: каждый должен назначить себе высоту, которой он стремится достичь. Но даже если ты не достигнешь ее, все равно — пусть осенит тебя высшая цель: пусть не позорят тебя низменные страсти, даже если ты и заберешься высоко. Запомни: всегда и во всем нужно быть достойным своего орлиного звания... Вот этого я тебе и желаю, мой друг. Будешь поступать так, как я говорю, то поймешь, что значит подлинная высота.

Не словами, разумеется, все это было выражено, но орлы поняли друг друга. Старик показался Шапшану немного назидательным, но это можно было понять, если учесть его возраст.

И тут хвастливый Тас-Қара, желая блеснуть удалью, допустил оплошность. Он вздумал напасть на старого орла! С высоты он легко развил скорость и ринулся вниз, на старика, целясь ему в горло: не жди пощады!

Но старик и не думал ее просить. Грозно блеснув глазами, он выставил заскорузлые, словно из витой стали, когти и приготовился к решительной схватке: только подойди! Когтистым и мускулистым, опытным в битвах оказался старый орел, и лихач не выдержал, метнулся в сторону, метнулся так, словно и не собирался ни на кого нападать!

Такой исход не понравился орлице. И не потому, что она желала чьей-либо крови. Кровь ни к чему во время игры смелых и мужественных. Нет, она жаждала смелости, щедрости и широты. Чем больше этих качеств у орла, тем милее он ей. Молчаливо осудив Тас-Кара, она полетела прочь, вдоль гор, к востоку. Зачем надо было приставать к мирному старику? А если уж пристал, то где же твое мужество? Трус не может стать спутником орлицы.

Она отвернула в сторону и пошла — непринужденно, стремительно. Тас-Кара с трудом поспевал за ней. До этого было просто: небольшие круги, на высоту забирались лишь однажды,— словом, полет был не из утомительных. Другое дело теперь. Теперь началось самое трудное — испытание на дальность. Вся в морозном инее, орлица не замечала ни стужи, ни яростного сопротивления встречного потока.

И скоро Тас-Кара отстал, ему оказалось не по силам лететь в паре с юной и сильной красавицей. Утешало его одно: где-то, едва поспевая за ним, летел старый орел.

Орлицу, которая теперь оторвалась ото всех и летела в одиночестве, легко нагнал Шапшан.

— Здравствуйте!..

Орлица сдержанно ответила, и они полетели рядом. У них одинаково белели от инея плечи.

— Что это у вас на ногах?— поинтересовалась она.

— Называется — путы...

— А что это блестит?

— Медные кольца.

Не сговариваясь, орлы дальше летели вместе. Присматривались друг к другу. С удовольствием отметили: одинаковые взмахи, одинаковое дыхание, одинаковая скорость. Редкая и завидная слетанность! В морозном воздухе звенели крылья. А холод — не страшен, их грела горячая кровь, звавшая дальше, выше, туда — к солнцу. Безумной скорости орлов завидовал свистевший в крыльях ветер.

К заходу солнца они выбрали ночлег — ветвистую

в два обхвата старую сосну. Выбрали после долгого и тщательного облета гор в густом бору. Уселись рядом, чутко следя друг за другом.

— Что, если здесь совьем наше гнездо?

— Гнездо? Наше? — Она удивленно шевельнула крылом.

— Эти толстые ветки особенно хороши для гнезда — стоит натаскать прутьев... Да и крона густая, она защитит наших птенцов от дождя и ветра, укроет от посторонних глаз...

— Не зря ли вы так стараетесь?.. Ведь еще неизвестно, что я думаю на этот счет...

Тут в бору появился черный лихач, про которого они и думать забыли. В нем, оказывается, все еще жила надежда, и он очень хотел пристроиться рядом с орлицей, но не решился: та неодобрительно задвигала плечами, а у Шапшана глаза вспыхнули черным, недобрым пламенем. Тас-Кара засуетился, неуклюже запрыгал с ветки на ветку, пока наконец не примостился на высоком суку. Там он справился со своим смущением, и к нему опять вернулась обычная самоуверенность. Красивая поза должна была загладить недавнюю неловкость, показать, что он равнодушен к орлице, от которой бы и не отстал вовсе, если бы только захотел и дальше ее сопровождать.

Прилетел и старик. Тому не было дела до молодых, и он устроился отдельно. Не всякая ветка выдерживала его грузное тело. Он усаживался долго и не спеша, как обычно раздевается старый человек, пришедший с мороза. Наконец старый орел нашел подходящую ветку и затих.

Притихли и молодые, они неподвижно застыли в ожидании утра. Ночь, темень — не для орлов. Им нужен свет и простор.

Первым проснулся старик. Заскорузлые когти зудели — чуют добычу,— и он не мешкая отправился в степь, надеясь раздобыть если не зайца, то хотя бы песчаника.

— Полетим?— встряхнулся Шапшан.

— Полетим!— Его бодрость передалась орлице.

Разминая занемевшие за ночь тела, орлы летели вместе: орлица посередине, Тас-Кара и Шапшан — по бокам. Орлица не гнала черного, хотя и испытывала влечение только к Шапшану. Видимо, небесные красавицы тоже не прочь иметь поблизости лишнего поклонника.

К обеду тройка была уже далеко от места ночлега:

внизу мирно простиралась степь. На небе не было ни облачка. Вдруг, приглашая начать игру, орлица взметнулась вверх. За ней тотчас же бросился Тас-Кара. Не сбавляя скорости, орлица продолжала подниматься. Неожиданный маневр застал Шапшана врасплох. Но несмотря на это он без труда обогнал соперника и помчался дальше. А Тас-Кара догнал и опередил орлицу. Та, казалось, не замечала ни того, ни другого. Она то круто взмывала вверх, то камнем бросалась в бездну.

Подзадориваемые орлицей, соперники начали поединок. В то время как Шапшан делал большие заходы, ведя честную игру, Тас-Кара хитрил: не залетал так далеко, как его противник, норовил напасть неожиданно.

Хитрить в игре вообще-то не возбраняется. Но если вся ваша хитрость сводится только к уклончивости (а Тас-Кара, постоянно уклоняясь от единоборства, даже пытался спрятаться за орлицей!), то этого орлы вам не простят. Поведение соперника разозлило Шапшана. И он, выждав очередной ложный заход, мгновенно лег на правое крыло и с ходу бросился в атаку. Железный удар пришелся тому слева и сверху. С подбитым крылом Тас-Кара кое-как дотянул до земли, где сидел старый орел. На обед у него сегодня был пойманный незадолго до этого песчаник.

Теперь уже сердце орлицы безраздельно принадлежало Шапшану.

Орлы, если они настоящие орлы, играют открыто, не таясь ни от кого — ни от сплетников, ни от завистников. Их не смутишь ни подглядыванием, ни подслушиванием. Потому что они играют не ради забавы, а ради продолжения рода гордых, смелых и благородных.

Задорная игра, которую затеяла орлица, захватила Шапшана. Играли они с упоением, страстно и пылко, то далеко отлетая друг от друга, то сближаясь вплотную, готовые броситься в объятия друг другу, и снова отдаляли это мгновение.

Поздно вечером, прилетев на ночлег к вчерашней сосне, которая теперь принадлежала им, им двоим, они уже не спорили о том, где и как строить гнездо.

Двое птенцов, вылупившихся весной, окрепли, и родители озабоченно подумывали об их первом полете.

Целых сорок дней, отдавая все свое тепло, высижи-

вала орлица два пестрых яйца. Неподвижное сидение истощило ее. Но не беда, что она так похудела — кожа да кости,— еще нагуляет жир; не беда, что крылья плохо подчиняются,— еще разомнутся и окрепнут. Завтра чуть свет она отправится на озеро — выкупается. И напьется вволю. Она была счастлива от сознания, что дни, когда приходилось довольствоваться пушинками снега и каплями дождя, остались позади.

Время шло, орлята росли и мужали. Глотали дымящиеся теплые куски мяса. Ревниво озираясь друг на друга, пили свежую заячью, лисью кровь. Дрались между собой. Словом, становились настоящими орлами.

Менялась и сама орлица. Прежде, когда она высиживала яйца, у нее не было никакого другого чувства, кроме материнского: она была холодна с Шапшаном, но теперь птенцы начали мужать, и она снова признала его — отца своих детей — и становилась с ним все нежнее. Теперь у них как-то само собой возникло одно желание, тоже воспитанное в родителях мудрой природой: поскорее бы птенцы познали жизнь и испытали бы горечь неудачи. Зима не за горами — успеть бы научить их жизни. Скорее бы увидеть, когда они наконец поймут: то, что они едят здесь, в гнезде, бегает на четырех ногах в степи, в горах, и зайцев, сурков, лис приходится добывать самостоятельно. Скорее бы поняли, что все дается в труде и борьбе...

Отец и мать ждали осенних штормовых ветров, чтобы выпустить орлят в первый полет. Надо вытолкнуть птенцов из уютного гнезда, а сильный ветер подхватит их, завихрит и закружит — невольно полетишь! Посмотреть бы тогда на птенцов, послушать их тревожный клекот. Или, не дай бог, начнут беспомощно пищать? Вот что заботит орлов. Они так жаждут увидеть своих птенцов орлами, они так хотят услышать их первое клекотание.

Осень с ее сильными ветрами не заставила себя ждать. Орлице не терпелось выпустить детей, но Шапшан был неумолим — ждал настоящей бури. Что можно сравнить с ураганом, который рушит все подгнившее, сносит все отжившее, который очищает лес от всей трухи, от всего застоявшегося! И пусть твои птенцы начнут свой первый полет именно в такую бурю!

В ожидании Шапшан сам не знал покоя и не давал покоя орлятам. Решительно отстранив мать, он весь день гонял их по просторному гнезду; заставлял махать

крыльями, вынуждал цепляться за ветки — пусть натрудят себе мышцы, пусть будут цепкими, пусть крепнут их крылья.

Наутро ветер достиг штормовой силы. Чуть свет Шапшан прерывистым криком позвал орлицу.

— Ну как, выпустим?

— Выпустим.

Сначала они облетели гнездо, размялись. Затем вернулись к орлятам и вытолкнули их против ветра. Толчок был необычный, не из тех, к каким они привыкли. Послушно, еще не понимая, что их ждет, орлята нырнули в бушующее небо. Их подхватил ураган. Орлята взлетели. Взлетели просто, ничем — ни клекотанием, ни писком — не выдавая своих чувств. Только горели глаза, суровые и смелые, точь-в-точь отцовские. Суетливые поначалу, они становились теперь спокойнее, увереннее. Теперь они смело парили среди бури, выражая радость неожиданным для них самих торжествующим звуком — орлиным клекотом.

— Ух, как хорошо летать! А как велик мир! Отчего мы не знали об этом прежде? Отчего мы так долго сидели в гнезде? А буря? Как хороша эта буря! Она кого хочешь научит летать! Нам бы еще долго топтаться в гнезде, если бы не она, буря! Буря нас вознесла к небу! А теперь... выше и выше... Какая радость, какое счастье — летать!

Отец и мать слушали своих птенцов, и родительская тревога начала рассеиваться. Опасаться нечего. Их дети выдержали свое первое столкновение с бурей.

И они взмыли вверх, чтобы лететь вместе с орлятами.

1966

ЗОВ ЖИЗНИ

Хмурые ползут над морем тучи, сырыми космами тумана льнут они к вспененным волнам. Нет конца и края им, нет конца медленному движению их. Но вдруг ветер, шальной и теплый, налетит с далекой земли. Сомнет он, раздвинет тучи, и глянет на сердитое неласковое море синими глазами весеннее небо.

Вздрогнет, изогнется сильным, как стальной прут, телом самец — Серый-Ярый,— из рыб породы Азат-Мая, серебряным мечом прянет над бурным морем навстречу солнцу и весенней сини.

В обычной, будничной жизни Серый-Ярый тускл, словно водоросль зимнего моря, но сейчас...

Пришло время яростно мчаться. Оттого блестят глаза и тело сплошь покрыто жемчужными пестринами. Как жгучую черноту неба пронзает падучая звезда, так мрачную синеву морской пучины пронзает сейчас Серый-Ярый.

Сегодня он плывет широким кругом. Он забыл про осмотрительность и осторожность, навсегда забыл привычные места для выслеживаний и выжиданий. Он горд, он буен, он высоко прыгает, стремясь быть видным всем. Теплый ветер с земли сообщил ему великую тайну, синие глаза весеннего неба глянули в его глаза.

Пусть весь подводный мир смотрит на меня — говорит он всем своим видом. И нет у него больше робости и трепета перед широкими, острозубыми глотками хищников.

Вырывается на широкие просторы, куда прежде не ходил, Серый-Ярый. Самок-рыб породы Азат-Мая, живущих мирно под толстым льдом, он гонит, направляет

к берегу, будоражит, торопит. Как орел, свободно парящий в высоком небе, затеял он великий полет.

Сколько раз подводный мир в страхе бежал от него, горюя и оплакивая жертвы. Сколько раз он сам спасался от более сильных. В морских джунглях пощады нет слабым.

Но сегодня зубастые, изогнутые его челюсти плотно сжаты. Нет ему больше дела до слабых, нет страха перед сильными. Презрев все, словно объятый огнем и гонимый чудо-силой, он покинул тишину и сумрак дна, вышел в открытое море. Он мчится без устали.

И вдруг заметил Серый-Ярый, что не один он рассекает морскую пучину. Все самцы одной с ним породы Азат-Мая взыграли, волнуя и взъяривая морскую глубь. Они тоже мчались, они тоже сверкали, они тоже трубили походную песнь.

Все больше и больше серебряных молний над морем, все больше блеска и сверкания.

Эти молнии зовут, увлекают самок-рыб, указывают путь великого похода. Они зовут к могучей реке, которая впадает в море далеко на юге.

Только ленивые, равнодушные самцы-кретины спокойны и выжидают время, чтобы примкнуть по пути к великому торжеству. Они еще пасутся у дна, слабо шевеля плавниками, и жмутся к седым от старости Серым-Ярым, которым уже нет дела до таких походов.

Не все еще готово к великому походу: есть беспомощные и слабые. Все это безразлично самцам-кретинам. У них забота только о своей утробе. Они даже сами не готовы к пути, они тусклы, они не обновили своего наряда.

Серый-Ярый не позвал их в поход. Он пронесся мимо — сильный и гордый, полный презрения.

Похожие на камбалу, тупорылые, прятались среди лилий у дна морские коты, подстерегая добычу, выставив вперед ядовитые костяные шила. Тысяча хищнорылых обжор рады великому празднику. В суматохе они легко наполняют свое брюхо, покрывают свои ребра жиром.

Серый-Ярый не испугался их, промчался сквозь кровожадную свору. Кто может, кто посмеет схватить молнию?

И миноги готовят ловушку. Хоть и зовутся рыбами, но, как пиявки, тонки они, злы и коварны. Подкрадется, прилипнет к жабрам, и не оторвешь, не избавишься. Так

и тянется тонкой кишкой до пресных вод, до нерестилищ, и пожирает там свежую икру. Но не страшны сегодня миноги Серому-Ярому.

В дремучих подводных джунглях покой и тишина таинственные. Розовые, желтые, коричневые, слабо шевелят своими щупальцами морские звезды. И среди них сонно плавают, погруженные в свои заботы, самки-рыбы Азат-Мая.

Огонь еще не охватил их тела. Им еще невдомек, что впереди их ждет великий путь. Брюхастые, готовые лопнуть от тяжести икры, они спокойны и безразличны. Краса предстоящего похода, буйного, искристого веселья разве не эти вислобрюхие самки?! В них будущее поколение Азат-Мая. Потом, когда дойдут они до пресных вод, до заветного места, разве жаль будет десятка прекрасных Серых-Ярых, погибших за одну из этих толстобрюхих?

Но рыбицы еще не воспламенились, еще не началась у них песня, не начались пляски. Они спокойны по-прежнему, они надеются на всезнающих, вездесущих самцов...

И Серый-Ярый понял, что пройдет еще немало времени, прежде чем безудержным своим полетом, своей игрой и блеском удастся ему заразить самок жаждой похода.

О, эта песня лилась с вышины! Эта песня без слов всколыхнула холодные рыбьи души. Это был огонь, сжигающий и в воде, это было таинство, чудо, оживляющее даже мертвых.

Серый-Ярый мчался, разбивая в осколки воду, легко касаясь своим телом, алым жемчугом покрытым, самок. И они, словно объятые пламенем, вспыхивали в тот же миг радугой.

Засверкало, забурлило под морем и над морем. Теперь уже никакая сила не могла остановить Азат-Мая. Все самцы и самки понеслись, помчались стаями и косяками в сторону нерестилища — реки. Вздрогнуло великое море от великого похода. Раскачались, зацвели огненно-кровяным светом испуганные медузы. Чавыча и Нерка, Кижуч и Сина — рыбья родня Азат-Мая — двинулись следом.

Молоденькие девицы со впалыми боками, без единой икринки, тоже было устремились вместе со всеми. Но никто не позвал их с собой. А как им хотелось участво-

вать в великом походе, упиваться общей радостью! Ведь поднимется косяк по реке, дойдет до мелководья, и помечут самки красную икру, самцы же обольют ее белыми молоками. А сколько веселья будет в многодневном пути! Окружат Серые-Ярые самок, засверкают клинками, оберегая их.

Серый-Ярый знает, о чем думают молоденькие девицы. Гонит он их в густые заросли, бьет. Не всякому дано глядеть на великое веселье...

Стараясь умолить, смягчить своими чарами Серого-Ярого, шаловливо увиваются молодухи вокруг, но, испугавшись неприступно-лютого его вида, в страхе бегут в морские заросли. Они не могут нарушить закона природы.

Это прекрасно знают бурые от старости самцы. Они не трогаются в путь, не мешают остальным, лишь взглядом провожают отправляющийся косяк. Сколько раз, в молодые годы, проделывали они этот путь, сколько раз возглавляли поход! Теперь им даже неведомо, что происходит вокруг, только иногда блеснут глаза, словно отразится в них далекая зарница, и сейчас же погаснут под мутной поволокой старости, словно что-то забытое вдруг всколыхнется в рыбьей душе. Мир надежд им уже непонятен. Они все позабыли. Оттого и тянет их в глухие заросли, во мрак, к замшелым камням, где прилепились морские звезды, не умеющие плавать.

Не раз вставало над морем низкое северное солнце, не раз падало за край его, зажигая небо весенней семицветной радугой, не раз опускалась над миром тьма, пока наконец самцы и самки достигли устья полноводной реки, впадающей в море.

Беда ждала великий поход в узких речных протоках. Со всего моря сплылись, собрались здесь хищнорылые. Они не утруждали себя погоней, а как собаки накинулись на косяк из засады.

Горечь бессилия охватила всех самцов породы Азат-Мая, всех Серых-Ярых. Ведь они страшны только на вид, но у них нет другого оружия, кроме быстрого, сверкающего, как молнии, движения.

И тогда, мчась взад и вперед, они собрали широко разбросанный косяк и упрямо пустились против течения, окружив самок плотным кольцом.

Теперь хищнорылые хватали Серых-Ярых, но кара-

ван упрямо поднимался вверх, все выше. И отставали хищники, возвращались в море. А десятки тысяч Азат-Мая неслись в едином порыве, и никто не отклонился в сторону.

Увлек всех поход, собрал воедино и властно погнал вперед. Серый-Ярый ведет, возглавляет косяк.

Ударились вдруг сильные тела рыб о сети, расставленные ворами-браконьерами. Но разве есть на свете такая преграда, которая может задержать поток жизни? Мчится он, сметая все на своем пути. Гибнут одни, другие идут вперед.

Есть ли на свете лучше песня, чем та, которую поет встречное течение могучей весенней реки?! Да разве может быть что-нибудь более сильное, чем единый порыв к великой цели?! Чувствуя это, выравнивался косяк и стремительными тенями несся в быстрых струях.

На другой день, перед восходом солнца, Серый-Ярый почувствовал, что скоро им встретится водопад. Давила в грудь упругая тяжесть воды, убыстрялся бег течения, и уже чудился грохот.

Заметался Серый-Ярый вокруг косяка, подгоняя слабых и нерадивых. Прянул он над водой и увидел белопенную трехметровую стену. Вода падала с высоких скал, тучи бриллиантовых брызг вставали к небу.

Заволновался косяк. И тогда снова метнулся Серый-Ярый, увлекая всех за собой. Расступилась спокойная выше перепада вода, поглотила его. Гордый, подплыл к тенистому берегу Серый-Ярый и стал поджидать свой косяк.

Первыми последовали примеру Серого-Ярого самцы, что плыли вместе с ним впереди. На миг показалось, что кто-то забавляется у водопада, бросая серебряные кинжалы. Взлетит вверх клинок, блеснет на солнце и исчезнет, вонзившись в воду.

Трудно приходится самкам. Раскачивает быстрая вода их вислые животы. Взмывают они вверх и, не долетев до гребня, падают на камни, и крутыми толчками вылетает из них драгоценная икра.

Те, кому не удается с первого раза преодолеть водопад, отступают, чтобы снова взмыть в воздух.

Еще труднее приходится рыбам, к жабрам которых присосалась подлая минога. Как кони, запутавшиеся в поводьях, бессильны они. Не только самок одолели миноги, но и ленивым, малоподвижным самцам приходится туго. Бьются в кровь об острые камни, теряют силы.

Серый-Ярый спокоен. Он не жалеет их. Серый-Ярый не первый год в походе, он знает: кто не преодолеет преграды, тот не вернется в море. Зачем их жалеть? Погибающие находились в конце стаи, во всем и всегда они были последними. Плыли они толкаясь, суетливо тычась, и движения их были неприглядны.

А вокруг Серого-Ярого снова сгрудился весь косяк, играя. Самки, усталые, льнут под берег.

— Дошли, наверное... Отдохнем...— говорят они всем своим видом.

Теперь уже через водопад летели редкие рыбы-одиночки. И снова заметался, сверкая, Серый-Ярый, снова повел вперед подвластную ему армию.

Два дня и две ночи шел косяк по реке. Исчезла тяжесть воды, что давила на грудь и сжимала бока. Бледная, вставала над миром ранняя заря.

Серый-Ярый, шедший впереди, словно убеждаясь в чем-то, одному ему известном, взлетел вверх и, разбивая тяжелым телом спокойную гладь реки, радостно взыграл. Он узнал знакомые места. Здесь каждый год метали икру самки его породы Азат-Мая, здесь когда-то родился он.

И тогда, переполненный радостью, счастьем и ощущением силы, Серый-Ярый стал врываться в гущу косяка, ломать строй, словно хотел сказать самкам: «Дошли... Здесь остановка... К делу...» Все самцы — заиграли, запрыгали.

Здесь было потаенное царство тишины и покоя. В большую реку впадала малая, выстилая дно желтым бархатом песка и мелкими камнями. Сюда вошел косяк, и разбрелись по мелководью усталые рыбы.

Но ни одна из самок не искала покоя и корма, и не погас праздничный блеск в глазах Серых-Ярых.

Встав головами против течения, средь мягкого песка и цветных камешков, стали они рыть ямки, круглые, как блюдца.

Из студеного моря шли Азат-Мая, спасались от хищнорылых, рвали сети и бились об острые камни у водопада для того, чтобы излить икру вот в эти ямки, в устье этой тихой далекой реки, где родились сами, где можно дать жизнь своему потомству. Оттого и спешат они завершить приготовление к великому таинству, оттого забыли про голод и усталость.

Гордые самцы-красавцы Серые-Ярые вьются рядом,

стерегут самок от опасности. И если кто обессилел, они бросаются на помощь.

Два дня и две ночи усталые, исхудавшие в пути рыбы делали свое нелегкое дело, а когда пришло время...

Золотисто-красные икринки полились в ямки, как падучие звезды. Серые-Ярые, соблюдавшие до этого порядок похода, теперь словно обезумели. Они бились друг с другом, стремясь облить икру только своими молоками.

Яростную, беспощадную битву затевают орлы в вышине, люди на земле, рыбье же царство вершит ее под водой. Серые-Ярые опьянели. Глаза их не видели, уши не слышали. Десять дней, десять ночей длилась великая битва.

Все забыли умные и мудрые Серые-Ярые. Все дни похода думали они о потомстве, охраняли косяк, но сейчас... Над ямками, полными нежной икрой, бьются они, брызжа упругими молоками, показывают ловкость и отвагу. Но все чаще чудится в их движениях усталость — все отдали они ради будущего. И уже плывут от тенистых берегов самцы, которые терпеливо выжидали, не участвуя в великой битве любви, предоставив другим участвовать в ней.

Млея от сладостного чувства, они жадно глотают золотистые зерна и, сыто подергивая хвостами, обливают остаток икры своими молоками. Они не умеют драться, мериться по-мужски силами. Они приходят после того, когда устают другие. Они довольны, они счастливы. И в яростной схватке мерзавцы жиреют.

А когда кончилось великое торжище, когда кончился огненный танец любви и все ямки были покрыты песком, увидел Серый-Ярый, что выбились все из сил. Многих не досчитался он. В пути погибли одни, другие, отдав себя до конца, качались на волнах с незрячими глазами. Но их потомки — много миллионов — лежали в песчаной колыбели, и чистая вода, лаская, омывала их. Через полгода заиграет у золотого светлого дна, заснует трепетная молодь. Как школьники, с желтой сумочкой на боку, поплывут по прозрачной воде.

Сильно исхудал, ослабел за месяц похода Серый-Ярый. Потускнели, потухли глаза, движения вялы. Едва плывет он вдоль берега. Невзрачен внешний вид его. Даже в ледяном северном море был он полон огня и силы, а сейчас, в теплой, ласковой реке зыбко вздрагивает он телом. Проглотил немного пищи, и клонит его в сон.

Но недолго туманит голову Серому-Ярому усталость. Он знает, нет в реке столько пищи, чтобы прокормить подвластный ему косяк. Может случиться страшное: изголодаются рыбы и самые слабые разроют заветные гнезда и станут пожирать икру. Это горе пережил он не раз. Сейчас уже ничто не насытит самок с провалившимися пустыми животами, только безбрежное щедрое море с его тенистыми джунглями может спасти.

Почувствовал все это Серый-Ярый и поплыл размашисто, кругами, обходя дозором косяк свой. Не песня походная была на сей раз в движениях его, другую песню пел он, полный великой любви и тревоги за потомство. Сильна и захватывающа была его новая песня.

Ожил косяк, и стали собираться по всей реке рыбы породы Азат-Мая, и снова, подчиняясь зову вожака, поплыли они за ним. Другие самцы, почуяв, что задумал Серый-Ярый, погнали, заторопили косяк в сторону моря.

Голубая луна кудрявит гребни волн, но не сверкают больше над ними серебряные клинки играющих рыб. Темна речная глубь, и торопливо, течением подгоняемые, дружно несутся к морю быстрые тени. Только самцы изредка обходят косяк, стерегут его от врагов.

У водопада, что все так же гремел валами и грыз камни, остановился Серый-Ярый, пропуская мимо себя косяк. Шли мимо усталые, свершившие великое дело рыбы, и он с грустью смотрел им вслед. Другим суждено отвести их в море.

Он повернулся головой против течения и медленно, превозмогая усталость, поплыл назад, к заветным ямкам. Ласкала ночная река, лунное серебро текло навстречу, звеня на камнях. Не покой, а тревогу несли с собой беспокойные струи. Вечная тишина стояла над миром, словно и не было совсем недавно радостного торжища и не волновалась морская и речная глубь от огненного танца любви.

Но знал Серый-Ярый — не кончена радостная песня. Он плыл назад, чтобы уберечь, выпестовать потомство, а когда придет время, привести миллионы новых Серых-Ярых в глубокое море, чтобы, повинуясь вечному зову жизни, повторили они через много лет великий поход, чудесную песню...

1958

ВОЛЧИЙ БРОД

День и ночь, день и ночь,— время в старой степи двигалось с неспешностью отары. И снова солнце застало в пути Айгуль и ее овец.

Эти долгие часы вовсе не казались унылыми Айгуль, привыкшей с детства к приволью, неповторимому разнообразию и непостоянству своей степи. Вот уже двадцать лет — с той поры, как война перестала разграничивать работу на мужскую и женскую,— Айгуль под скрип седла кочевала с пастбища на пастбище, от колодца к колодцу. В этом заведенном движении был свой порядок, и она уже знала, что холодный ветреный октябрь застанет ее верхом на коне, а весной, с первым ручьем от стаявшего в песках необильного снега, придется возвращаться ненадолго в поселок — отчитываться, как прошла зимовка, был ли падеж, сколько овец в отаре и какой получен приплод...

Но если Айгуль привыкла к неторопливому шествию отары, то не мог и не хотел привыкнуть к этому ее молодой конь, золотисто-рыжий. На длинном ремне он следовал за своей хозяйкой, небрежно переставляя сильные стройные ноги. Иногда он догонял ее, опускал морду на плечо, словно поторапливал. Утешить его можно бы куском сахара, но сахара у Айгуль не было. Тогда он переставал просительно шевелить пухлыми губами и с отчаянной решимостью, на свой страх и риск, рвался вперед. Сильным и ловким движением Айгуль сдерживала его, и конь на какое-то время покорно примеривался к овечьему ходу.

Уже довольно долго на солнце — впереди — блестела водная поверхность, и наконец отара достигла ее. Овцы

вошли в воду. По воде предстояло брести целый день, всю ночь и еще день — в это время года не удавалось быстрее миновать безбрежные разливы Сырдарьи. И только завтра к вечеру появится приметный горб песчаного холма, а там — теплые кошары, жилье для чабанов,— одним словом, все, что обещал председатель колхоза.

Этому разливу, как морю, не было видно конца. Летом-то тут — пыль. По обеим сторонам дороги сверкают твердые, как камень, солончаки. А сейчас над разливом, словно островки, торчали древние мазары. На одном из них чернела точка — огромный коршун, который тоже хорошо усвоил время перекочевок, сидел и терпеливо ждал, не отстанет ли в пути ослабевший ягненок.

А когда-то — в далекой древности — здесь не было так пустынно. Долина полноводной Сырдарьи стала для земледельцев колыбелью, и путника, проходившего здесь, долгие дни окружали их поля и сады: возделывали рис, пшеницу, ячмень, цвели вишня и хурма, наливались тяжестью арбузы и дыни. Так было, и Айгуль знала об этом по старым преданиям, которые сохранились у казахов с тех времен, когда они еще и не имели письменности.

По тем же преданиям она знала и о другом. Субудай-багадур, правая рука Чингисхана, глубоко презирал людей, которые, подобно скоту, предпочитают всякую траву горячему дымящемуся мясу. Кони монгольских всадников вытоптали посевы, а потом — набеги саранчи, ветры и кочующие пески доделали начатое: пустыня подошла вплотную к берегам реки. Арыки, сохранившиеся с древности, ничего, кроме вреда, не приносили: из глубин земли они вытягивали соль, и соль белой накипью выступала на поверхности, уничтожая все живое, и еще арыки давали пристанище злому малярийному комару.

В наше время понадобилась не одна пятилетка, чтобы установить какое-то равновесие между полями и пастбищами, чтобы рис и пшеница не враждовали с овцой и конем. Но вот бесноватую реку все никак не удавалось обуздать.

Чего только не выделывала Сырдарья! Порой ее щедрость невозможно было отличить от злобного коварства. Стоило на минуту упустить из виду ее нрав, и река спешила напомнить о себе: топила ягнят, а подчас — не только ягнят, но и взрослых овец, размывала рисовые поля, широким мутным потоком захлестывала аулы и

села. Ветер рябил воду на их улицах, а когда ненадолго унимался, в разлив, как в зеркало, смотрелись проплывающие мимо облака.

У Айгуль были опасения, что так может случиться и в нынешнем году. Река не станет ждать. Она возьмет и прорвется! И тогда поди попробуй с ней справиться!

Айгуль с завистью думала, что соседи — таджики, узбеки — находятся куда как в лучшем положении. В своем течении на их землях Сырдарья почти никогда не замерзает. А даже если лед и остановит ее постоянный бег, все равно — река вскрывается на добрые две недели раньше, чем в низовьях. Там не приходится, как здесь, пробивать заторы, чтобы избежать наводнения.

За годы одиночества у Айгуль выработалась привычка разговаривать вслух. Вот и сейчас она обратилась к самой себе:

— Сколько же нам еще терпеть от нее!.. Нет, так больше нельзя. Сколько всего у нас сделано, а вот что касается скотоводства, то мы, казахи, как были кочевниками, так и остались! Я помню, читала,— в Казахстане сотни, многие сотни рек. И ни одну еще мы не усмирили. Что хотят, то и делают!

Очень давно уже приходили эти мысли в голову Айгуль, и она все собиралась высказать их на каком-нибудь ответственном совещании или собрании — хотя бы на сессии Верховного Совета, куда она ездила много лет как почти бессменный депутат своих земляков. Она много раз принималась обдумывать свое будущее выступление, фактов, доводов и предложений у нее было хоть отбавляй, и они теснились, мешали друг другу, не хуже чем овцы, когда их пригоняешь на водопой к колодцу.

Овцы брели по воде, и с длинной неостриженной шерсти сыпались сверкающие капли.

Во время своих депутатских поездок по области Айгуль встречала многих людей: таких же чабанов, как она сама, рисоводов, строителей оросительных систем. Она хорошо представляла себе их нелегкую работу и знала, в чем кто из них нуждается. Она не расставалась с ними и в долгие ночи зимнего одиночества — припоминала поездки, разговоры с этими людьми, и ей становилось легче переносить стужу и ветер и разные неожиданности, которые всегда поджидают человека, идущего с отарой в степи.

От Сырдарьи до их отгонов строился канал. Когда она туда приезжала, то постоянно слышала: «Пусть ав-

толавка почаще заглядывает», «Кино сколько уже времени не показывали», «Может, кто-нибудь покажет сюда дорогу артистам из города». Но главное: «Воды!.. Воду пусть возят без перебоев». Про воду ей можно было и не объяснять, она и так добилась двух лишних автоцистерн. Но в пустынной степи воды не всегда хватало для питья — ее распределяли на участках литровыми банками. Что уж тут говорить про умывание! А попробуй поторчи весь день в душной кабине бульдозера или скрепера, в жаре и в пыли...

От этих мыслей ее вернуло к отаре жалобное блеянье ягнят. Один из них — такой же, как все, лопоухий, угольно-черный, в мокрых завитках — хотел было лечь, но кругом по-прежнему была вода, и ягненок судорожно заспешил — вслед за матерью, которая беспокойно озиралась и подзывала его короткими вскриками.

Айгуль взяла ягненка на руки. Но тут ее конь, потеряв всякое терпение от бесконечных остановок и задержек, снова ткнулся в плечо. Она едва сохранила равновесие, а ягненок упал и изрядно хлебнул воды, успевшей осолониться. Он долго чихал и облизывал губы. Айгуль подхватила его, вытерла мордочку. Она быстро зашагала, не разбирая, где глубоко, а где мелко, и ее резиновые сапоги наполнились водой, подошвы клеились к раскисшему солончаку.

Стоя, как аист, на одной ноге, Айгуль разулась и понесла ягненка к телеге. Эту самодельную колымагу, куда она устраивала обессилевших малышей, тащил верблюд.

Верблюд со своей высоты презрительно щурился на старика, который вел его. Верблюд решительно не одобрял этой затеи — тащиться по воде за сто верст, как будто не могли обождать, пока все здесь подсохнет.

Старик, помощник Айгуль, сердито хмыкнул, когда она поравнялась с телегой и положила ягненка.

— Набралось там уже до полсотни,— сказал он, не останавливаясь, продолжая вести верблюда в поводу.— До вечера еще далеко, дорогая моя Айгуль! А овцам время пришло... Ты их не сагитируешь, чтобы они потерпели. Прямо на воде будут рожать? Придется резать...

— Вы одно знаете — за нож хвататься!— раздраженно сказала Айгуль, хоть и сама хорошо знала, что план есть план и надо его выполнять, и все же не могла избавиться от чувства щемящей жалости.

— Я могу даже выбросить нож, если он тебе так ме-

шает,— продолжал старик.— А ты — вернись к овцам и уговори их подождать... Нет!— разозлился теперь и он.— Как будто не знали! Зоотехник, что ли, не знал, когда начнется массовый окот? Или ты не знала?

Айгуль трудно было что-нибудь возразить, но нашлись у нее и смягчающие обстоятельства.

— А что я могла сделать? Или что мог зоотехник? Как назло, ни один из ветряков на колодцах не качал воду. Чем бы мы стали поить овец на зимних пастбищах? Да что я вам объясняю, как будто вы сами не знаете!— снова вспыхнула она.

— Ладно,— примирительно сказал старик.— Я дольше тебя живу на свете... И помню, один только раз было, чтобы так сразу наступило тепло, чтобы весь снег сошел чуть ли не за один день и одну ночь. Вот и пришлось нам бежать от безводья.

— Не знаешь, что и выбрать,— вздохнула Айгуль.— Чтобы овцы и ягнята подохли от жажды или чтобы захлебнулись в воде!

Но теперь старик не мог или не хотел уняться:

— А что же, Айгуль, мы ветряки для украшения у себя поставили? Чтобы они просто махали своими крыльями?

— Не знаешь? Они воду должны качать.

— Да, воду... Одно колесо крутит другое, зуб за зуб цепляется, вода идет наверх. Зоотехник, перма, баскарма[1]— они должны работать как хорошо пригнанные шестерни. А у нас что?.. Колодцы есть, ветряки поставлены, а воды — нет! Трубы, видишь ли, не могли подвезти, чтобы заменить негодные!

Айгуль и на этот упрек нечего было ответить, и она предпочла промолчать. Она ушла, но пришлось вернуться — еще один ягненок свалился в воду. И как только она опустила его в крытую телегу, весь этот детский сад начал жаловаться ей на разные голоса.

— Голодные,— сказал старик.

Айгуль, продолжая идти рядом с телегой, поглаживала мордочки ягнят, которые беспомощно тыкались между деревянными боковыми ребрами.

— Придется потерпеть,— утешала она их.— Придется вам до захода солнца потерпеть и завтра — весь день. А там уж насосетесь досыта!

---

[1] Перма — искаженное: заведующий фермой; баскарма — председатель.

— Смотри! Смотри! Унесет!..— прервал ее уговоры старик, показывая рукой в сторону отары, которая растянулась по воде.

Тишину весеннего дня прорезал свист огромных крыльев, потом раздался глухой шум падающего тела — степной орел свалился с неба.

Айгуль сперва испугалась, а потом захохотала:

— Ну и пусть!— крикнула она.— Такого обеда ему никогда еще не доставалось!

Не разобрав, орел кинулся на сапоги, которые оставила позади Айгуль,— на голенища, торчавшие из воды. Уже готовый вцепиться выпущенными когтями, орел сообразил, какую он допустил непростительную оплошность, и метнулся в сторону. Больше он ни на кого не нацеливался, а постарался убраться подальше от такого позора.

Орлиный промах развеселил Айгуль, но ненадолго. Позади от горизонта отделился всадник. Он гнал коня, и конь разбрызгивал воду. Заметив, что возле отары Айгуль нет, всадник свернул к телеге. Он еще издали начал размахивать шапкой, давая понять, что дело у него очень важное и очень срочное.

Это был Берден, чабан из седьмой бригады, и то, что он, не успев подъехать, окликнул ее: «Товарищ депутат!..», тоже не предвещало ничего доброго.

Возле телеги Берден осадил коня.

— Товарищ депутат!— повторил он.

— Ты, Берден, хоть бы слез с коня,— сказала Айгуль, конь под ним тяжело дышал.

— Некогда... Я догнал вас, потому что дело у меня плохо... Через час, самое большее, все ягнята у меня захлебнутся. Волчий Брод впереди...

Старик, не расслышав, о чем он, крикнул:

— Волков испугался? А что же твои собаки?

— Волков кто боится?..— отозвался Берден.— Я про Волчий Брод говорю. Овцы с помощью аллаха перейдут. А ягнята? Мне их спасать надо!

Айгуль не надо было разъяснять про Волчий Брод. Этот овраг, длиной в добрые два десятка километров, в дни весенних разливов Сырдарьи заполнялся водой. Миновать его стороной не было никакой возможности. Айгуль на этот раз повезло: ее отара прошла Волчий Брод накануне вечером, когда вода до него еще не дошла. А так Волчий Брод оправдывал свое название, ни в одну весну не упускал случая поживиться овцами.

Каждый новый председатель колхоза обещал поставить там мост, но моста до сих пор не было.

— Если бы я один...— продолжал Берден.— А то следом за моей еще две отары подходят к Волчьему Броду.

— Еще две, говоришь?

— Да, только я издали не мог разглядеть — чьи. А к вечеру или ночью и другие, должно быть, подойдут.

— Что же вы, бедняги, не догадались хоть какую телегу оборудовать?— повернулся к ним старик.

— Телега!..— проворчал Берден.— Это шайтан знает что такое, а не телега!

Да, телегой его сооружение можно было назвать очень условно: два старых колеса от мотоцикла, два передних — от плуга, по бокам — решетка юрты. И все это сверху покрыто кошмой.

Айгуль взяло зло на Бердена. Что за беспомощный! Недаром же говорят, что у них в доме он без разрешения жены шагу ступить не может! А еще штаны носит!.. Не мог сам все сообразить и сделать. К ней кинулся, как будто она может на руках перетаскать его ягнят через Волчий Брод.

Но она сдержалась, не выдала раздражения, овладевшего ею. Айгуль спокойно сказала:

— Хорошо... Езжай к себе. Я догоню.— Она подошла вплотную к старику.— Вот... Такое дело. Придется мне наведаться, посмотреть, что там у них. Возможно, к ночи я вернусь. А если нет, отара пусть идет, как шла. Вы только последите, чтобы собаки за мной не увязались.

Старик поднял на нее бесцветные глаза.

— В мои времена,— сказал он,— мужчины приходили на помощь женщинам. Может быть, теперь делают иначе? А Берден этот! У-у, ахмак[1]!.. Была бы у него своя отара, разве он пустился бы в путь, не наладив хоть какую телегу? Про мою сказал: «это шайтан знает что такое». Да как хочешь ее назови, лишь бы ягнятам помощь. А теперь перепугался Берден и решил депутата в свидетели взять, что ничего не мог поделать, не мог предотвратить беду... Тьфу!— сплюнул старик и зашагал дальше.

Айгуль вернулась к сапогам — голенища торчали над зеркальной поверхностью, вылила из них воду и обулась.

---

[1] Ахмак — болван.

Легко вскочила на своего рыжего красавца и повернула его назад.

Застоявшемуся коню было все равно куда — лишь бы не плестись в хвосте отары, и он с места пошел вскачь.

Позади раздались хриплые возгласы:

— Кях!.. Кях, кях! Кях!..

Это старик отзывал собак.

Айгуль со своей отарой не так чтобы очень далеко отошла от Волчьего Брода, и резвый конь вскоре донес ее туда.

На противоположном берегу неизвестно чего ждали отары. Не только отара Бердена, а еще две. Над овцами возвышались верблюды, они были навьючены разобранными юртами и домашним скарбом. Два молодых чабана, завидев Айгуль, поспешили к ней на своих конях. На чабанов, как их привыкли представлять, они не очень были похожи. Старательно сделанные прически, словно ребята только что вышли из парикмахерской в райцентре, у одного даже что-то вроде галстука, а второй — в пестром свитере. Мальчишки. Только в прошлом году кончили школу. Какой от них толк в степи?

Айгуль сухо ответила на их преувеличенно почтительные приветствия и спросила:

— Вы помните, может быть, о чем мы договаривались перед тем, как нам расстаться?

Они смущенно переглянулись.

— Мы помним...— начал один.

Другой пришел на помощь товарищу:

— А разве самое главное, чтобы мы помнили? Завфермой вчера приказал: марш, говорит, хватит торчать на месте...

Айгуль тронула коня. Он нерешительно вступил в мутный поток. Вода подходила ему под грудь, и ноги Айгуль тоже погрузились в воду. Она и сама сейчас, не хуже чем этот поток, бурлила от возмущения. Как это из-за глупости, из-за нераспорядительности одного человека люди с отарами попали в беду...

Чабаны продолжали объяснять и оправдываться:

— Мы-то спокойно могли переждать. У нас, на нашем участке, ветряк работал, вода была.

— И кормов бы там хватило. Но завфермой приказал...

Айгуль слушала их, стиснув зубы. «Завфермой приказал...» О, как хорошо она знала эту покорность, доставшуюся в наследство от старого аула! Покорность

вошла в привычку. Покорность избавляла от необходимости думать самому и принимать решения — и кое-кому была очень удобна. Но сейчас некогда предаваться горьким размышлениям. Айгуль, которой кричать хотелось от неразберихи, постаралась взять себя в руки.

— Хорошо,— сказала она, хоть и далеко было не хорошо.— Ваша жизнь на пастбищах только начинается... Вы хотите прожить ее чужим умом? Но это на будущее. А сейчас — снимайте с верблюдов решетки от юрты. Соединим их по три, по четыре. Поняли? Получатся плоты. Каждый из них поднимет по двадцать, пускай по пятнадцать ягнят. А взрослые овцы и сами пройдут, ничего с ними не случится.

В наш век удивительных технических чудес это предложение отдавало первобытной простотой. Казалось, куда созвучнее эпохе пригнать сюда экскаватор, сделать насыпь, настелить доски — и хоть сто отар смогут переправиться через Волчий Брод, не потеряв ни одного ягненка. Но бывают такие обстоятельства, когда не приходится задумываться — по старинке действуешь или не по старинке.

Переправа заняла много времени.

Чабаны суетились, кричали, спорили: ягнята еще не были помечены, и чабаны боялись, что они перемешаются, и потом разберись — где чей. Кажется, они скорей были готовы потерять ягнят, лишь бы те не попали в чужую отару.

Айгуль наконец не выдержала и закричала на них:

— Хватит! Хватит! Выйдем на сухое место, там и разберемся. А если что — я буду отвечать!

Возможность переложить ответственность на чьи-то плечи устроила и двух молодых чабанов, и особенно — Бердена. Они смирились и начали действовать, и вскоре страшный Волчий Брод остался позади.

Отары всю ночь шли по воде, по той дороге, которую накануне уже проделала Айгуль. Каждый верблюд и каждый конь тащили за собой решетку, на которой вповалку лежали ягнята. Измученные не меньше овец, собаки все же не забывали про службу. Их лай слышался то справа, то слева, то позади. И чабаны спешили на их голос и подбирали обессилевших ягнят.

Наступило утро, и повеселевшие чабаны подъехали к Айгуль. Она — в надежде, что ее помощник, старик, все сделает, как сделала бы она сама,— всю ночь не отлучалась от этих трех отар.

Первым заговорил Берден:

— Слава аллаху, ночь прошла благополучно. Я думаю, теперь все обойдется. А ваш старик, наверное, совсем измучился там в одиночку. Не бойтесь за нас, езжайте к своей отаре. Мы все сделаем, товарищ депутат, как вы приказывали.

Усталая Айгуль улыбнулась:

— А почему я должна приказывать? Вы — чабаны, и я — чабан...

— Нет, Айгульжан, я хотел сказать — как ты советовала...— Когда Берден называл ее «товарищ депутат», он всегда обращался к ней на «вы», а когда говорил — Айгуль, то это напоминало, что они выросли в одном ауле и что много лет идут по одной чабанской тропе.

Берден уже собрался ехать дальше, но неожиданно воскликнул:

— Ойбай!.. Что это с моим верблюдом?

Но ничего особенного с верблюдом не случилось. Верблюд просто стал. Он дернул веревочные постромки, один раз, другой — и замер на месте. Решетчатый плот зацепился за что-то. Ягнята, очутившиеся в воде, вскочили на ноги и подняли жалобный писк.

— Ничего не понимаю,— растерянно обернулся Берден к Айгуль.— Вода поднимается. Тонут ягнята...

— Да не может вода подниматься,— отозвалась Айгуль.— Я же знаю это место.

— Как не может? Смотри, затопляет плот. Не уезжайте, товарищ депутат...

Берден то начинал понукать верблюда, который отвечал недовольным ревом, то шапкой вытирал вспотевшую от волнения шею. Замахнувшись на верблюда, он выронил шапку и потянулся за ней, но шапка — уплывала.

— Куда же ты?— крикнул Берден и вдруг остановился.— Ничего не понимаю! Почему шапка плывет в ту сторону? К Сырдарье, что ли, собралась?

Айгуль в недоумении смотрела: а ведь берденовскую шапку в самом деле понесло против обычного тока воды, понесло по направлению к реке. Что-то непонятное творится...

— Стой! Стой!— крикнула она Бердену, который уже догнал шапку и наклонился, чтобы схватить ее.

Берден выпрямился:

— Ты хочешь, чтобы шапка пропала? Чтобы Сырдарья подарила ее Аралу?

— Ты не понимаешь!

Айгуль спрыгнула с коня, сорвала с шеи шарф и, не раздумывая, бросила в воду.

Шарф тоже понесло в сторону Сырдарьи. Шарф догонял шапку Бердена. А мохнатая шапка ткнулась в пузатую овцу, которая испуганно шарахнулась в сторону.

— Остановите отары!— громко закричала Айгуль.— Пусть отдохнут овцы! День переждем, а завтра можно будет уже по сухому добираться! А вы знаете, кто нам помог? Строители! Строители, которые копали канал от Сырдарьи на отгоны!

Айгуль бывала там не раз. Она помогала строительно-монтажному управлению получить недостающую землеройную технику. В областном центре добилась того, чтобы ускорили отправку рабочих. Строители торопились, но были скупы на обещания. Считалось, что канал будет закончен где-то в середине лета. А раз вода сейчас убывает,— значит, они сумели опередить время. На два месяца раньше закончили. Новый канал жадно впитывает разлившуюся воду, чтобы нести ее в пески, на далекие отгонные пастбища.

Айгуль не дослушала чабанов, которые шумно радовались такому исходу. Она, словно шестнадцатилетняя девушка, взлетела в седло и помчалась догонять свою отару.

Айгуль могла бы и не торопиться так, но ей трудно было оставаться на месте, и рыжий конь, словно понимая ее настроение, птицей стлался над водой.

А воды становилось все меньше.

1961

ПЕРВЫЙ ФОНТАН

Асанбай две смены подряд пробыл на буровой, а когда заступила третья, решил наведаться домой.

Был уже четвертый час ночи. Но что поделаешь, надо же хоть раз в сутки показаться дома. Ажар, его молодая жена, будет ждать, не сомкнув глаз, даже если он останется на скважине и третью смену. Видно, от постоянного недосыпания у Ажар стало пропадать молоко. Если так будет продолжаться, четырехмесячного Тельгару придется отнять от груди.

Асанбая трудно узнать: он весь покрыт густой пылью, длинные черные волосы его стали от пыли совершенно белыми. При зыбком свете единственной тусклой лампочки Ажар кажется, что ее муж сейчас похож на могучего лохматого буру[1], осыпанного инеем в свирепую стужу. Мягкая, словно мука, пыль белела на его густых черных бровях, на ресницах, на крыльях прямого крупного носа, на щеках и скулах.

Но Ажар любит, когда он так выглядит. Ведь именно таким он внезапно появляется перед ней. Ее щеки вспыхивают, а черные глаза сверкают весело и нежно. Ради этого удивительного мгновения она не спит ночи напролет и терпеливо ждет мужа.

А по правде сказать, вовсе ведь не уродлив огромный горбатый верблюд! Когда он идет степью, высоко подняв голову, могучий, большой, с тугими горбами, с инеем на черной гриве, вид его весьма внушителен и даже грозен. Ажар, выросшая в степи, любила этих силь-

---

[1] Бура — порода верблюдов.

ных, гордых животных, она подолгу рассматривала их, глядя снизу вверх.

Подпрыгнув, Ажар повисла на шее Асанбая. Он легко, без всякого усилия, поднял ее, словно маленькую девочку.

— Опять не спала?

— Что поделаешь, если сон не идет...

Тонкие пальцы Ажар проскользнули в его волосы. Над головой Асанбая облаком повисла белая пыль. Но это ее не смутило, легкими движениями пальцев она продолжала стряхивать пыль с волос мужа, пока они не стали черными, потом ее яркие губы потянулись к его жестким, запорошенным той же пылью губам.

Пыль на Мангышлаке особая: легкая, мягкая, словно мука. Такой пыли нет ни в Кзыл-Орде, ни в Туркестане. Может быть, такая же пыль лежит на дне лунных озер. На Мангышлаке стоит двум машинам пройти друг за другом, как поднимается гигантская завеса пыли и, разрастаясь, окутывает, застилает все небо, будто на этом месте взорвалась атомная бомба. Вольно мчатся по необъятной степи капризные верткие вихри. Возникнет вдруг пыльная воронка, и тотчас тугой столб смерча устремится в небо. Ввинчиваясь в раскаленный воздух, он бродит по отрогам и сухим долинам, словно упиваясь своим удальством.

— А теперь иди умойся. Чай уже готов,— сказала Ажар.

Пока Асанбай умывался, она разобрала постель в крохотной, как конура, спальне. Мангыста — еще не обжитая степь, ее не украшают благоустроенные города. И не бьют пока в этой степи фонтаны нефти. И инженер Асанбай живет пока в скромном домишке с узеньким коридором, где с трудом могут разминуться два человека. В голой выжженной солнцем степи наспех было сколочено несколько бараков. Стены их потрескались и рассохлись.

Асанбай умылся и едва сел за стол, как в коридоре послышались шаги. Тяжело ступая по скрипучим половицам, в комнату вошел бурильщик Бейсетай. Он вернулся домой тоже после второй смены вслед за Асанбаем.

— Не могу уснуть, Асанжан,— сказал он.— Если не будешь ругаться, я пойду на третью смену... Чувствую, не спать мне сегодня.

— Отчего так, Бейсеке? Или Айнель-апа постелила тебе жесткую постель?

— Тараканы не дают спать,— проворчал Бейсетай.

Асанбай насмешливо посмотрел на него. Дело в том, что тараканов в бараке действительно было немало. Но старый хитрец Бейсеке говорил, как видно, совсем о другом: его соседом по квартире был шофер Тараканов, человек шумный и бесцеремонный. Совсем недавно он женился на буфетчице, невесть откуда приехавшей на промысел. Молодожены оказались людьми беспокойными и надоедливыми. Однако вовсе не соседи вынуждали Бейсетая идти на третью смену. Таракановы были лишь поводом. Бейсетай перехватил насмешливый понимающий взгляд инженера и смущенно проговорил:

— Если я хоть что-нибудь понимаю, тот, кто проспит сегодняшнюю ночь, много потеряет... Ну, если ты не возражаешь, я пошел.— Байсетай повернулся, и под его ногами заскрежетали, застонали рассохшиеся половицы.

Асанбай и сам понимал, что приближается решающая минута. Он тоже боялся проспать, прозевать эту минуту, оттого и пропадал по две-три смены у скважины и лишь ненадолго забегал домой. Старый Бейсетай что-то чувствует: как-никак всю жизнь работает на промысле, каким-то чутьем угадывает скрытый пульс земли. Конечно, что и говорить, Бейсетай — опытный бурильщик, но ведь и он, инженер Асанбай, тоже уверен в своих расчетах. Но кто знает... Всякое может быть... И Асанбай не выдержал, вскочил:

— Подождите, Бейсеке, подождите...

Бейсетай нехотя вернулся к столу, узловатыми, бурыми пальцами взял с тарелки пышный, румяный баурсак[1] и, сказав «бисмилла!»[2], отправил его в рот.

— Это ваше предположение? Или приборы что-то показывают?— спросил Асанбай.— Вы ведь позже меня ушли со скважины.

— Приборы ли, сам ли... Не в этом дело... Главное, вот-вот должна пойти нефть. Бур сегодня тяжело шел — вот я и подумал: в мою смену пойдет... Надеялся... А не вышло. Эх, как рванулась бы она вверх! Столбом прямо в небо! Да так, чтобы самого отшвырнуло!

— Что вы, что вы, аксакал!— испуганно воскликнул Асанбай.— Если упустим нефть, никто нас по головке не

---

[1] Баурсак — пончик.
[2] Бисмилла! — Господи, благослови!

погладит. Затем и торчим у скважины день и ночь, чтобы не рванула...

— Э-э, все скважины на промыслах заковали... Пусть хоть одна вырвется на волю. Пусть хлынет мангыстауский фонтан до самого неба. Чтобы все рты открыли от удивления. Тогда и киношникам будет что снимать и писателям будет что описывать. Фонтан... Чтоб клокотала нефть до звона в ушах.

Асанбай восхищенно смотрел на старого мастера:

— А вы, оказывается, опасный человек, Бейсеке.

Оба весело засмеялись. Инженер и буровой мастер уже привыкли понимать друг друга с полуслова. Асанбай подхватил на вилку соленый огурец.

— Сам посуди, Асанжан, литр бензина стоит три копейки, стакан газводы тоже три копейки. Выходит, нефть в пять раз дешевле сладенькой водички. А коли так, не грех и пустить ее разок до самых облаков.

Асанбай не успел ответить. В комнату вошел пятилетний Мукатай, младший сын Бейсетая, он был совершенно голый.

— Пап, а пап,— недружелюбно оглядевшись, заговорил он,— я эти кривоногие штаны больше носить не буду. Я их выбросил. Вот и все. А на вот этом месте прямо вот так порвалось.— Он повернулся спиной к отцу и звучно хлопнул себя по тому месту, где протерлись штаны.

— Вот вредная баба,— проворчал Бейсетай,— опять подослала мальчишку. Только что ведь сидел на коленях и молчал. Ну-ка, идем... Ишь что придумала — кривоногие штаны...

Асанбай так и не сумел сказать мастеру, что он не прав, что не нефть дешевая, а сладкая водичка так дорога непомерно.

Как только мастер вышел, Ажар озабоченно сказала:

— Ешь побыстрее. Потом поспишь часок-другой...

— Часок-другой? Как бы не так. Сегодня это не удастся. Вот если обещаешь разбудить меня через полчаса, тогда попытаюсь уснуть.

— Хорошо, разбужу через полчаса.— Она сбоку незаметно, но пристально вгляделась в его лицо, оно осунулось и пожелтело, глаза глубоко запали. Из дому он ушел вчера и конечно же за сутки ничего не ел. Ишь, как уписывает за обе щеки... Ест колбасу с огурцом, а глаз не сводит с горячего бульона. Молодой инженер — голодный инженер.

— Тельгара, щенок сонливый, не проснулся,— с полным ртом, улыбаясь, сказал Асанбай.

К дому на большой скорости подкатила машина, резко остановилась. Ажар уже по звуку знала «газик» мужа.

— А это, кажется, за мной,— поднял голову Асанбай.

Гремя коваными сапогами, в комнату, не постучавшись, вошел Тараканов.

— Авария!

Больше никто ничего не сказал. Тоскливым взглядом Ажар проводила мужа. На столе остывал невыпитый бульон.

Еще не доехав до скважины, инженер понял, что там случилось. В степи, где всегда царили только пыльные смерчи, покачивался черный столб нефти. Где-то на огромной высоте иссякала его исполинская сила, и бархатно-черная масса тяжело устремлялась вниз. Издали казалось, что сквозь пыльную мглу шагал сказочный великан в причудливой шляпе. Фонтан ударил с глубины двух с половиной километров. Он вырвался на волю с яростным хрипом и свистом. Все ближе и ближе колеблющийся столб. Новость, как видно, уже облетела всех. Из поселка повалил народ. Вблизи вершина нефтяного фонтана была уже не черной — она рассыпалась тончайшим павлиньим оперением, ярким и переменчивым.

Едва «газик» остановился, к Асанбаю бросился бурильщик Николай Петров:

— Не удержали! Раствор слабый оказался...

И тут как из-под земли вырос Бейсетай.

— Какое там удержать!— с плохо скрываемым восторгом закричал он.— Погляди, как прет. Я только прибежал, а она — как рванет! Вовремя подоспел. Своими глазами увидел.

Асанбай быстро и пристально посмотрел на него.

Нефть гудела где-то во чреве земли и с грохотом вырывалась на поверхность, обдавая все вокруг горячим дыханием.

Любоваться фонтаном было некогда, его надо было как можно скорее укротить.

— Какая высота струи?

— Сорок пять метров,— ответил Петров.

— До вечера, значит, будет сто,— удовлетворенно заметил Бейсетай. Бурильщики еле сдерживали радость. Они готовы были смеяться, кричать от восторга, если бы

только улыбнулся Асанбай. Их будто и не тревожило, что нефть не удержали. Казалось, они забыли обо всем на свете, кроме этой крутой мощной струи.

— Это же целая река!

— Вот тебе и Мангыстау! Не пыльный он, а золотой оказался!

— Какая там река! Море!— воскликнул Бейсетай. Он не находил себе места от радости.— Тоже мне сказал — река. Если уж сравнить, то с самим Каспием! По меди Джезказган на первое место в стране Казахстан вывел. Дай срок, и пыльный Мангыстау будет первый в стране! Скажи, разве хоть одна из сорока скважин подвела нас?

К Асанбаю протискался какой-то посторонний человек, круглоголовый, узколобый, в полосатой безрукавке и помятых широких штанах, с огромным портфелем под мышкой.

— Вы доложили об аварии и ее причинах в вышестоящие инстанции?— подозрительно спросил он.

Этот человек к добыче нефти не имел ни малейшего отношения, он приехал из облпрофа и уже несколько дней подряд безуспешно пытался провести с нефтяниками собрание. Один раз ему даже удалось собрать людей, но, как назло, не оказалось на месте начальства, а какое без начальства собрание? Бейсетай был в числе наиболее злостных должников: он уже полгода не платил членских взносов в профсоюз. Вложив всю задолженность в конверт, он отправил к уполномоченному жену. Но тот заупрямился, сказал: «Пусть сам придет. Мне с ним надо поговорить».

Бейсетай с головы до ног оглядел уполномоченного и с грустью в голосе сказал:

— Было бы лучше, если бы ты пошел домой и выгладил свои штаны, а то вроде между ногами трехлитровый термос носишь...

— Перестаньте, Бейсеке,— нахмурился Асанбай.

Уполномоченный набросился на Бейсетая:

— Аварию наделал и радуешься! За это отвечать придется!

— Это ты видишь здесь одну аварию. А что народ радуется, до того тебе нет дела...

Асанбая вывел из себя этот разговор об аварии, и он раздраженно крикнул:

— Всем, кроме бурильщиков, отойти от скважины.

Люди отступили и нехотя начали расходиться. Только трое мальчишек лет шести-семи остались на месте.

Спустив штаны, они соревновались, кто выше пустит фонтан. Один из них был сын Бейсетая. Мальчишки перед этим поспорили, чей отец запустил нефтяной фонтан, и так как убедить друг друга они не могли, решили закончить спор по-своему. Увидев их, Бейсетай стал снимать пояс. Мальчишки разом вскочили и умчались, на ходу застегивая штаны.

Неистово рвется в небо горячая нефть. Дикий мангыстауский ветер валит на сторону упругий черный столб, раскачивает его, рвет на части его цветную шапку и поливает землю черным дождем. Вокруг скважины хлопочут люди в железных касках и брезентовых комбинезонах. Они черны и мокры, словно сурки. Возле скважины со стороны ветра выстроились железные и деревянные подставки, щиты, вышки на длинных неуклюжих ногах. С первозданной силой в сто двадцать атмосфер рвется из глубин земли первый мангыстауский нефтяной фонтан. Ясное дело, шапкой такую струю не накроешь.

Отделение связи поселка в эти дни не знало ни минуты покоя. Стоило отправить одну-единственную телеграмму о том, что в Мангыстау забила нефть, как Москва и Алма-Ата полностью захватили линию связи. Область поневоле перешла на самолеты. Один садится, другой взлетает. Все ловят Асанбая, норовят поговорить с ним. Но вокруг скважины контрольные флажки, и никому не позволено переступать этот круг. Никто не видит, что делают там в адском вихре нефтяники, как укрощают они разгулявшийся фонтан.

В полдень Асанбай говорил с Москвой и Алма-Атой, а потом уже никакие звонки не могли его оторвать от работы. Вместе с нефтью из недр пошел газ. Стихия словно решила испытать молодого инженера.

Наконец снова разговор с Москвой.

— Ну как, сумеете обуздать ваш знаменитый фонтан? Сами? Или помощь потребуется?

— Денька два еще придется повозиться... Но, думаю, сладим. Обойдемся без помощи.

— Как вы теперь оцениваете запасы мангыстауской нефти?

— Море!— невольно повторил Асанбай слова Бейсетая.

— Ого... Поздравляем...

С Алма-Атой разговор протекал иначе. Как-то неопределенно, полунамеком спросили про аварию.

«Кто-то уже шепнул»,— подумал Асанбай и рассказал обо всем прямо и подробно.

Как нельзя кстати оказалась на промысле Наргыз Жамболатова, председатель райисполкома. Она взяла в свои руки всю связь бурильщиков с внешним миром: носила охапки телеграмм, коротко сообщала о телефонных разговорах. Бурильщикам не то что отвечать на вопросы — повернуться было некогда. Наргыз привела к скважине женщин с горячей пищей, и тогда, сверкая на солнце, выстроились в ряд за запретным кругом термосы. Вся сегодняшняя еда бурильщиков в этих термосах — чай. Чай без сахара, крутой, коричневый, со сливками. Термосы то исчезают, то вновь появляются полные.

А фонтан по-прежнему рвется в знойное безоблачное небо. Нефтяники подбираются к нему все ближе и ближе. Пыль и газ. Нефть и пот. Горячее дыхание земли и раскаленное солнце. Прошел день, прошла ночь, а победа еще не видна. Все чаще бегают бурильщики к термосам... Наргыз принесла новые телеграммы: поздравляли нефтяники Азербайджана, Татарии, Башкирии... Усталость валила людей с ног, от голода кружилась голова. А нефть так же победно летела в небо. Но все сильнее и сильнее теснили, сжимали ее люди.

На другой день к обеду над вышкой поднялся красный флаг. Фонтан был укрощен.

Люди, наблюдавшие издали,— конные, пешие, на машинах, на верблюдах,— все разом хлынули к скважине. Впереди, точно искры от большого пламени, опрометью неслись мальчишки.

Радостная, возбужденная толпа подхватила бурильщиков. Мокрых, черных, полуживых от усталости, их качали, обнимали, целовали. Говорили все, но никто не слушал. Никогда еще Мангыстау не оглашали звуки такого ликования.

Во все концы полетели в этот день телеграммы только с двумя словами: «Фонтан укрощен».

Кое-как вырвавшись из объятий друзей, Асанбай пошел домой отдыхать. Все торопились домой.

И только один Бейсетай отправился в магазин покупать своему Мукатаю штаны.

1964

ИЗ РАССКАЗОВ С НАТУРЫ

КТО СТРЕЛЯЛ В ВОЛКА?

Нас было трое. Министр, ученый и я, писатель. У каждого за спиной связка фазанов. Их яркие перья блестят, переливаются на солнце, словно перья павлинов. Фазаны — сплошь самцы. Самок мы не стреляли.

Связки тащим с трудом. Мы набрели на глухое место, где, как видно, и человеческая нога не ступала, и где было полно фазанов. Одни после наших выстрелов падали камнем, другие — распустив перья. Были и такие, что попадали чуть ли не прямо в коржун. Охота была удачная, настолько удачная, что разговоров теперь, надо полагать, хватит на два года.

Нам давно говорили, что в пойме реки Или есть одно тихое местечко, где фазанов — видимо-невидимо. И действительно, посреди реки было три небольших островка. На них, видно, за весь год никто не бывал. Здесь рос густой тальник, джида и джингил. Кустарники так переплелись, что невозможно было пройти. А трава — по пояс.

Один из островков находился несколько в стороне. Кустарники там перемежались песчаными холмами. Посреди островка высилась одинокая могучая туранга.

Утомленные, но довольные удачной охотой, мы отправились на этот остров. Ведь настоящие охотники не отдыхают там, где много дичи. Мы тоже решили подальше уйти от соблазна.

Был конец августа, стояла сухая жара.

Мы вошли в теплую воду и медленно побрели к острову. Роста мы все подобрались среднего, один чуть пониже, другой чуть повыше. Связки фазанов волочились за нами по воде. И мы только сейчас поняли, что пере-

старались. Каждый из нас имел разрешение на трех фазанов. На троих, следовательно, приходилось девять. А настреляли столько, что едва несли. Всем было немного неловко, поэтому мы брели по воде молча.

Первым заговорил министр:

— Кажется, перегнули палку, а, джигиты? Задержат, неудобно будет.

— Ничего. Ночью поедем. Не заметят...— неуверенно ответил ученый.

Я промолчал. Но связка фазанов за моей спиной показалась мне вдвое тяжелее.

Добрались до острова и стали торопливо прятать свою добычу. Ученый проворно вырыл яму у подножия песчаного холма и закопал своих фазанов. Мы с министром спрятали свою добычу в кустарник возле одинокой туранги.

Настоящие охотники не разжигают больших костров, не дымят без толку на всю округу. Поэтому мы вытащили только термосы и поставили их перед собой. Истинные охотники щедры. Мы тоже раскрыли друг перед другом наши сумки, развязали узелки. Появились красные и белые головки бутылок. Не в правилах настоящих охотников поднимать шум. Поэтому мы тоже разговариваем тихо, сдержанно. Бывалые охотники всегда настороже. Мы тоже начеку. В руках держим чашки, но глазами зыркаем вокруг, а наши уши слышат каждый шорох.

— Ойбай, лань!— тихо вскрикнул вдруг ученый и мгновенно припал к земле. Шея его вытянулась и напряглась, глаза лихорадочно и хищно заблестели. Чашка его опрокинулась, по газете растекалась коричневая лужа коньяка.

— Это не лань, это косуля,— прошептал министр и тоже притаился, прижавшись к земле. Его чашка наклонилась, через край ее потекла струйка коньяка.

Я ничего не увидел, но тоже прижался к земле, опрокинув свою чашку с коньяком. Сердце запрыгало в груди.

Не было ни министра, ни ученого, ни писателя. Остались одни охотники.

К водопою через джингиловые заросли прошли три косули. Самка с двумя детенышами. Чуткие и трепетные, животные пугливо озираются, словно чуют опасность. Настороженность чувствуется и в поведении детенышей, но их еще не покинула доверчивость и детская шаловли-

вость. Их ушки насторожены, а сами они ласково жмутся к матери.

Один из детенышей вошел по колени в воду, робко обмакнул острую мордочку и поднял голову. Оглянулся, прислушался. Древний инстинкт как будто предостерегал его. Вот козленок снова наклонился к воде...

И вдруг мать-косуля со вторым детенышем прыгнули в сторону и, взметнув песок, мгновенно скрылись за холмом. Из зарослей джингила выскочил огромный матерый волк. Козленок прянул в воздух перед самой мордой хищника. Мы слышали, как лязгнули зубы. Козленок помчался по воде прямо на нас. От страха он сжался в комок и стремительно летел вперед упругими скачками. За ним, поднимая тучи брызг, грузно бежал волк.

Мои друзья схватились за ружья.

— Волка, волка бей!— нетерпеливо зашипели они друг на друга.

Хищник гнался за козленком, все более приближаясь к нам. Козленок делал отчаянные двухметровые прыжки, а волк, высунув язык, тяжело гнался за ним.

На берег козленок выскочил уже совсем обессиленным. Волк отстал от него всего метров на пять, но даже не запыхался. Почувствовав под когтями твердый грунт, он понесся быстрее. Расстояние между ним и козленком угрожающе сокращалось.

Козленок, видимо, заметил нас и шарахнулся в сторону, побежал по самому гребню песчаного холма. Волк уже разинул пасть, рычал злобно и глухо, глаза его стали белесыми от ярости,— казалось, стоит ему сделать еще один рывок или хотя бы клацнуть зубами, и не выдержит робкое сердчишко козленка.

Почти одновременно грохнули два выстрела. Козленок чуть споткнулся, перевернулся несколько раз через голову и застыл, зарывшись головой в песок.

Волк бросился в сторону и скрылся за бугром, словно его и не было.

Мы посмотрели друг на друга.

Термосы так и остались неоткрытыми. Каждый молча складывал свои вещи. Мы старательно отводили глаза друг от друга. Хмуро поплелись к машине. Убитый детеныш косули лежал на песке, вытянув вперед шею, черные выпуклые глаза его медленно тускнели. Никто и не думал его забирать.

С того дня мы, трое охотников, больше не встречались.

ТИМКА

В эту баню я начал ходить еще до войны. Она ютилась в темном тупике, не отличалась чистотой. Кроме того, чтобы помыться, приходилось выстаивать длинную очередь. И все-таки я привык к этой бане. В ней было жарко и уютно.

— Веник есть?— спрашивал я, когда в раздевалке дежурил русский банщик.

— Есть,— отвечал он и молча шел за веником.

Если дежурил старик уйгур, то в ответ на вопрос, есть ли веник, он отвечал так же коротко: «баг». Не «бар» и не «бах», у него получалось какое-то странное слово, которое я не в силах произнести.

Когда же обращался к третьему банщику, старому казаху, он вообще не отвечал мне, просто молча протягивал веник. Да и о чем было говорить? Каждый давно знал, сколько стоит веник.

Я так привык к этим немногословным разговорам, что считал: в бане и не может быть по-другому.

Тим, Тимоша, Ким, Симка, Дим, Димка... Это все имена одного человека. Никто не знал его настоящего имени. И я не знал. Не знал и не спрашивал.

Это был невероятно худой(в чем только душа держится), болезненный, неграмотный человек. Тот самый казах, что каждый раз молча протягивал мне веник.

Я хорошо помню, как он приоткрывал дверь в комнату ожидания, где томились в очереди люди, и хрипло кричал:

— Аден!

Это означало, что один может войти в раздевалку.

— Назат!— кричал он, когда вместо одного в раздевалку вваливались сразу двое:— Назат!

Зайдешь в порядке очереди — возьмет билет, покажет тебе свободный шкаф, нужен веник — даст. Потом обернется к двери:

— Аден!

Забитый, несчастный человек. Видно, что никогда досыта не ел, одевался как попало, да и работы хлебной не видал. Сам он тоже «аден», не один, а именно «аден»— один из одиноких. Всегда молчал или говорил всегда одни и те же слова.

Так прошло много лет. И вот однажды он подошел ко мне и с растерянной, жалкой улыбкой попросил одол-

жить ему десять рублей.— О-ошень нужно, агай,— сказал он.

Впервые за четверть века банщик обратился ко мне, впервые прямо взглянул на меня.

Я отдал ему все деньги, какие были со мной. Не помню сколько, но больше десяти рублей, даже всю мелочь высыпал ему в руку.

Он взял деньги, но благодарить не стал.

Сколько раз после этого я стоял в очереди в бане! Бывало, поглядывал на Тимку в надежде, что он сжалится и пропустит вне очереди. Где там! И не замечает. Очередь подойдет, впустит, возьмет билет. Если попрошу веник, даст. Возьмет за него деньги и отвернется. Вот и все знакомство. Мы почему-то даже не здоровались и по именам друг друга не знали. Уже четверть века мы были знакомые незнакомцы.

Как-то в бане я встретился с одним из наших именитых писателей. Он мне потер спину, я — ему. Помяли, поскребли, потешили друг друга. Довольные, уселись мы рядом и только было собрались перейти к городским сплетням, как услышали донесшийся из раздевалки крик Тимки: «Назат!» Кто-то, видно, вне очереди ворвался в предбанник. «Назат! Назат!»

И наш разговор перешел на Тимку. Писателю тоже были известны кое-какие странности банщика. Он рассказал, как однажды дал Тимке лишний пятак, и тот молча вернул деньги обратно. Я в свою очередь рассказал, как Тимка взял у меня взаймы. Мы безобидно, от души посмеялись.

Но вдруг писатель оборвал смех и подозрительно спросил:

— Ты почему мне об этом рассказываешь? Или пронюхал, что я тоже собираюсь просить у тебя взаймы?

— Да что ты! Тебе-то зачем занимать? У тебя же книга в тридцать листов выходит.

— Задерживают... Месяцев на пять.

— Ну что ж, пожалуйста. Сколько тебе надо?

— Двести.

— Хорошо, заезжай завтра.

— Только ты не подумай, что я как этот банщик,— сказал он,— займу и с концом, будто знать тебя не знаю. Как выйдет книга, тотчас верну.

Спустя несколько дней я уехал из города по делам, и месяцев пять в этой бане не был.

А когда осенью пришел туда, старики-банщики, рус-

ский и уйгур, поглядывали на меня и загадочно посмеивались. Тимки не было. Я спросил, не случилось ли с ним чего.

— И не спрашивайте, смех один...

— Что такое?

— Тимка в начале месяца ушел в отпуск...

— И теперь каждый день моется в бане. Вот смех-то...

— А по субботам и понедельникам торчит в бане с утра до вечера,— смеясь, рассказывали банщики.

— Зачем же он сюда приходит?— спросил я.

— Вас все хочет увидеть.

— Дело есть, говорит!

Видно, очень уж забавным казалось старикам, что у бессловесного Тимки может быть к кому-то дело.

— Сегодня ведь понедельник. Сейчас приплетется.

Не успели старики вдоволь посмеяться, как действительно, волоча ноги, пришел Тимка. Старики мигом перестали смеяться и отвернулись. Но приглядывались. Очень уж им было интересно, какое у Тимки ко мне дело.

И на этот раз не поздоровался со мной Тимка. Подошел, сунул куда-то за пояс брюк три пальца, вытащил что-то круглое, твердое, свернутое, точно пробка от пузырька для насыбая и вложил это мне в руку. Я подумал, что это или заявление, или письмо, развернул и увидел две склеившиеся липкие пятирублевки.

Должно быть, я покраснел, но Тимка даже не взглянул на меня. Отвернулся и пошел прочь.

— Тим... постой-ка!— окликнул я его.

— Сейчас,— ответил он и куда-то побежал.

Я опустился на лавку, продолжая держать в руке засаленные, потные пятирублевки. Они все еще были теплые.

Ко мне подошли старики-банщики, русский и уйгур, и с любопытством поглядывали на меня.

Я сидел и не знал, что им ответить.

Скоро вернулся Тимка. Но уже радостный, счастливый, с широкой улыбкой на изможденном лице.

— Ну-ка садись тут, со мной,— пригласил я его.

Но Тимка сесть отказался. Он протягивал мне еще какую-то мелочь.

— Вот, агай, остальные...

Трудно было заставить Тимку разговориться. Еще труднее было уговорить его взять деньги обратно. Я долго объяснял ему, что дал эти деньги вовсе не взаймы, а

просто так, потому что они были ему нужны. Но он только качал отрицательно головой. Я старался силком всунуть эти злосчастные бумажки ему в руку, но он не разжимал ладоней. И бумажки упали на мокрый пол, а медяки, глухо позванивая, раскатились, разбежались по всем углам. Что я мог с ним поделать? Я вскочил, обнял его за плечи.

— Родной мой дружище! Если не возьмешь деньги, я на всю жизнь обижусь. И больше никогда не приду в эту баню. Ты просто не уважаешь меня...

Помню, я не жалел тогда слов, чтобы уговорить Тимку, этого робкого, тихого банщика.

Наконец он согласился и взял деньги.

Успокоенный, я пошел мыться.

Ошпарив кипятком свой веник, я зашел в парную и тут увидел своего знакомого писателя. Распаренный, красный, он яростно стегал себя веником, удобно устроившись на верхней полке. Меня он сразу заметил. Заметил и отвернулся.

Я не стал его смущать. Даже не подошел к нему.

Иногда хорошо, если в бане темно... Хорошо, когда парную заволакивает густой пар. Мой должник «незаметно» прошмыгнул в предбанник. И пока я мылся, успел уйти. С тех пор, встречаясь со мной, он торопливо проходит мимо и не замечает меня. Видимо, не узнает.

1965

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

1. РАССКАЗ СПИНЫ

О, то был настоящий удар. Удар в спину... Такого удара моя спина никогда не испытывала. Он меня в дугу согнул да пятками голову чесать заставил. Благодарение спорту: не быть бы мне живым, если бы не его закалка.

Раньше, в детстве, я тоже бивал в чужие спины и, не скрою, сам не раз оказывался битым. Но такого удара, столь неожиданного и сокрушительного... нет, такого мне не доводилось ни наносить, ни получать. Будь это не моя, а какая другая спина, скажем, пожилая, женская или детская, убежден — пришлось бы распроститься с головой, только бы и видеть, как она катится по мостовой.

В тот день немало голов покатилось...

А когда моя голова нелепо запрокинулась, я успел осмотреться. Но ничего не увидел — за мной была пустота. Да, это случилось мгновенно. Но человеческий взгляд, по-видимому, не менее быстр. Еще минуту назад здесь теснились высокие каменные дома. А теперь их нет, они исчезли. Осталась лишь пугающая черно-бурая дымящаяся гладкость. Помнится, большие пожары, сильные землетрясения, даже они оставляли после себя хоть что-нибудь: обгорелые стены, одиноко торчащие дымоходы, запыленные деревья, руины. А тут ничего не осталось, ровно ничего, словно ничего и не было. Невидимые обычно из-за высоких зданий горы теперь просматривались отлично: они были на своем месте. Еще я успел заметить, как с неба дождем падали удивительно широкие доски. То были крыши, опускавшиеся как бы после необычного, никогда им не снившегося полета. Среди сотен парящих крыш плавало нечто такое, что трудно было разглядеть. Но я узнал людей, вернее, их трупы.

Взлетели они, видимо, одновременно с крышами. Но там, в воздухе, кто-то их рассортировал по тяжести: трупы спускались гораздо быстрее. Некоторые из них своим видом напоминали кресты.

Все это я увидел, будучи согнутым в дугу, когда мои ноги и голова спешили навстречу друг другу, оставляя меня внутри своих необычных траекторий. Увидел, когда мой разум и мои чувства стали плохо слушаться меня, когда белое начинало казаться черным, а черное — белым. Увидел, когда упавший недалеко от меня черный камень вспыхнул, словно вата, ярким пламенем. Потом... Потом беспамятство, обморок, столбняк, одурение...

Последнее, что мне запомнилось,— это место, где меня настиг коварный удар. То — одна из окраин города с узкими улицами одноэтажных домов. Такие окраины японских городов удобны для жизни и по-своему красивы. Это, как правило, самые обжитые уголки города, их обживали еще деды наших прадедов. Дома там обнесены стенами, выложенными мелкими камушками, а небольшие дворы будто списаны с японского ландшафта: микроскопические горки напоминают настоящие японские горы, крохотные бассейны похожи на настоящие японские озера — те же реки, те же мосты. Низкие вишни, приземистые сосны. Обязательно хризантемы. Не двор, а густой подстриженный зеленый ковер... Японки так любят и умеют ухаживать за двором. В этом отношении им даже война не помеха.

Я шел по узким улицам, прислушиваясь к тихой и грустной мелодии. Японцы тогда не играли никакой другой музыки, кроме грустной, потому что им было стыдно за войну, которую они вели — не по своей воле. Было душно. Но я не замечал духоты: меня пленяли печальные звуки, доносившиеся из чьей-то усадьбы. Вот в таком состоянии и застал меня тот удар. Ошеломленный, я не успел увидеть, что стало с тем кварталом одноэтажных домов...

Когда и где я пришел в себя — это до сих пор остается для меня загадкой. Не знаю, как долго я лежу в оковах этой гипсовой колодки. Иногда кажется, что был без сознания недолго: день, два. Но говорят, что в американском институте военврач целых два месяца злился на меня. Какой, мол, упрямый болван, так долго скрывает, как и на каком удалении от эпицентра взрыва поражена его спина! Неужели не понимает, как нужна для военной науки его информация! Нет, он хорошо понимает.

Но не хочет, не желает говорить. Оскорблен?.. Обижен?.. Протестует?.. Но какой может быть протест, когда вся Япония покорно склонилась перед нами. Вся Япония лежит у наших ног, покорен император, покорилось твое солнце, глупый япошка!..

Нет, напрасно гневались на меня господин американский военврач и его коллеги из института, ибо я тогда вовсе не оскорблялся. Не до этого было. Возмущался я позже. После, когда боль от ожогов несколько затихла. Боль возмущения, горечь оскорбления, конечно, сильнее физической боли. Но пришла она позже, гораздо позже. Напрасно злился на меня американец... Совсем напрасно.

Нет, вовсе не упорствовал я, да и не мог упорствовать, потому что ничего я тогда не ведал, даже того, почему я, замурованный, нахожусь в больнице. Мое слабое сознание ничего не могло восстановить, кроме одного видения, того, что связано с ударом в спину. А что, собственно, я видел? Даже это нелегко было осмыслить. Осмысление пришло позже, гораздо позже...

Когда вернулось сознание, я спросил, почему лежу здесь.

— Ваш спина точно копия географической карты Японии,— пошутил доктор.— На правой лопатке расположился Хоккайдо... Великий Хонсю занял, как это и следовало, весь правый бок... Он отделяется от соседнего Кюсю узенькой здоровой полоской — проливом Симоносеки. Благодарите бога, что они, эти острова, разместились не на левом боку!

Когда именно, через сколько месяцев после удара я задал этот вопрос доктору,— не помню. Помню только, что не раз порывался задать его, но почему-то не мог.

Другой раз шутки доктора еще больше польстили моему самолюбию. Он сказал: «Вы отлично выглядите, дружок. Японский ландшафт, верьте, и тот позавидует вам. Горы? Вот они: Фудзияма, Асахи. Хребты тоже есть: узнаю Тюгоку, Кюсю. И даже Хиросима с Нагасаки изображены точно на своих местах, хотя их давно там нет. Нет, ни одна из географических рельефных карт военных лет не может соперничать с изображением на вас... Красивая, точная карта...

— Доктор, но как все это случилось?

Его глаза гневно сверкнули. Казалось, стекла очков не выдержат такого гнева. У японцев глаза небольшие,

умные и немного грустные. Но, бог мой, сколько, оказывается, накопилось возмущения в глазах веселого доктора! Они смотрели грозно, очень грозно.

— Танека Урико!— резко повернулся доктор к женщине средних лет.— Почему вы до сих пор не объяснили ему?

— Я объясняла... Я пыталась объяснить...

Да, она права, она пыталась мне растолковать, но я не соображал, как это можно вмиг уничтожить два больших города, убить половину их населения.

Доктор подсел ко мне.

— Прошу вас, будьте мужчиной, выслушайте спокойно. На два наших города американцы бросили атомные бомбы.— Было заметно, что доктор едва справляется со своим волнением.— Зачем? Ведь просил же я вас быть мужчиной. Ставили опыты. Первый раз для пробы, второй — чтобы убедиться, что данные пробной бомбежки не случайные... Что? Об этом нет единого мнения. Возможно, для того, чтобы окончательно прибить Японию, хотя она и так признала свое поражение... Да и союзников припугнуть нелишне... Войны всегда предполагают какой-то дележ — все всегда хотят урвать побольше, утвердить свое превосходство... Не так ли? Вот для чего, говорят, бросили они свои бомбы. А теперь отдохните. Полнейший покой.

— У меня была мать, была сестра... Нельзя ли связаться с ними?

— Как ваша фамилия?.. И где вы жили?

— В квартале «Утренней зари»...

— Этого квартала теперь нет...

— Мать работала в центральном парке...

— От парка осталось пустое место... А теперь молчи, отдохни...

Доктор прав, надо молчать... Горе здесь не поможет: если завоеванный народ начнет сетовать, оплакивать, будет убиваться денно и нощно, этим он наживет лишь желтуху и ничего больше!

С тех пор прошло двадцать лет. За это время меня шестнадцать раз клали в больницу. Шестнадцать раз латали спину. Очень нелегко таскать на спине такую ношу, как география целой страны. Разумеется, поражена моя спина не вся, на ней уцелели узенькие полоски здоровой кожи, точь-в-точь напоминающие, как говорит доктор, голубые полоски вод между многочисленными японскими островами. Вот и отрезают от этих полосок

и кладут на пораженные места. И так без конца. А там, где отрезают, появляются новые раны...

Теперь я страдаю белокровием. Белые кровяные тельца, увеличиваясь, все больше вытесняют красную кровь. Чтобы прожить двадцать лет, пришлось бороться немало. Буду и дальше бороться.

Мне еще нет и сорока. Очень хочется иметь свою семью. Но кто пойдет за меня? Жениться на больной белокровием? Не хочу, не желаю умножать на свете уродов. Пожалуй, доктор был прав. Надо быть мужчиной, надо быть терпеливым, терпеливым по-мужски.

2. РАССКАЗ ГЛАЗ

Айко я узнала издали. Она меня тоже. Девушки уже давно сидели в машине, а Айко дожидалась меня. Японки не любят кричать, у нас не принято громко кричать, и она просто машет своей сеткой с термосом — торопит меня.

Торопит потому, что нам надо ехать в соседний поселок, помочь отремонтировать там школу. Я застряла на другой стороне улицы: помешали подъехавшие к остановке встречные трамваи.

Дождавшись, пока они разъехались, я заторопилась к нашему школьному саду, туда, откуда Айко призывно махала своей сеткой. Школу окружал густой сад, и шум трамваев до нее не доходил. Я мчусь, не жалея ног. Мне стыдно заставлять себя ждать. Но вот уже слышу, как запели девушки, вижу, как Айко все нетерпеливей машет сеткой, волнуется за меня. Никелированная крышка термоса описывает, отражаясь на солнце, серебряные круги. Айко никогда не унывала. Она так умела смешить... И ей так шло ее милое кокетство...

Но вдруг случилось невообразимое, показалось, что лопнуло само небо. Но то, пожалуй, не небо, а мои уши лопнули. Ошеломленная, я посмотрела вверх. Там, над городом, стоял, упираясь в небо, столб, весь белый, будто из снега, стоял огненный столб, будто сделанный из огня и снега. Он сыпал огонь, он лил резкий до боли луч. Затем закипел, расширяясь вверху, раздался. Где покоилось его основание? Не разобрала. Говорит, какой толщины? Ну как бы вам сказать... В нашем городе, в самом его центре, был выставочный павильон, круглый такой дворец. Говорят, остов дворца сохранился. Мне кажется, столб тот будет потолще остова павильона...

В следующее мгновение я вспомнила школу.

— Айко! Айко!..— кричу, но не слышу своего голоса.

Ничего не вижу. Не вижу Айко, не вижу машин, не вижу школы. Исчезло все. Перед глазами одна черная пустота. Черная пустота всюду: и там, где стояла школа, и там, далеко за школой. Всюду копоть, черная пустота...

С шумом и треском повалились деревья, загораживая путь. Они обдали меня жаром. Горячие пуговицы на платье впились в тело. Потом неведение, мрак, черная пустота...

В ней, этой черной пустоте, прошли мои последние двадцать лет. То, что я вам говорю здесь, не передает и сотой доли того, что я видела тогда. Я говорю огонь, пламя, белый снег... Но разве это то, что было? Тому еще не придумано названия, тому еще нет сравнений. В нашем словаре нет таких слов, настолько точных и страшных, чтобы обозначить то. Смерть... гибель... катастрофа... нет, тоже не то!..

Мы говорим о железе, о камне, что они накаляются, плавятся. Но как сказать про железо и камень, если они мгновенно превращаются в пепел? Как, каким словом выразить это, когда на ваших глазах в одно мгновение исчезает целый город, превратившись в пыль?

Да, трудно выразить, но не это теперь меня заботит. Я двадцать лет пребываю в темноте. Говорят, что город отстроен, восстановлен. Говорят, что он стал краше и богаче, чем прежде. Мне так хочется посмотреть на него. Хоть одним глазом, хоть раз.

Этой надеждой — увидеть — я живу. Не могу и не хочу не надеяться. Первое, о чем я спросила доктора, когда пришла в себя, это о них, о моих глазах.

— Тетенька,— умоляла я,— скажите, что с моими глазами?

— Что же ты, милая, беспокоишься... Они очаровательны, как всегда.

— Ведь не ослепла же я?

— Нет, нет... Ты не видишь, это так. Но это пройдет, скоро пройдет.

— А как лицо, что с ним?

— Никаких серьезных изменений. Оно прекрасно, как белый мрамор. Красиво, как и прежде.

— А волосы?..

— Волосы пришлось сбрить. Но они быстро отрастут.

А где мои ноги, где руки? Есть ли они вообще, этого я не пытаюсь выяснить. Я беспокоюсь о лице, о глазах.

Тщетно пытаюсь нащупать их, но руки не слушаются, будто они не мои. Может быть, их давно отрезали? Ноги тоже как не мои, тоже непослушны.

Но глаза... Я верю, что они уцелели. Вернется зрение, а лицо накрашу, я знаю, как это делается. А может, ничего и не надо делать, ведь говорила же доктор, что лицо белое, как мрамор. Нет, она ошибается, у меня не мраморная белизна, у меня белизна несколько иная. И не у меня одной. Айко всегда завидовала моим глазам, говорила, что они черные-черные, а ресницы длинные-длинные...

Но вот что удивительно. Никто никогда не назвал меня слепой. Никто из всех, кто приходил сюда в течение двадцати лет. Это утешает меня. Поэтому я не прячу глаз. Смело смотрю туда, откуда раздается голос. Здороваюсь, улыбаюсь... Если бы я была безобразной, если бы мое лицо было в шрамах, а в черепе зияли глазные впадины,— нет сомнения, вы бы испугались.

Мне теперь тридцать пять. Когда я лишилась зрения, лишилась жизни, было пятнадцать. Но этих двадцати лет будто и нет: я не могу считать их жизнью. Мне все еще пятнадцать. Я все еще надеюсь, что прозрею. Мне пятнадцать, потому что надежда на прозрение не дает мне стареть.

Как только прозрею, пойду в школу. Говорят, что там вырос новый сад. Говорят, что школа теперь пятиэтажная. Говорят, что моя фотография висит на самом видном месте. А ведь оставалось всего год учиться. Как прозрею, первым делом окончу школу. А потом поступлю в университет, на новый факультет, детского питания.

Говорят, что уже нет той пустыни, говорят, что вокруг все зазеленело и что город забыл былое горе. Горе, печаль... Ясно, они не украшают город. Город должен быть нарядным, веселым. Но люди... Люди не имеют права забывать. Если вернется зрение, я мечтаю описать тот день,— описать увиденное ценою потери зрения. Я помню все. В первые годы надежда воодушевляла меня, и я бывало воскрешала в памяти все новые подробности. Теперь не то: теперь чувствую, что некоторые детали начинают тускнеть, теряют ясность. Если зрение вернется не скоро, боюсь, забудется многое...

Говорят, что после катастрофы забеспокоился весь мир, запротестовал весь свет. Я не знаю и не могла знать — находилась при смерти,— насколько решительным был этот протест. А как было у вас?

Не стало половины города, сгорело дотла. И это всего за две секунды. Мой город не был военным, в ту пору у нас жили одни женщины, дети да старики. Он никому не делал зла, никому не угрожал, в нем не было ничего особенного. Не могу до сих пор понять, чем и перед кем он провинился. Чем провинились мои подруги, ведь они хотели только добра — помочь отремонтировать школу соседей, у которых не осталось ни одного мужчины. Двадцать две девушки превратились в пепел, за одно мгновение превратились в пепел. Уцелела лишь я, двадцать третья. Говорю «уцелела»... Но что это за жизнь...

Эх, Айко, Айко! Ты была опорой слабых, на тебе держались беспомощные старушки из трех хижин. Ты поддерживала их лаской, своей всегдашней веселостью. А как ты умела готовить! Тебе было достаточно одного зернышка риса, одного пучка лука и кусочка рыбы, чтобы приготовить обед на целое семейство... Ты была ловкой, и в твоих умелых руках горело все. У тебя было не десять пальцев, а десять рук.

Оскорбленной душе порой хочется мщения. Хочется, чтобы буря людского гнева расплескала чай, который с таким аппетитом подносит к своим губам твой оскорбитель. Хочется, чтобы дом его покрылся пятнистой пылью, начиненной смертью. Хочется, чтобы и он испытал, что значит быть калекой... Чтобы калеками родились его дети, дети его детей...

Нет, я не мстительная. Но не верьте мне, если я скажу, что ни разу не жаждала мести. Я жаждала мести, и не раз. Но сдерживала себя, сдерживала так, что кажется, оно, это чувство мести, уже начинает презирать меня.

«Этого я не желаю даже врагу». Так говорят у нас. Так, пожалуй, говорят всюду. Мы — народ гостеприимный, добрый. И я не желаю этого никому. Не хочу беды ничьим домам. Не хочу, чтобы их жильцы жарились, подобно муравьям. Не хочу, чтобы вился пятнистый пепел над миром.

Ко мне приходит много людей. Все просят рассказать об этом. Возможно, мой рассказ покажется заученным, но ничего не могу поделать: мне приходится повторять его очень часто...

Я живу надеждой, я жива мечтами... Но осуществить их — не в моих силах. О чем, интересно знать, мечтают другие?..

Эх, если бы ко мне вернулось зрение! Прозреть бы, прозреть!..

3. РАССКАЗ КАМНЯ

Я — черный мрамор, я — черный камень. Я сверкаю после того, как побываю в руках человека. Я вижу все, решительно все. Человек не может смотреть на солнце, а я могу. Человек не всегда видит правильно: он любуется тем, на что смотрит, радуется, негодует, испытывает страх, когда смотрит. Я же смотрю на все просто, я вижу ясно, потому что мне не мешают чувства. Мне видно все и всегда. Я не вижу лишь ночью.

Я — черный мрамор, я — черный камень. Мне чужда радость, неведом страх. Мне чуждо волнение. Я передаю только то, что вижу. Мне нет дела, как будут использовать люди мои свидетельства.

То был не праздничный день. Тогда не было ничего, что напоминало бы о празднике. Тогда никто не улыбался, стыдно как-то было улыбаться, потому что над всеми тяготела война, все сознавали горечь поражения. В тот день мимо меня проходило много людей, много печальных людей. Прошли подростки, школьники, женщины, старики. Невеселые, неопрятно одетые. А еще раньше, рано утром, прошли рабочие, мрачные, запачканные и какие-то отчужденные. Даже девушки не улыбались. Дети... Те совсем забыли, что такое резвость. Женщины подавлены, дети поникли, вообще все люди стали невзрачными, стали ниже и меньше. Незаметно и тихо, без былого грохота, проехали военные машины.

Был ясный жаркий день. Утомленный зноем, мирно дремал лес, стояли, будто прислушиваясь к чему-то, деревья на улицах. Дремал и я.

Вдруг что-то вспыхнуло и нависло огненным столбом. Одним концом столб упирался в город, другим — сверкал на высоте полукилометра, образуя там бушующий колпак. Всюду хлынул поток небывалого огня, поток небывалого света. Город свернулся в трубочку, как бумага, брошенная в огонь, и исчез. Металл превратился в пепел. Камень — в пыль. Весь город превратился в пыль, которая исчезла мгновенно, будто ее проглотила какая-то чудовищная глотка. Осталось лишь место, где стоял город — выжженное и неровное.

Огненный поток швырял в меня людей, швырял пачками и в одиночку. Ударяясь, они отскакивали от меня. Отлетали ноги, руки. Вдребезги разбивались головы... Не приведи бог, чтобы человек бился головой о камень... Горел воздух.

На трамвайной остановке было людно. Не успев отъехать, вспыхнул переполненный трамвай. Вспыхнул и исчез, лишь на мгновение обнажив свой металлический каркас. Не стало и людей: и тех, кто успел пролезть в переполненный трамвай, и тех, кто не успел. Они сгорели, не ощущая того, что горят. Не приведи бог слышать, как семьдесят пять тысяч человек стонут, сгорая! Не приведи бог видеть, как пожирает пламя тысячи невинных детских глаз, как вспыхивает форма на тысячах школьниц, как их обнажившиеся тела шипят и жарятся в огне! Слава богу, все кончилось быстро, так быстро, что даже змей не успел бы высунуть язык. Город превратился в черную пустошь. На ближайшем склоне горы обнажились большие, как убитые слоны, камни; листья деревьев исчезли мгновенно, как исчезает вспугнутая кем-то стая осенних птичек.

Потом подул сильный ветер. Подул завихренно, порывисто, желая, как казалось, прогнать злую силу, которая так внезапно развеяла город. Ветер был зол и решителен: попадись ему дом, даже дом бедняка, снес бы, не пожалел. Но ничто не препятствовало ему, и ветер, который всегда обнимал каждое дерево густых, как бор, парков, теперь одиноко несся по горячим кучам черной сажи, задыхаясь пепельной пылью.

Потом появились первые признаки жизни: выползли, удивленно озираясь, дети. И было чему удивляться: такую трагедию мир узнал впервые. Ее создали люди, чтобы губить друг друга, это их творчество.

Затем вышли женщины, вышли старики. Оглядываются. Где же город? Со смешанным чувством удивления и страха люди тщетно протирали глаза: их ли это город? Не ищите, люди, города, не утруждайте себя напрасно. Ищите лучше, откуда она, эта черная беда, нагрянула на вас? Ищите зло, найдите, где оно притаилось.

Раньше в центре города было круглое пятиэтажное здание. На его месте посреди гладкого черного поля остался одиноко торчать обгоревший каркас. Как он уцелел? Может, чудовищный огонь решил оставить хоть какой-то след от былого или оно оказалось более устойчивым благодаря своей обтекаемой форме?

Но вот люди задвигались — в пожарище началась жизнь. Люди жгли останки людей, дожигали обгоревшие трупы. Чистили свое подожженное гнездо. Я не слышал, как люди при этом рыдали,— у меня нет ушей,—

но, пожалуй, это хорошо, что у меня нет ушей, я бы не стерпел, даже я, камень.

Вскоре рядом со мной появилось несколько досок, несколько объявлений с первыми сведениями о катастрофе: температура — триста тысяч градусов, в радиусе одного километра от эпицентра взрыва исчезло все живое и неживое, а там, дальше этого круга, сила взрыва несколько ослабла — там уцелели, хотя и начинали плавиться, камень, металл.

Я — черный мрамор, я — черный камень. Я не умею считать, и я не знаю, сколько прошло с тех пор месяцев, сколько минуло лет. Я знаю только вечность, для меня существует лишь одно измерение — вечность.

Теперь город восстановлен. Он выше и краше, чем прежде. Вновь ожили сады. И улицы шире. Ничто не напоминает о катастрофе. Решительно ничто, ибо хорошо поработали годы, хорошо потрудились люди. Они достойны самой высшей похвалы. Но я не собирался прославлять труд человека. И без меня знают, как трудолюбив простой японец. Я хотел поведать лишь о том страшном дне. О дне, когда плавился металл, когда плавился камень. Хотел, чтобы люди помнили тот день. И чтобы остерегались.

В центре города, пережившего тот ужасный день, теперь возвышается каменный человек. Его поднятая правая рука напоминает людям, где находится небо. Его левая рука простирается к людям — просит мира и спокойствия. Его глаза, прикрытые тяжелыми веками, умоляют, чтобы не повторилась беда.

Вот, собственно, все, что вам, людям, хотел я поведать. Надеюсь, вы не станете спрашивать у камня, что вам надо делать, чтобы не испытать этого еще раз.

Нагасаки—Хиросима
1966

ОДНАЖДЫ И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

I

Двс недели Еркебулан почти не слезал с седла.

Он проводил собрания в аулах — неспокойные, с самыми неожиданными поворотами и всплесками настроений, порою бестолково-крикливые... По решению уездного ревкома на местах создавались совдепы.

Молодой поэт, которому недавно исполнилось двадцать четыре, во время этой поездки с удивлением обнаруживал, как возносила его людская молва.

— О-о, Еркебулан!.. Еркен!..— говорили про него.— Двадцать два было парню, ему бы за девушками бегать и по тоям ездить... А он? Он был среди тех, кто замахнулся на белого царя! Теперь рядом сверкают шашки Колчака, пули свистят, а Еркен не побоялся встать под красное знамя. У него сердце батыра. А какой поэт!..— И на память приводили его стихи.

Он действительно находился в гуще событий, его имя не зря связывалось со всем, что происходило в степи. А возвышенные сравнения в его стихах простодушный народ воспринимал в прямом смысле. Буря — значит буря самая настоящая. Охваченная пожаром степь. Сильные и гордые орлы, устремившиеся к вершинам. От взмахов орлиных крыльев и поднялась эта буря.

Он так тогда чувствовал и так писал об этом.

Днем Еркен провел собрание в волостном центре. Подходящего помещения там не было, и толпа расположилась у подножия невысокого холма.

Казалось бы, ежедневные выступления должны были притупить у него способность зажигаться, и слова от частого употребления могли потерять силу и необычность. Но стоило ему увидеть собравшихся людей, заме-

тить ожидание в их настороженных глазах, и он забывал про усталость, про то, что выступал только вчера и что завтра ему снова выступать...

Еркен говорил о свободе, которая, размахивая красным флагом, пришла в степь к казахам. Одни приветствуют ее, другие — шарахаются в сторону, третьи притаились и ждут... Чего ждут? Кто-то толкует о верности законам отцов, о покорности. А кто видел покорного муллу или покорного бая? Нет, им не для себя нужна покорность! Но так больше не будет, говорят большевики. Нет больше унижения, нет неравенства. Надо покончить с горькой несправедливостью судьбы. Но право на счастье придется еще отвоевывать.

Время от времени до него доносились возгласы:

— Верно говорит, а? Откуда только слова берет?

— Ну, джигит! Пожалуй, поручу я детей и жену аллаху, а сам подамся к нему в товарищи, если возьмет.

— Дай бог увидеть своими глазами хотя бы половину того, что он обещает!

Это шумели кедеи[1], по вековой привычке устроившиеся сзади. Им нравился ладный джигит. Черная рубашка со стоячим воротником, черные суконные брюки, заправленные в остроносые сапоги, и тонкий кавказский ремень с серебряной отделкой — все это удивительно ему шло. Им нравилось, как он откидывает назад густые черные волосы. И его речь, в которой была уверенность, вселяла в них надежды.

Собрание уже близилось к концу, и Еркену казалось, что на этот раз все сойдет благополучно. Но тут выяснилось, что на груди, под чапанами и покоробленными шубами, лежали не только тымаки-ушанки. Кое-кто и камень припрятал за пазухой.

Качнулся передний ряд, оттуда посыпалось:

— Эй вы, рванье! Тихо! Раскудахтались!

— Хватит болтать, голодранцы несчастные!

Задние опешили. Нет, они не испугались. Просто не нашлись сразу, что ответить. Словцо-то привычное, хорошо знакомое. Но странно было услышать его опять, в то время, когда наступила свобода, наступило равенство, как говорил этот приехавший из города джигит. Еркен тоже замолк. «Голодранцы несчастные» — кто бы мог это выкрикнуть?

---

[1] Кедеи — бедняки.

Он оглядел первые ряды и ни на ком не смог остановиться. Но тут невзрачный серолицый человек с немигающими, точно у змеи, глазками крикнул:

— Помолчите, вы! Помолчите там! Дайте послушать приезжего человека. Я спросить хочу. Можно спросить?

Это он...

— Спрашивайте...— ответил Еркен, приготовившись к какому-нибудь подвоху.

— Вот не могу я понять...— начал тот грустно, как бы печалясь о собственной непонятливости.— Классовая борьба — это как? Аргын-кипчак схлестнется с керей-уаком, а потом в их драку влезет и конрат-найман[1]? И все они должны будут колошматить друг друга? Я правильно понимаю?

«А может, обычный аульный дурак-краснобай?»— подумал Еркен и, усмехнувшись, поинтересовался:

— Вы в самом деле не поняли? Или просто так, язык захотелось почесать?

— Нет, нет! Как можно! Я хочу знать...

Но к этому времени задние ряды уже пришли в себя.

— Как же! Узнать он хочет!

— Этот Берш только прикидывается дураком!

— Не отвечай, парень, не отвечай ему! Мы знаем, кто натравливает этого пса!

Еркен поднял руку, чтобы успокоить толпу, и снова заговорил о классовой борьбе. Нет, речь идет не о родовой вражде. Пусть аргыны-кипчаки и конрат-найманы живут в мире между собой. Им нечего делить. А враг у всех один.

Они сидели впереди, багроволицые от постоянного обжорства, жирные, как осенние дрофы. И одеждой они с теми, задними, не могли сравниться: все в добротных плюшевых камзолах и мерлушковых, низко надвинутых на лоб шапках. Глаза их шныряли, будто мышата бегали взад и вперед.

Передние перекидывались вроде бы ничего не значащими словечками. Рукоятками камчей, обмотанными медной проволокой, они то и дело толкали Берша: «А ну, ужаль!.. А ну, еще подкуси». Уж чего-чего у казахов, а самую хитрую их хитрость опытный глаз разгадает мгновенно.

— Вы все слышали, сыны степей!— сказал Еркебулан.— Смотрите сами... Вам жить на этой земле. Вам и

[1] Аргын-кипчак, керей-уак, конрат-найман — названия казахских племен Среднего жуза.

решать. Многие, наверное, видели от-арбу[1]. Можно ли остановить паровоз, когда он мчится, развевая длинную чернобурую гриву? Вот так и новое время — оно сметет тех, кто попробует его задержать.

Он замолчал, и сразу взорвались насмешливые возгласы:

— А, хитрозадый Берш, что же ты замолк? Язык свой поганый проглотил?

— У, лиса! Заткнулся?

— Спина у тебе не чешется, Берш? Истолкали ведь всего...

Но Берш, как будто и не к нему относились все эти колючие слова, опять поднял руку:

— Слушать тебя, джигит,— что хороший кумыс пить в жаркий летний день. Красиво говоришь... И про красный флаг, и про от-арбу. Но я человек простой, неученый. Ты объясни мне. Ты пастбища отдашь бедняку. Скот — тоже ему. Власть опять же в его руках, в натруженных, мозолистых, как ты сказал. Но смотри сам! В конце концов твой бедняк разбогатеет и сам баем станет. Тогда как? У него будете все отбирать и раздавать бывшим баям?

Еркен не сразу нашелся, что же ответить. Ловко ты, Берш, поворачиваешь! В груди похолодело от злости, и он уже знал, что вот сейчас наповал сразит ответным словом наглого байского прихвостня. Так бывало, и не раз.

Но он ничего не успел сказать. Задние ряды взметнулись и смешались с передними, и толстобрюхие стали отступать, огибая холм. Между ними вертелся тощий Берш, увертываясь от десятков рук, тянувшихся к нему. Кто-то крыл матом чью-то рваную ушанку, кто-то — чей-то приплюснутый нос, кто-то — чей-то палец, высунувшийся из рваного сапога.

Берша все же схватили, швырнули на землю, и от нескольких хороших пинков он откатился в сторону. Плюшевые камзолы сбились в кучку и, отступая, затравленно шипели: «Эй, эй ты! Потише!.. Потише». Ни гордой осанки, ни грозного вида, ни самоуверенной ухмылки — ничего не осталось. И плетеную камчу никто из них не решился пустить в ход.

Они отступили и скрылись за холмом.

Еркен стоял немного поодаль. К нему подходил вы-

---

[1] От-арба — дословно: огненная повозка, поезд.

сокий плечистый старик. Два молодых джигита хотели взять его под руки, но он недовольно повел бородой и отстранил их:

— Да вы что, дети мои? Думаете, я без вашей помощи и на бугор не взойду?

Возле Еркена старик остановился. И толпа, следовавшая за ним, замерла. Вот так — разойдется народ, что река в половодье, а схлынет — как маленький ручеек.

— Нам передавали твои слова, сынок: «Наступает твой день, народ! Выходи встречать зарю новой жизни». Мы слышали о тебе — и вот собрались послушать умное слово. И не ошиблись в надеждах. Верно я говорю?— Он повернулся к своим:— Такой может сам обманываться, но другого не обманет.

Еркен почтительно слушал старика. Еркену не приходило в голову объяснить такой исход собрания зажигательностью своих речей. Нет, это время, время все расставляет по своим местам.

— Спасибо на добром слове, отец. Я рад, что мои слова коснулись вашего сердца,— скромно, как подобает младшему рядом со старым, умудренным жизнью человеком, ответил Еркен.

— Теперь скажи,— джигитам, призванным Алаш-Ордой, можно вернуться домой?

— Да, домой.

— Вот правильно! Нечего им там делать. А ты... Помни, будешь самым дорогим гостем, если дом старого Байкена окажется на твоем пути...

...Об этом собрании, о неизбежной стычке между «плюшевыми камзолами» и «рваными шубами» Еркен продолжал думать, подъезжая верхом к маленькому аулу на берегу озера Кзыл-Мола. Он вспоминал и то, как откровенно неприязненно сказал ему волостной управитель Мырзакельды: «Выходит так, товарищ кемесер, ты перессорил у нас людей, сорвал собрание, взбаламутил народ? Да? Кто же будет в ответе?» И без лишних слов ясно было, чью руку он держит, кому тут Мырзакельды друг и кому — враг. Еркен резко сказал волостному: «Не забудь, что ты должен дать мне лошадей ехать дальше». Тот ответил: «Хорошо, хорошо... Свежие лошади ждут у озера Кзыл-Мола, а там подставы через каждые двадцать верст до города».

И вот уже солнце садилось, когда Еркен вместе с неразговорчивым хмурым провожатым добрался до Кзыл-Молы и спешился возле небольшой белой отау.

II

Еркен спешился, а провожатый, приняв у него повод, тотчас поскакал обратно.

Хозяин вышел навстречу. Он производил странное впечатление. Один его глаз недоверчиво ощупывал гостя, а другой смотрел куда-то в сторону, и нельзя было понять, кому он подмигивает, кому плутовато-заискивающе улыбается. Казалось, пересчитывает появившиеся на небе звезды.

— А лошади где?— спросил Еркен, поздоровавшись.— Волостной говорил, что мне тут дадут коня до города.

Теперь на Еркена смотрел подобострастный глаз хозяина:

— Только под вечер аульный сообщил — ждать вас надо завтра в полдень. Я отпустил коней в табун. Заночуйте у нас. До вашего города пятьдесят всего верст. Утром мигом доставим.

— А ты кто? Помощник аульного старшины?

— Нет, ямщик. Но решил отказаться.— Другой глаз уперся в Еркена.— Хлопот полный коржун. Того встреть, того проводи. В лавку теперь уйду — каператып[1] называется,— с важностью добавил он.

Откинулся изнутри войлочный полог, и перед Еркеном появилась молодая женщина, еще не потерявшая в замужестве стройности и привлекательности. Голова у нее была покрыта не джаулыком, а цветастой цыганской шалью. Ай да косоглазый! Какую жену отхватил!

Женщина, продолжая поддерживать полог, другой рукой сделала приглашающий знак.

Еркен вошел.

В юрте возле супружеской кровати висел старый выцветший занавес из пестрого шелка. Подстилка, одеяла, подушки, крытые дешевым полосатым ситцем, тоже не новым,— все говорило о том, что хозяева очень далеки от достатка.

Хозяйка указала ему почетное место у очага. Рядом стояла домбра, прислоненная к решетке.

---

[1] Каператып — искаженное: кооператив.

— Аулы откочевали на джайляу, мы одни...— сказала она.

Еркену показалось, что приветливость женщины омрачает лицо ее мужа. Он по-прежнему молчал, и что-то явно его тревожило, он места себе не находил. «А мы тоже — откочевать собрались»,— промямлил он и вышел из юрты, но тут же вернулся и стал зачем-то объяснять, что его старик-отец уехал к волостному и вот задерживается... И снова вышел...

Женщина зажгла лампу и, застенчиво улыбаясь, сказала:

— Мы слышали, что вы стихи слагаете, и домбра — не чужая в ваших руках...

Еркебулан остался один в юрте. Он не любил хлестать по струнам. Он едва касался их пальцами, и от этих почти незаметных прикосновений рождалась легкая, ускользающая мелодия раздумья.

Вот пробирается по степи спокойный ручей. А это — ветер заглянул по дороге в шумную и беззаботную тополиную рощу...

Молодая женщина тихо, чтобы не мешать ему, откинула полог и впустила парня с охапкой дров. Затеплился огонь в очаге, и когда огонь набрал силу, в юрте сразу стало просторнее и веселее. Справа висело на стене выложенное серебром дорогое седло, а рядом с ним — изящная камча с ручкой, туго обмотанной проволокой. Медь и серебро тускло поблескивали и, казалось, о чем-то перемигивались между собой в свете пламени.

За дастарханом стало уютно. Молодая хозяйка наливала густой пахучий чай с подогретыми сливками. Она явно старалась выказать незнакомому гостю свое уважение. Возможно, хотела сгладить впечатление от сумрачного молчания мужа?

— В неудачное время вы нас посетили, акын-ага... Соседние аулы откочевали на джайляу. Одни мы тут торчим. Нет ни джигитов, ни девушек. Нет для вас достойных слушателей. Безрадостный вечер с унылыми супругами — вот что ждет вас сегодня.

— Почему вы думаете, что безрадостный? Что может быть дороже искренней доброты и сердечного внимания?— вежливо ответил Еркен и взглянул было на хозяйку, но тут же почувствовал, что косой хозяин одним глазом нацелился на него, а другим — на жену. Еркен чуть рот не разинул от удивления. Ну и ну! Ревнует? Знает же, наверное, себе цену и ей, такой красавице.

Юноша, сидевший на корточках у стены, заметил изумление на лице гостя и не удержался — прыснул. Женщина догадалась, что его рассмешило. Она сказала словно бы невзначай:

— Кайсар, чего ты? Ты не можешь, как человек, не шнырять глазами вкривь и вкось?

Муж пропустил мимо ушей обидный намек.

— Послушай, неужели нет коня, хоть какого-нибудь?— обратилась она к нему.— Послали бы Кайсара в аул Бузау-ата, они тоже задержались. Позвали бы молодежь к нам... А?

— Нет,— коротко ответил Отарбай.

— Зачем конь? Я и так сбегаю, мигом всех соберу. Им только скажи, что у нас в гостях — акын!

Юноша чуть привстал. На нем был светлый из овечьей шерсти чапан, слабо затянутый в поясе, из-под чапана проглядывала голая грудь. Оспинки на лбу и на щеках не портили его лица, оно было открытым, доброжелательным. Видно, легкий, исполнительный парень этот Кайсар. Так, кажется, назвала его хозяйка?

Но в ответ и на его предложение — сбегать, хозяин снова отрубил:

— Нет...

— Да почему это нет?!— возмутилась женщина.— Или мы людей боимся? Или каждый день к нам приезжает акын, которого могли бы послушать наши соседи?

Хозяин не посчитал нужным объяснить свое несогласие. Наверное, он привык к ее постоянному неодобрению и перестал обращать внимание на просьбы, на требования жены.

Еркен пожалел, что не проявил твердости и не заставил сегодня же дать ему коня, чтобы ехать в город. Семейные ссоры — пусть ссорятся без посторонних.

Снаружи послышался торопливый перебор конских копыт.

— Ты что задергался?— резко спросила у мужа женщина.— Это к нам? Ты ждешь кого-нибудь?

Он не ответил, продолжая настороженно смотреть на дверь.

Кони приблизились, стали возле отау. Было слышно, как спешиваются всадники. Двое показались в дверях. Легко одеты, не похоже, чтобы собирались в дальнюю дорогу. Гости или преследователи? Снаружи, на слух, тоже остались двое-трое.

— Добрый вам вечер,— сказал негромко один из вошедших.

— Проходите, проходите...— С ними хозяин разговаривал совсем другим тоном.

— Как здоровье, Акбала? Все ли благополучно в доме, Отарбай?

Только теперь Еркен узнал их имена. Конечно, такая милая, приветливая женщина должна быть Акбалой. Странно было бы назвать ее иначе. Не дай бог — как-нибудь Ултуган или Даметкен[1]...

Вошедшие разговаривали с хозяевами как с давними знакомыми. При этом они с любопытством посматривали на Еркена.

— Э, а куда вы путь держите?— спросил хозяин.

— Да так... Потеря у нас. Конь городской сбежал...— загадочно ответил один из них.

Едва они заняли места за дастарханом, как снаружи вдруг кто-то рявкнул:

— Отарбай!

Хозяин чуть втянул голову в плечи и не сразу собрался с духом — подняться и выйти.

— Эй, Отарбай! Сколько тебя звать!

Он уже направлялся к двери, и Акбала сказала вслед сквозь зубы:

— Не вздумай привести его сюда...

Джигиты снова покосились на Еркена — и потому не заметили короткого требовательного взгляда, который Акбала бросила Кайсару. Тот понял ее и тут же вышел. Один из джигитов вел себя спокойно, а другой делал вид, будто кроме чая его ничто не занимает. Еркен начинал догадываться, что хозяин вовсе не из ревности не находил себе места после его приезда.

В юрте наступило молчание, а снаружи наставительно гудел сиплый бас. Слов разобрать было нельзя, но говоривший что-то требовал, к чему-то принуждал. Заискивающий тенорок хозяина поначалу неуверенно возражал ему. Потом совсем умолк, заглушенный потоком баса.

Видно, предупреждение Акбалы не подействовало. За Отарбаем двое вошли в юрту. Первым — верзила в сатиновом камзоле, перепоясанном красным кушаком.

---

[1] Женские имена: Акбала — светлый (буквально: белый) ребенок; Ултуган — родился сын; Даметкен — вселявшая надежду.

Глядел он мрачно, на лице выдавалась рассеченная верхняя заячья губа. Он держался как предводитель. Его спутник был тенью возле него. Верзила стал у двери, и тот замер. Верзила окинул собравшихся взглядом, и тот провел глазами по всем.

— Здорово, баба!— сказал верзила, и его спутник пошевелил губами, словно повторяя сказанное.

Акбала, не поднимаясь от дастархана, ответила с плохо скрытой неприязнью:

— Разве от тебя человеческое слово услышишь?

— Хо! А кто ты такая, если не баба? Или забыла, как тебя в голодный год продали за одну яловую корову, за полмешка зерна? Забыла?

— Нет. Но вот тебе — тебе проглотить меня все же не удалось. Рот-то дырявым оказался.

Женщина всегда остается женщиной... Акбала ударила по самому больному — заячья губа... Верзила даже не нашелся, что ответить. Только шумнее засопел.

— Вот злюка!— Это у него прозвучало немного мягче, словно он предлагал заключить перемирие.— Я, что ли, виноват?.. На своего отца пеняй, чтоб ему в могиле тошно было. Это же он тогда сосватал тебя Отарбаю, а потом жалел, что продешевил.

— Чем болтать попусту про чужие могилы, ты бы лучше поискал, где валяется твой отец-поштабай!— Нет, не такая была Акбала, чтобы оставить без отпора малейшую обиду. А что может быть оскорбительнее — сказать, что ты не знаешь, где похоронен твой отец.

Верзила побагровел, его рука крепче сжала толстую восьмигранную камчу. Еркен был готов вступиться за молодую женщину, если это понадобится, хоть и не понял, при чем тут ненавистный всему народу поштабай, обидчик знаменитого певца и поэта Биржана.

Отарбай оказался между двух огней. Ему и жену было не под силу присмирить, и перед верзилой он хотел выглядеть хозяином в своем доме.

— Проходи, Токе... Проходи, что ты встал! Присаживайся... Чай вот пей...

— Что я, нищий из Караоткеля[1]?— оборвал его Токе.— Чай буду лакать? Кумыс подай.

Он тяжело опустился на кошму возле очага, бросил рядом витую камчу и в первый раз за все это время

---

[1] **Караоткель** — казахское название Акмолинска (ныне Целиноград).

взглянул на Еркена. Глаза его были в красных прожилках. Не знающие жалости глаза. На подбородке — ни волоска, зато, запястье, кисть и толстые короткие пальцы были покрыты черной шерстью, как мохнатые лапки у тарантула.

Акбала молча собрала дастархан, а вынести самовар Кайсар ей помог. Вскоре он снова заглянул в юрту:

— Хозяин! Хозяйка зовет.

Когда Отарбай вышел, Токе взял свою камчу и, слегка помахивая ею, сказал:

— Не будь дохляка этого, Отарбая, стегнул бы я разок наглую бабу по пухлым ляжкам...

— Ойбай, Токе-ау[1],— не удержался один из его спутников.— Что останется от самой пухлой бабы, если вы разок приложитесь к ней?

— А правду говорят, что этой самой камчой ваш отец хлестнул в давние времена самого Биржана?

Токе самодовольно усмехнулся и опять посмотрел на Еркена.

— Нет, не врут люди,— ответил он спросившему.— Эту камчу я принял из рук отца. А Биржан после того раза так и не пришел в себя. Стихи свои перестал сочинять. В конце жизни, я слыхал, совсем спятил.

Историческая плеть вызвала к себе живой интерес.

— Я слышал, в самый кончик вплетен свинец. Верно?— спросил второй из тех двоих, что вошли в юрту с самого начала.

— А ты как думал? Свинца тут на целый вершок. Чуть задень матерого волка — и череп напополам!

— А за что твой отец огрел Биржана, не знаешь?

— Э, Биржан-сал! Биржан-сал!.. Ты что, не видал их, этих салов и серэ? Сам из нищего рабского рода, а скакуна заведет... Разоденется... Ставит себя вровень с почтенными людьми. Берет на себя право судить, кто хорош, а кто плох. А все потому, что на домбре умеет бренчать и сочиняет дурацкие песни. Тогда праздник был. Биржан заступился, что ли, за кого-то, хотел свою справедливость показать... Ну, и получил... Чапан из верблюжьей шерсти — как ножом разрезало. Конь у него был белый — весь круп биржановской кровью залило.

Спутники Токе удивленно зацокали:

— Вот это да!

---

[1] Ау — прибавка к слову, к имени, выражающая удивление, испуг.

— И как он только выжил?
— Ту-у, господи... Отец же легонько к нему прикоснулся, просто так, поучить.
Каждое слово из этого разговора острым ножом вонзалось в грудь Еркена. Так вот кто этот верзила с заячьей губой! Сын подлеца-поштабая, который осмелился поднять руку на всеобщего любимца, мудрого и проникновенного поэта, чьи стихи с завистью твердил Еркен.
Эта история давно стала легендой — из тех, что передаются в степи от аула к аулу. Рассказывали по-разному, как «поштабай»— посыльный волостного управителя Азнабая — хлестнул на празднике певца. Но мог ли Еркен предполагать, что он когда-нибудь воочию увидит эту камчу в руках сына того самого поштабая!
Сперва Еркен не придавал значения такому разговору, но потом подумал: а не нарочно ли они вспомнили историю Биржан-сала именно при нем? Знают, что и он — поэт?
Еркен достал записную книжку.
Токе повернулся к нему:
— Ты что там, парень? Пишешь?
— Пишу.
— А что пишешь?
— Твой рассказ хочу записать о Биржане.
— А.. А зачем? Кто Биржан тебе?
— Можешь считать, что отец.
— А ты знаешь, что когда у акынов чешется язык, это значит, что чешется и спина?
— А ты знаешь, что камча и в разных руках может хлестнуть одинаково?
Токе отрывисто захохотал и похлопал себя по голенищам тупоносых, как морда теленка, сапог. Голенища были густо измазаны жиром — Токе имел привычку вытирать о них руки после бесбармака.
Хоть сказано было достаточно прямо, но Еркен все же не принял слова Токе за действенную угрозу. Скорее, неуклюжая шутка наглеца, который и сегодня считает себя всесильным в степи, потому что у него зычный голос, черные мохнатые кулаки и восьмигранная камча со свинцом.
— Тебе пора бы понять,— улыбаясь, сказал Еркен,— на свете есть сила и покрепче твоей камчи. Ты разве не слышал? В степи до сих пор поют песню Биржан-сала,

где на всеобщий позор выставлен твой отец... И даже его имя не сохранилось — поштабай и поштабай...

— Что? Что ты сказал?— угрожающе приподнялся со своего места Токе.

Но тут откинулся полог. Отарбай и Кайсар осторожно внесли тегене — большую деревянную чашу с пенистым кумысом. Следом за ними вошла Акбала. Лицо у нее было бледное. Что лицо, что джаулык — одного цвета. Встревоженно она посмотрела на Еркена, и тот понял — Акбала дает знать, что над ним нависла опасность, и еще — что он может рассчитывать на ее помощь.

— Ну, что возишься!— накинулся Токе на хозяина.— Узнаем мы сегодня вкус твоего кумыса или нет?

— Сейчас, батыр-еке... Вот, уже наливаю, Токе. Вот, минуты не пройдет...

Лицо у Отарбая было сморщенное, несчастное. Еще недавно, хоть и хлипкий, он был похож на мужчину, и даже пытался важность сохранить. А теперь — дрожал, как коза под проливным дождем. Видно, крепко попало ему от жены. Но еще больше, чем ее, он боялся Токе.

Акбала, не говоря ни слова, оттеснила мужа, выбрала пиалу поярче, поновее. Верзила к этому времени уже успел выпить чашу, поданную ему хозяином, и снова протянул ее. Но Акбала заставила его подождать.

— Кайсар, подай гостю,— сказала она, и Кайсару не пришлось вторично объяснять, кого она подразумевает под этим словом — гость.

Приняв чашу из рук Кайсара, Еркен почувствовал, что под самым ее дном лежала записка. В это время в юрте все наблюдали, как перенесет новое оскорбление Токе, и Еркен незаметно вложил листок в записную книжку и быстро скользнул по нему глазами.

Акбала, словно ничего не случилось, помешивала кумыс. Гости осушали пиалу за пиалой. В юрте стало тихо. Все настороженно следили друг за другом, и разговор не клеился.

Ловя на себе взгляды Акбалы, Еркен понимал ее недоумение. Она заметила, что записку он прочел. Почему же он так беспечен? Почему время от времени улыбка проскальзывает у него по губам, а высокий лоб не трогает ни одна морщина? Ее взгляды становились все отчаяннее: она умоляла, требовала, чтобы он не сидел так, словно в кругу людей, а что-то предпринял бы для своего спасения.

Возле юрты, бренча, остановился чей-то тарантас.

Глаза Акбалы потухли, стали безнадежными. «Ах, опоздал, опоздал!» — говорили они Еркену. Неужели опоздал?..

Еркен медленно, словно нехотя, поднялся.

— Парень, проводи-ка меня во двор,— сказал он.

— Пойдемте, акын-ага,— вскочил Кайсар и откинул полог.

Еркен медленно прошел мимо Акбалы, простился с ней взглядом и направился было к выходу, но возле него вырос Токе.

— Куда поперся?

— Я сказал — во двор.

— Сиди! Никуда не пойдешь.

— Ты, что ли, не пустишь?

— У-у!.. Твоего отца, Биржана твоего!..

Камча взвилась. Но Еркен ждал этого. Короткий, убийственный, почти незаметный удар угодил Токе точно в висок, и он рухнул, как подкошенный. Левая нога попала в огонь, пламя лизнуло засаленную кожу сапога, и по юрте разнеслась липкая вонь.

Никто не успел понять, что произошло; вошел Фарид. сын известного в Караоткеле купца-татарина. Неизменная черная такия на голове, на груди от кармана к карману серебряная цепочка часов. Таким привык его видеть Еркен в городе, таким увидел и здесь. Понятно, что он — с ними. Фарид протянул руку Еркену, а он — шагнул во двор.

Кайсар тянул его за руку. Еркен на мгновение остановился, чтобы глаза привыкли к темноте. В это время открылась дверь стоявшей напротив большой юрты и, освещенная с той стороны, появилась молоденькая девушка в черной плюшевой безрукавке на ярко-желтом, в оборках, платье. Свет лишь на мгновение озарил девушку, и она сразу же скрылась. Она словно пришла из песен акынов — тонкобровая и трепетная, нежная, как серна, гордая и покорная. Извечная мечта джигита... Еркен успел заметить все это. Но она не казалась ему реальной девушкой, к которой можно подойти, заговорить. Это была сама красота. Раньше он часто старался представить себе, как она может выглядеть. Теперь он это знал.

А Кайсар все тянул его к лошадям, стоявшим на привязи за юртой.

— Идемте, ага! Скорей! Они убить вас хотят. Садитесь вот на этого. Это гнедой, сейчас не видно, со звездочкой на лбу. Это конь Токе, того верзилы. Не конь, а

ветер. А я — на белом... Тоже славный конь. Давайте, ага, скорей!

Еркену казалось, что прошла вечность с тех пор, как он увидел девушку. Но, очевидно, это и в самом деле было всего лишь мгновение, потому что только теперь из юрты донеслись испуганные возгласы:

— Убил?.. Токе, Токе, очнись!

— Воды, скорее...

— Он его?.. Еркебулан?..— Это спросил приехавший татарин, сын купца.

Еркебулан, все еще плохо сознавая, чего от него хочет Кайсар, легко вскочил в седло. Да, скорей. Он готов был мчаться на край света. Чтобы не запалить лошадей, всадники вначале пустили их рысью, а потом уже — вскачь. Из юрты неслись выкрики:

— За ними! За ними!

— Далеко не уйдут!

Могли и догнать. Но Еркен был твердо уверен, что ничего с ним не случится. Отныне его охраняет сама красота.

III

Эти выкрики, угрозы, проклятия еще долго стояли в ушах девушки. «О, алла, неужели догонят?»— твердила она. Но нет,— такой красавец, такой мужественный джигит. Куда им!

В большой юрте Аклима прилегла рядом с матерью, но уснуть не могла. То она в темноте улыбалась самой себе. То снова ее охватывал страх, и она зябко ежилась под одеялом. Сердце начинало стучать так громко, что Аклима боялась — мать проснется. Она еще не понимала — почему, но почувствовала: минувший день и минувший вечер сделали ее старше на целую жизнь.

Вчера, в полдень, она вместе с Кайсаром поехала на озеро за водой. Как ездила много раз... В старую скрипучую арбу с бочкой впрягли худющего — все ребра на виду — атана. Со стороны аула берег озера был обрывистый. Кайсар таскал воду двумя ведрами, а Аклима, стоя на арбе, наполняла бочку. Им было весело, и они устроили себе забаву: Кайсар подавал ведро так, чтобы облить ее. Аклима в долгу не оставалась и сверху тоже плескала на Кайсара. Под прилегшим в оглоблях верблюдом образовалась лужа, вода пробила себе канавку и стекала в сторону. Старый атан неодобрительно пока-

чивал головой и сердито рявкал, когда вода проливалась ему на круп.

Кайсар, голый по пояс, закатав до самых бедер штанины, готов был до вечера таскать воду. Аклима уже вся промокла. Пестрое ситцевое платье прилипло к тугому девичьему телу, плотно облегая бедра, живот, грудь. Но, пожалуй, ни она, ни Кайсар не думали о том, что такие шалости обычно добром не кончаются. Может быть, они этого просто еще не знали.

Аклима выплеснула на голову Кайсару добрые полведра и спрыгнула с арбы:

— Сам носи, сам и выливай! А я пойду, платье высушу.

Аклима ушла. Кайсар, заглянув в бочку, обнаружил, что она залита лишь наполовину. Продолжая таскать ведра, Кайсар нет-нет да оглядывался — куда же девалась Аклима. С арбы он вскоре увидел девушку, отплывшую довольно далеко от берега. Над гладью озера мелькали ее белые руки, на солнце светилась спина.

Кайсар спрыгнул, бросил ведра и пошел туда, к ней — подразнить ее, испугать. Он сбежал по обрыву вниз. Аклима как раз выходила из воды. Первый раз в жизни юноша увидел обнаженное женское тело. Густые распущенные волосы прикрывали левую грудь. На животе, на бедрах, на сильных и стройных ногах, словно осколки драгоценного камня, блестели капли воды.

Кайсар застыл. Он тяжело дышал и никак не мог отдышаться, он хотел и не мог проглотить сухой комок в горле. Аклима ойкнула, схватила сушившееся на траве платье и, присев, прикрылась им.

— У-у, бесстыжий! Уходи сейчас же!

Юноша очнулся. Он быстро закивал головой и неуверенно пошел прочь.

Они выросли в одном ауле. Вместе играли. Как все дети, ссорились, дрались, мирились. И как-то не догадывались, что один из них — мальчик, другая — девочка. Последние пять лет они не виделись. Кайсар нанимался куда-то на сторону. А теперь вот — вновь встретились в доме Отарбая.

Еще днем, едва выехав из аула, они во весь голос затянули песню. В тот момент они были еще детьми. Детьми они были и тогда, когда обливали друг друга из ведра, и старый атан укоризненно качал головой, наблюдая за их возней. И вот теперь это детство оборвалось, разом. Мальчик и девочка куда-то убежали, чтобы никогда

больше не вернуться. Была девушка. Был молодой джигит.

На обратном пути оба надулись, пораженные внезапной переменой, умолкли и на арбе сидели, отвернувшись друг от друга. Кайсару все происшедшее казалось такой глубокой тайной, что он не позволял себе смотреть на Аклиму. Но сколько бы он ни мотал головой, отгоняя это видение, все равно — она стояла перед ним, вся обнаженная, залитая солнцем.

Акбала была возле юрты, когда эти двое вернулись с озера. Она только взглянула на Кайсара, на Аклиму, и, нахмурившись, сказала:

— Кайсар! Ты что это? Выкинь ее из головы. Понял?

То, что юноша и девушка только смутно чувствовали, Акбала высказала резко и определенно. И от этого сжалось сердце девушки. Это строгое «выкинь» до самого вечера преследовало Аклиму, прилипло, как водоросли к ноге во время купания. Весь день Кайсар и Аклима старательно обходили друг друга. Как это было все удивительно... Как странно!

Днем прискакал из волостного аула всадник и распорядился приготовить двух коней для какого-то важного гостя. К вечеру появился другой и приказал отпустить стоявших на привязи коней в табун. Перед закатом солнца приехал Еркебулан, и с этой минуты юрту Отарбая охватила тревога.

Акбала в большой юрте месила тесто.

— Давай я помогу,— предложила Аклима.

— Е-е, сестричка... Успеешь! Замуж выйдешь, весь дом свалится на тебя.

— А он поэт?

— Да, Аклима. Ты бы видела, как он домбру в руки взял. Слышишь, играет?

Отарбай появился, весь красный и потный.

— Что ты бегаешь?— с неудовольствием заметила Акбала.— Постыдился бы — гостя одного оставлять.

— Ничего. Ему с домброй веселее, чем с хозяином. А он — странный, вдруг спрашивает, ни с того, ни с сего, сколько людей в мой каператып войдет...

— А ты что?

— Я говорю — пока я один, а немного погодя подыщу пирканшыка[1].

— А он что?

---

[1] **Пирканшык** — искаженное: приказчик.

— Ничего, засмеялся. Оказывается, какой-то пай надо. Я говорю — какой пай? Как же, говорит, капера-тып без пая? Откуда средства возьмешь? Сказал ему — два человека мне обещали дать деньги.

— Так он одобрил или не одобрил твою затею?

— Эй! То он привязывается, теперь ты, баба!— рассердился Отарбай.— Я и сам знаю, что делаю, не хуже тебя, не хуже него. Кажется, мои Манкур и Нанкур[1]— не ты!

Он махнул рукой и ушел, но вскоре вернулся снова.

— Гость говорит, чтоб мы не резали барана.

— А ты что, перед тем, как резать барана, у гостей спрашиваешь разрешения?

Акбала взвилась, и разговор с ней не предвещал для Отарбая ничего доброго. Вообще, когда Аклима наблюдала за семейной жизнью сестры, у нее пропадала всякая охота идти замуж.

Акбала взволновалась и обрадовалась, узнав, что их гость — поэт. Если бы аул не откочевал на джайляу, кто знает, остановился бы у них в юрте такой человек, оказал бы внимание ничтожному Отарбаю?

Казахи чтут больше по привычке святых и самого пророка, имя его повторяют без должного священного трепета. Оказывая духовным лицам все знаки почтительности, они ничего, кроме презрения, к ним не испытывают. Зато нет для вольного степного народа никого выше акына — поэта, которому дано от бога так слагать стихи, что давно знакомые слова обретают неожиданный смысл, поэта, которому предоставлено право судить людей и их поступки — будь ты последний бедняк в худом чапане, будь ты сам султан... Он судит их в своих стихах и песнях, которые народ хранит потом в своей памяти, и они тревожат или утешают, зовут...

Акбала с молоком матери впитала это уважение, потому она и беспокоилась сейчас, как бы достойнее принять необыкновенного гостя, и, как всякая хозяйка, опасалась, что не сумеет этого сделать. А тут еще этот глупец Отарбай мямлит, что гость не велит резать барана. Как будто у нее в доме кто-то может устанавливать свои законы гостеприимства!

Вообще со вчерашнего дня Акбала не узнавала своего мужа. Он ходил какой-то потерянный и был похож на

---

[1] Манкур и Нанкур — два ангела, следующие за человеком и ведущие счет его поступкам, добрым и злым.

человека, который норовит стянуть что-то у себя же в доме. Все валилось у него из рук — утром он выронил пиалу с чаем. Еще два дня назад он собрался вместе со всеми откочевать на джайляу, а потом неожиданно переменил решение.

Он важно объяснил домашним:

— От волостного получил наказ. Послезавтра приезжает какой-то кемесар. Надо подготовить для него свежих лошадей.

А перед самым приездом сказал Кайсару, чтобы он угнал коней обратно в табун.

Акбала ничего не могла понять. Когда приехавший молодой красивый джигит уже сидел в отау, а она месила тесто в большой юрте, Акбала спросила у мужа, не скрывая раздражения:

— Чего ты себе места не находишь? А ты знал, что наш гость не просто кемесар, а большой акын? Знал или нет?

— А тебе какое дело?— привычно огрызнулся Отарбай.— Тесто свое лучше меси, занимайся своим бабьим делом.

— Не учи меня! Но если ты знал, что гостем будет этот акын, знал и не сказал мне, то еще не раз пожалеешь! Я тебя научу, как тесто месить!

Обычная перебранка. Аклиме надоело слушать, и она вышла из юрты. Сумерки постепенно сгущались. Сумерки укрывали необозримую степь, словно задергивался над ней непроглядный черный занавес. С озера доносился сонный гогот перелетных гусей. Перекликались лебеди. Лягушки в любовной истоме завели свои песни. И такой же естественной среди всех вечерних звуков была мелодия, которую выводили на домбре искусные пальцы.

Аклима вздрогнула — она не заметила подошедшего к ней Кайсара, просто почувствовала, что кто-то взял ее за руку.

— Кайсар... Ты?

— А ты думала, кто?— мрачно спросил он.

Аклима не ответила. Домбра продолжала негромко звучать.

— А ты стихи его знаешь?— нарушил Кайсар молчание.

— Некоторые знаю.

— Нравятся?

Она и на этот раз промолчала. Кайсар, вздохнув, сказал:

— Хочешь посмотреть на него? Акын... Джигит... Хочешь?

Он тянул ее за руку к отау.

— Ты что? Стыдно ведь,— возразила она, но неуверенно, и Кайсар, не слушая возражений, подвел ее к войлочной стене.

Аклима прильнула к щели.

Акын в эту минуту был один, потому что Отарбай попрежнему препирался с женой. Вернее, акын был не один, а с домброй. В эту минуту, может быть, он слагал про себя высокие слова о народе, который выходит на новую дорогу, о крутых перевалах времени, которые предстоит преодолеть, о красных соколах, чьи крылья не в силах опалить огонь... А может быть, про верную любовь? Он был еще красивее, чем тогда, когда подъезжал к юрте, и Аклиме удалось мельком взглянуть на него.

Она вдруг почувствовала огромную благодарность к Кайсару, который — она это знала, она сегодня стала взрослой девушкой — пожертвовал сейчас собой ради того, чтобы она могла вблизи увидеть поэта.

— Кайсар, родной! Какой ты хороший,— едва слышно шепнула Аклима.

— Что? Сразу влюбилась?

Сегодня ведь и он стал взрослым джигитом.

А потом... Потом началась суматоха. Конский топот нарушил покой ночи. Всадники разговаривали хмурым шепотом. Время от времени, словно чуя опасность, на озере гоготали гуси.

Кто-то сипло рычал в стороне на Отарбая:

— Не хнычь, дурак! Или ты воображаешь, что я у тебя, у такого слюнтяя, буду спрашивать, как мне поступить? Что мне можно и чего нельзя? Заткнись и делай, что тебе сказано!

В большой юрте ярко горел огонь в очаге, пламя фиолетовым отблеском плясало в глазах связанной по ногам овцы. Старик чабан, поплевывая на брусок, деловито точил нож. Аклима, чтобы не видеть крови, хотела уйти. Но тут прибежала насмерть перепуганная Акбала.

— Ойбай!.. Беда у нас в доме. Скорей, Аклима, пиши ему: акын-ага, вас хотят убить. Пиши!

— Ты что... ты что, Акбала! Не могу. Боюсь!..

— Пиши!— приказала Акбала, а возражать ей было трудно, к тому же Аклима привыкла во всем полагаться на старшую сестру. Она написала записку.

Кайсар пришел за Акбалой:

— Хозяйка! Тебя ждут кумыс разливать...

— Когда будешь подавать акыну пиалу, под низ подложишь...— Она сунула ему в руку записку.

— Сделаю...

— Потом выбери двух коней, самых хороших. Поедешь с ним. Смотри, чтобы акын-ага благополучно добрался до города!

Старик-чабан не вмешивался в их разговор. Он продолжал точить нож, но тут Акбала вспомнила древнее поверье: в час, когда кому-нибудь из близких грозит опасность, нельзя проливать кровь.

— Перестань,— сказала она старику.— А нож — вонзи в землю...

— Э, доченька,— ответил старик.— Ты, я вижу, забыла, как у нас полагается это делать...— И он резким броском всадил нож, но не в землю, а в серую золу с края костра.

От напряжения, от ожидания неминуемой опасности Аклима дрожала, и все остальное проходило перед ней как во сне. Она выходила из юрты и снова возвращалась. Разговор в отау то вспыхивал, то угасал. Потом раздался короткий вскрик, и упало что-то тяжелое. Из отау вышел Еркен. Возле него волчком вертелся Кайсар. «Успел,— радостно стукнуло сердце Аклимы.— О, всемогущий! Помоги ему, не оставляй его...»

И вдруг отчаянный вопль:

— Убили! Убили!

Аклима вне себя выскочила из юрты. Скрылась в темноте — и через какое-то время раздался торопливый конский топот. Топот удалялся. Аклима расплакалась. На ее всхлипывания прибежала Акбала и увела ее в юрту.

— Где же? Где же этот старик?— Акбала не могла ждать. По тому же древнему поверью овцу нужно было резать именно в эту минуту, в минуту избавления, чтобы отвести опасность от того, кому она угрожает. Она выдернула нож и, не отряхнув золу, крепко взяла овцу за голову и полоснула ножом по горлу.

— О, алла! Сохрани его...

Аклима, плача, вторила ей:

— О, алла, о, алла!..

— Не плачь. Кайсар выбрал лучших коней...

Вскоре стало тихо. Двое пустились в погоню. Остальные вынесли Токе, уложили его в тарантас, на котором приехал Фарид,— сам Токе ходить не мог, ногу он под-

вернул при падении и опалил в огне. Его повезли в волость к фельдшеру.

Аклима прилегла рядом с матерью. Но лишь перед восходом солнца ей удалось забыться чутким сном, который не приносит ни отдыха, ни успокоения. Догнали?.. Не догнали? Этот вопрос мучил ее всю ночь. Когда она открыла глаза, ее мать и Отарбай сидели у очага. А снаружи громко, чтобы и в юрте было слышно, бранилась Акбала:

— Я думала — минует нас черная беда! А он, оказывается, и еще одну пакость задумал. Живет — все время чужие зады лижет! Баба! Такому — джаулык на голову, и чтоб ни слова не смел сказать! Будь она проклята, такая жизнь!

Ее голос приблизился. Видно, Акбале уже недостаточно было в одиночестве изливать свой гнев и свое горе. Продолжая ругаться, она вошла в юрту.

Отарбай, не поворачиваясь к ней, сказал:

— Когда аллах хочет наказать смертного, он посылает ему жену-дуру. Слушай, дура! Ты забыла про угрозу Заячьей Губы? Забыла, да? Он же пообещал, что сотрет нас в дорожную пыль.

— А ты уже и трясешься? Слушай его больше! Знаю я вас, вы все одной веревочкой спутаны. Недаром ты два дня вертелся, как будто у тебя еж под задницей! Ты ведь заранее все знал!

— Думаешь, они со мной советовались?

— Молчи уж! Я ведь все твои мысли наперед угадываю. Ты перед ними выслуживаешься, чтобы тебе достался каператып... Ты для этого и Аклиму хочешь им подсунуть, да?

— А ты воображаешь, что так уж легко стать каператыпом?

Аклима, которая лежала с закрытыми глазами, вздрогнула. Теперь речь шла о ней. «Подсунуть»,— сказала Акбала. Уж наверняка тот, кому собирается отдать ее в жены Отарбай, не будет похож на этого акына с мечтательными и мужественными глазами.

Старуха — мать обеих сестер — вздохнула и сочла нужным вступить в разговор:

— Я не знаю, легко стать каператыпом или трудно стать каператыпом. Но слушай, мой зятек. Ты можешь стать хоть султаном, только, ради аллаха, не впутывай нас в свои дела, не торгуй нами. Вставай, Аклима! Уезжаем отсюда, доченька! Вставай...

Это Акліме не надо было повторять. Она и сама понимала, что уезжать надо поскорее.

IV

Аул остался позади, в тумане. Они вымахали на большак, ведущий в город. Кайсар остановил коня, и Еркен тоже натянул поводья. Сзади, со стороны озера, приближался цокот копыт — вот преследователи тоже добрались до большой дороги. Опытному уху нетрудно было определить, что в погоню пустились двое. Двое — это не так и страшно, но ведь они наверняка вооружены.

— Ойбай! Это вороной скачет, хрипун,— сказал Кайсар, который, конечно, хорошо знал всех знаменитых в округе лошадей.— Тут у нас нет коня, чтобы он не догнал. Под мышками две дырки у него. Усталости не знает, хоть день и ночь скачи.— Кайсар был рад случаю показать свою осведомленность знаменитому человеку.

— А что за дырки такие?

— Дырки как дырки. Вроде как жабры у рыб. Он через них дышит глубже, потому и бег у него такой. Это все у нас знают.

Как ни опасно было их положение, Еркен не мог удержаться от насмешливой улыбки, но Кайсар в темноте ее не заметил.

— Как же нам теперь?..— спросил Еркен.

— Придется с дороги свернуть. Впереди за холмами — зимовье Елемес. А за ним — Улыкуль, Кисактам, Буратал, Тас-Бекет. Оттуда я с завязанными глазами доберусь до города. Поехали, акын-ага!

Кайсар свернул влево и поскакал. Гнедой со звездочкой на лбу, что шел под Еркеном, разгоряченный и злой, тоже пустился галопом. Кайсар, приблизившись, предупредил:

— Ага, пустите коня волчьим наметом... Тогда топота не будет слышно.

Кайсар и Еркен меньше чем за версту отдалились от большака, а там уже пронеслись двое преследователей.

Кайсар никак не мог найти зимовье. Где тут Елемес, а где Улыкуль... Туман все плотнее, темень все гуще. Еркен по поведению парня понял, что он не знает, куда ехать, и стыдится перед ним. Он все чаще пришпоривает коня, поворачивает его то в одну сторону, то в другую. А глухая, молчаливая степь злорадно притаилась в тем-

ноте. Ни звука. Ни огонька. Хоть бы какая-нибудь звездочка подмигнула им с неба.

— Ага, я заблудился,— признался, наконец, выдохшийся Кайсар.

— Ладно,— утешил его Еркен.— До утра куда-нибудь приедем. Давай-ка оставим этот волчий намет, а то запалим лошадей. Мой гнедой все время норовит свернуть влево. Может, пустим?.. Куда-нибудь приведет. А? Как ты думаешь?

— Давайте пустим, ага. Я уже ничего не думаю, у меня башка закружилась от этого плутания.

Еркен отпустил поводья. Гнедой помедлил, словно проверяя, действительно ли ему предоставлена свобода, или это только показалось, и потом пошел, забирая влево.

Для Еркена уже не было непроглядной ночной степи. Он ушел в свои мысли. О судьбе певца Биржана думал поэт, о судьбе Биржана, которого недавно, в столкновении с Заячьей Губой, назвал отцом. По преданию он сошел с ума в конце жизни, и Ахан-серэ тоже лишился рассудка. Почему?.. Почему все даровитые, выдающиеся люди кончают так печально?

Что мог понять в их жизни этот грубый, злобный Токе? Токе, который привык считаться только с силой... Но что-то в его словах объяснило Еркену, почему Биржан после того случая с усердным байским холуем поштабаем так и не оправился. «Совсем спятил»,— сказал Токе. А как же Биржану, народному любимцу, соловью Арки, было не затосковать, если на глазах людей его хлестнул камчой какой-то посыльный! Разве мог он после этого слагать те же гордые, тонкие и нежные песни? Какая, собственно, для поэта разница между тоской и сумасшествием? И кто из лучших поэтов степи избежал подобной участи? Ни Биржан-сал, ни Ахан-серэ, ни сам Абай.

Еркен хотел написать поэму о Биржане. Он чувствовал в себе достаточно сил и умения, чтобы — после многих стихов — взяться за большую вещь. Сюжет для него был ясен. Он не собирался отступать от того подлинного случая, который произошел в давние времена. На празднике у волостного — Жанботы — домбра Биржана заставляла людей радоваться, грустить, думать о своей жизни. И посыльный другого волостного, соперничавшего с Жанботой, позвал певца к своему хозяину, тот отказался, и поштабай огрел его камчой, вырвал из рук

домбру. Жанбота не заступился за него! Гневные слова обрушил на него Биржан: «Как позволить ты мог, чтоб поштабай дурной при всем народе избил меня камчой?»

— Ойбай, ага! Не надо, не пойте так громко,— услышал Еркен голос Кайсара.

— Не буду. Прорвалось,— отозвался он.

«Жанбота» называют эту песню в народе. Давно нет в живых враждовавших между собой волостных. Поштабай тоже лежит в земле, и никто не знает, где его могила, сгинул, как собака... «Ты унизить, Жанбота, меня позволил! Ты в грязь втоптать меня, певца, позволил!» Кто бы помнил теперь, что был такой Жанбота? «Ты в грязь втоптать меня, певца, позволил!»— сколько в словах Биржана отчаяния, боли, гнева. Он обрек на вечный позор и поштабая, и его сын Токе знает об этом, потому и ярится, хоть и старается всем своим видом показать, будто ему наплевать на этот позор. Гнев Биржана рождал слова, а слова вели за собой мелодию, которая и сегодня звучит обвинением. Зло не кончается с тем, что ушло время волостных. Еще много предстоит сделать, чтобы жизнь стала чистой и светлой, как ручей в степи.

А кто знает — может быть, гнев и отчаяние Биржана усугубляло еще и то, что во время пения и стычки с поштабаем на него украдкой взглянули чьи-нибудь быстрые удивительные глаза...

— Скажите, ага,— прервал ход его мыслей Кайсар.— Вы этому верзиле с рваной губой, этому Токе — горло перерезали?

— Что-о?..

— Он так упал, как мертвый...

— Нет, что ты! Я ударил его ребром ладони в висок.

— И что? Он помер?

— Нет, только сознание потерял. Очнется.

— Жаль! Надо было так, чтоб околел. Говорят, этому разбойнику ничего не стоит пролить человеческую кровь. Но теперь, может, хоть хромой будет. Даст бог, сухожилие ему пережжет... Ногой он прямо в огонь попал.

Еркен взглянул в его сторону, но тьма сгустилась перед рассветом, и он голову гнедого не видел впереди себя, не то, что спутника.

Парень замолчал, и Еркен тут же забыл о коротком разговоре с ним. Перед его глазами появилась девушка у входа в юрту, слегка освещенная пламенем, но все же достаточно, чтобы увидеть на ее лице и печаль, и мимолетную улыбку, и сдерживаемый страх. Сколько самых раз-

ных чувств — и в одну лишь долю секунды — может выразить лицо. Ему хотелось думать, что это его приезду она обрадовалась, а испугалась — из-за той опасности, которой он подвергался.

— Слушай, записку ты писал?— спросил Еркен.

— Какой там! Я же неграмотный,— отозвался невидимый Кайсар.— У нас гостит сестренка хозяйки. Вот Акбала-апа ее и заставила. Акбала-апа такая настырная, глаза у нее все видят! А сестра ее сперва не хотела писать. Плакала. Как, говорит, я могу ему написать такие слова: акын-ага, вас хотят убить.

Кайсар не догадался назвать ее, а Еркен постеснялся спросить. А может быть, и лучше, что он не знает ее имени? Она так и останется для него символом красоты, добра, женственности. А почему — останется? Разве они никогда больше не встретятся?

Темнота начала рассеиваться. Впереди — по-над берегом болотистого озера — теснились юрты аула. Возле них бродили разномастные коровы, рядом паслись овцы и козы. Гнедой под Еркеном встрепенулся, пошел легкой горделивой рысью, хоть позади у него была нелегкая ночь, долгий путь.

Кайсар сразу встревожился:

— Что это ваш гнедой так обрадовался? Не привел бы он нас к себе в аул. Может, не заедем, ага? Свернем?

Еркен не успел ответить. Гнедой заржал, высоко задрав голову.

— Да, ладно,— сказал Еркен.— Хоть дорогу узнаем до города.

На конский топот, на ржанье гнедого из юрт повысыпали люди. Они всматривались в незнакомых путников. С чего бы? Испокон века у казахов не принято вставать в такую рань — восток еще даже не заалел, только чуть-чуть порозовело небо.

Юрты приближались. Уже можно было расслышать:

— Апырау[1]! Смотрите, гнедой-то — наш!

— Наш, наш. Видите — звездочка на лбу.

— Только — что за люди?

Пока всадники подъехали, мужчины успели разойтись. Кто в юрту, кто за юрту. Ведь как знать, кем еще окажется этот всадник в городской одежде, чего ему здесь понадобилось. Остались одни женщины — поразведать, что за путники, увидеть, что-то будет дальше.

---

[1] **Апырау** — возглас удивления.

Время такое — иной раз лучше, когда в ауле не оказывается мужчин.

Из продымленной серой юрты выскочила женщина и, увидев незнакомцев, заголосила:

— Ойбай! Ойбай! Конь пришел, а хозяина нет! Где хозяин?.. Куда его дели? Убили?

— Оу, ты что, мужа своего не знаешь?— спокойно сказал Еркен.— Кто его убьет? Что он — бандит или барымтач[1]?

— Какой там! Человек, как все. Жив ли он, мой муж?

— Жив, жив. Скоро и сам прискачет сюда.

Из этой же юрты вылез оборванный мальчонка лет десяти. Потянулся, почесал живот и, скривив рот, уставился на путников. Неожиданно он ухватил гнедого за узду.

— Слезай, слезай!— пронзительно закричал он.— Наш конь!.. Наш! Слезай, нечего ездить на нашем коне!

Кайсар тронул своего коня и оттеснил мальчишку. Еркен заметил мужчину, который осторожно выглядывал из-за юрты, стараясь получше рассмотреть подозрительных гостей, услышать, с какими вестями они пожаловали. Он подозвал этого мужчину и подробно расспросил, какие тут по соседству расположились аулы, и где дорога в город. Оказалось, в пяти верстах — русский поселок.

— Женгей[2], перестань,— сказал Еркен продолжавшей причитать женщине.— Никуда твой муж не денется. А своего сорванца посади к этому парню. Доберемся до поселка, и там вернем ваших коней, он их назад и приведет.

Отъехав, Еркен обернулся — посмотреть, не станет ли кто-нибудь их преследовать. Аул-то, по всему видно, не очень мирный... Разбойничий аул. Но среди серых юрт, похожих на сложенный в кучи кизяк, было спокойно. Люди смотрели им вслед и, видимо, обсуждали их неожиданное появление. Может быть, посчитали за друзей Токе?

Мальчишка, их провожатый, вел себя как злобный волчонок, попавший в плен. Еркен подумал — жаль парнишку, жаль, что он появился на свет в такой семье, что кровь деда, презренного поштабая, течет в его жилах. А отец? Чему может научить такой отец, как Токе?

Чего только не выделывал по дороге этот мальчишка?

---

[1] Барымтач — тот, кто занимается угоном скота.
[2] Женгей — здесь: тетка.

Он хватал сзади Кайсара за горло и не шутя душил его, Или, ловко изогнувшись, бил коня пяткой в пах. Белый испуганно взбрыкивал, шарахался в сторону, ошалело пускался вскачь. Кайсара, понятно, не так просто было выбросить из седла. Но это ему надоело, и он разок-другой хлестнул назад камчой по голым бедрам сорванца. Тот орал, свистел, шипел, ругался на всю степь. Потом визгливо-торжествующе хохотал и начинал все сначала.

В поселке, у здания местного совдепа, всадники спешились. Сын Токе, пересев на гнедого и ведя второго коня в поводу, на прощанье крикнул:

— Эй, вы! Отцов я ваших!.. А мой отец встретит вас — живыми не будете!

...От аула к аулу, нанимая свежих лошадей, Еркен и Кайсар только к вечеру добрались до города, до Караоткеля. Далеко же в сторону увел их гнедой с приметной звездочкой на лбу.

Не заезжая домой, Еркен отправился сразу в редакцию недавно родившейся казахской газеты «Тиршилик» («Жизнь»). По дороге он невольно обратил внимание: что-то много в городе пьяных. А, завтра какой-то православный праздник. А у русских есть пословица: кто празднику рад, тот накануне пьян.

В редакции сидел секретарь — Карим. Один из тех двух, которые вместе с редактором и составляли весь штат. Они дежурили поочередно, один днем, другой вечером. Чтобы всегда был кто-то, кто мог бы принять посетителя, поговорить с ним, помочь написать заметку. Зарплаты не было. Ни у секретарей, ни у редактора.

Хоть Еркен, как истинный сын степи, и привык к седлу, но все же он сейчас с удовольствием опустился на стул, который, по крайней мере, не ерзал под ним, не норовил свернуть куда-то в сторону.

Карим оторвал голову от сырых, пахнущих типографской краской гранок.

— А-а, явился, неутомимый кочевник, поэт, редактор, комиссар просвещения! Ну, повсюду создал, во всех аулах, Советскую власть?

— Повсюду, повсюду, не то, что надо,— в тон ему ответил Еркен.

— И цел остался?

— Почти что... Послушай, Карим... Вот — Кайсар... Он помог мне выбраться из большой неприятности. И потому в аул ему возвращаться нельзя. Ты прими-ка парня

на работу. И поживет пусть пока у тебя, ты же знаешь мою хозяйку.

— Принять можно. А ты грамотный?— обратился он к Кайсару, который скромно сидел на корточках почти у самой двери.

— Нет... Еще не учился.

Еркен вступился:

— Неграмотный — ну, так что ж? Ты его грамоте заодно и обучишь.

— Понятно,— сказал Карим.— Ну, Кайсар, будешь моим заместителем. Согласен? Возьми вот эту бумагу и дуй в типографию. Как выйдешь, свернешь влево. Третий дом отсюда. Там наборщик есть, старик, Гиззат-ага. Ему отдашь.

Кайсар кивнул и так же молча побежал выполнять первое редакционное поручение.

— Ну... Теперь дома посидишь? Напишешь о поездке?

— Еще бы! Кое-кто надеется в аулах, что мы — ненадолго. Надо их огорчить. Статья будет. А стихи мои получил?

— Два идут в завтрашнем номере. А третье!.. Хочешь, бей меня, хочешь — убей, но это бред какой-то, а не стих!

— Смотри-ка!— притворно удивился Еркен.— Я ж нарочно прислал все три. А ты, оказывается, научился разбираться в стихах.

Ему не надо было спрашивать, какое из трех забраковал Карим. Он сам чувствовал, что в том стихотворении слова получились вялыми, невыразительными, строчки спотыкались, как приставшие кони, и не выражали того, что хотел сказать автор. Но шутки шутками, а для Еркена Карим был всегда самым первым слушателем и ценителем стихов, доброжелательным и придирчивым, который никогда не прощал неудачной строки, плохой рифмы или расплывчатой мысли.

Они обменялись новостями, поговорили о том, какие материалы идут в завтрашнем номере и что именно напишет об этой поездке Еркен.

— А теперь иди,— сказал Карим и снова склонился над гранками.— Ради самого старого аллаха не мешай мне. Куда это годится, чтобы работа страдала из-за пустопорожней болтовни о каких-то стишках. Топай скорей в свой совдеп, к своим комиссарам. Они там уже охрипли от споров.

В совдепе Еркен застал почти те же разговоры, что и две недели назад.

Сразу ему сообщили:

— Вчера мы тут совещались, и кто-то пульнул камнем в окно. Вон, в углу валяется, целый булыжник... Угодил в Ефима. Сидит теперь с завязанным глазом, как после хорошей попойки. Хорошо, хоть пулю не пустили.

— Что вы все про мой глаз? Я ж от вас, чертей, не уплаты за свой глаз требую. Давайте, наконец, договоримся: заставим мы купчишек и всех прочих богатеев открыть свои лавки?.. Заставим или нет, я спрашиваю?

— А как ты заставишь? Сила у тебя есть, чтобы их принудить?

— Тогда давайте создавать свой батальон.

— Ишь, хватил! А где оружие? Чем ты будешь кормить бойцов?

— О чем тут спорить? Хлеб нужен городу?

— Нужен.

— Керосин нужен?

— Так вот, все это под замком на складах у буржуев.

— А без тебя мы этого не знали.

Положение, действительно, было сложным, если не сказать — отчаянным. Железной дороги нет. Никакой связи с далекой революционной Россией у заброшенного степного городка — тоже нет. Керосин, спички, топливо, соль и хлеб, хлеб!.. От разговоров — всего этого не прибавлялось. Совдеп принял постановление: изъять товары, которые торговцы прятали до лучших времен. Но принять постановление было легче, чем его выполнить. Совдеп обложил состоятельных горожан налогом на общую сумму три миллиона рублей. Мельницы — ветряные, паровые, водяные — удалось национализировать, но запасы зерна таяли. Молоть было больше нечего. Все административные учреждения находились под контролем совдепа. Но положение по-прежнему оставалось тревожным, как понял Еркен, вернувшись из поездки по аулам.

Засиделись они далеко за полночь, а так ни до чего и не договорились.

V

Еркен неторопливо шел домой по тихим ночным улицам.

Окна в домах давно погасли. Только одно попалось, в

котором был свет. Оттуда доносились голоса, кто-то затянул песню, но тут же ее оборвал.

Вот так же допоздна они засиживались в Омске, где тогда учился Еркен. Только споры у них были другие. О поэзии. О красоте. О мужестве и человечности. О поэтах и художниках, которые становятся голосом народа и его глазами.

Сколько было сломано пик во имя прекрасной Моны Лизы! Великий Леонардо был влюблен в свое творение и никогда не расставался с ним. Иные пытались объяснить его пристрастие лишь восхищением перед женской красотой, влечением к совершенству. Художник ведь — живой человек, и в его груди горячее сердце мужчины.

Но спор, в общем-то, был не об этом. На печальном лице молодой женщины, недавно потерявшей мужа, на одно лишь мгновение мелькнула улыбка, и над этой загадочной улыбкой уже несколько столетий люди ломали головы. И Еркен ломал, встречаясь с прекрасными темными глазами. Для себя эту загадку он разгадал. В жизни каждый день, каждый час неповторим. Не по одной колодке скроены они. И в жизни человека бывает не одна лишь радость, не одно лишь горе. Едва уловимая улыбка на лице скорбящей женщины — вот что было главным для художника, и Еркен был так в этом уверен, будто сам Леонардо делился с ним сокровенными замыслами, создавая свою Мону Лизу... Отчего улыбнулась кроткой мимолетной улыбкой печальная молодая женщина? Лучшие дни прошедшей любви ей вспомнились? Или мелькнула надежда на будущее? Неизвестно, и никто никогда этого не узнает. Но только разомкнулись сгустившиеся тучи горя, и пробился к ней неяркий солнечный луч. «А почему это тебе пришла сейчас на ум Мона Лиза?»— обратился к Еркену Еркен.

От самого себя не было смысла скрывать: это неизвестная девушка, мелькнувшая на мгновение возле юрты, освещенная слабым пламенем костра, она, на лице у которой были и страх, и надежда, и радость, и сомнение,— вот что навеяло омские воспоминания о Моне Лизе, о бессмертной Джоконде. У каждого, кто пишет — независимо от того, великий он или малый,— должна быть своя Джоконда. Он не знает имени этой девушки и никогда ее, быть может, больше не повстречает, но как хорошо, что она есть, и сейчас — там, на берегу озера Кзыл-Мо-

ла — радуется, что проезжему акыну и Кайсару удалось уйти от погони.

Придя домой, Еркен залпом выпил стакан холодной простокваши, оставленной хозяйкой, и присел к столу. Лампа-пятилинейка едва мерцала, сузив до сумрачного уголка огромный мир, который вмещал в себя и загадку Моны Лизы, и верзилу Заячью Губу, и прекрасную девушку в доме косоглазого Отарбая, и подбитую скулу Ефрема, и разговоры в совдепе про хлеб и оружие.

— Ложился бы, комиссар,— проворчала за перегородкой хозяйка.— Сам знаешь, не даете вы нынче керосина...

Еркен ничего не ответил. Он только чуть прикрутил фитиль и придвинул лампу поближе. Спать ему не хотелось, хоть он и провел почти сутки в седле. Он знал в себе это состояние обостренной восприимчивости, когда слова начинают появляться — одно слово за другим, и рождается образ, мысль, чувство...

Казалось бы, он будет писать о девушке, поразившей его воображение. Но на листке он арабской вязью вывел «Хлеб». Он думал о том хлебе, который лежал на складах, а рядом ходили голодные люди... О хлебе писал он, и строки поднимались на листке — строка за строкой, и все равно это были стихи о девушке, может быть,— для девушки, потому что время от времени Еркен отрывался и старался представить себе, какое у нее будет лицо, когда она прочтет вот эту строку или вот эту.

Унылая пятилинейка начала чадить, когда он кончил про хлеб. Но остановиться Еркен уже не мог, и рука сама вывела на другом листке «Плач лампы». Плач тускло мерцающих, обескровленных ламп — сам просился на бумагу.

В дверь постучали. Один раз, два, три... На своей постели заворочалась хозяйка:

— Комиссар, ты сам пойди открой. Опять, верно, твои дружки. Вот и вчера они приходили. Сказал бы, чтоб не шлялись по ночам. Боюсь и...

Еркен прошел в сенцы. Что там такое стряслось, что в совдепе не могли подождать до утра? Он откинул засов и, торопясь записать родившуюся строку, направился обратно к себе...

— Стой!— раздалось у него за спиной.

Он вздрогнул от неожиданности. Он обернулся. Двое вооруженных стояли в дверях, с ними — пучеглазый Фарид, быстро же он добрался от Кзыл-Мола обратно в го-

род! Уже сейчас-то он не протягивал руку для приветствия...

— Ты арестован!.. Кончился ваш совдеп!

При последних вспышках лампы у себя в комнате Еркен положил на стол деньги за квартиру. Фарид, увидев бумаги, подошел, взял листок, на котором было написано «Хлеб», и другой — с неоконченным «Плачем лампы». Он повернулся к Еркену:

— Ты думал, если сбежал из Кзыл-Мола, то и вовсе ушел от нас?.. Вот тебе хлеб!— Он сложил и показал ему кукиш. «Плач лампы»? «Я была рождена, чтобы людям светить...» Хо! Акын!

Еркен молчал. Он ни слова не произнес с той минуты, как резкий окрик: «Стой!» вырвал его из мира стихов. С улицы — издалека — донесся одинокий винтовочный выстрел.

Листки со стихами Фарид сунул в карман. Хорошо хоть, стихи не пропадут. Еркен все там помнил от слова и до слова.

На улице скакали верховые, кучками двигались вооруженные люди. «Кончился ваш совдеп?» Нет, врешь, Фарид!

— Шагай, комиссар. Да поживей! В царство свободы!

У выхода из дома камча больно стегнула его по непокрытой голове. Кончик угодил по лбу, и кровь теплой струйкой заливала ему левый глаз, стекала к уголкам губ. Это впервые в жизни Еркен узнал вкус собственной крови, она была солоноватая... Это впервые в жизни кто-то осмелился поднять на него камчу — это сделал купеческий сынок Фарид, такой решительный и храбрый с безоружным человеком.

Стало уже светло. Тягучий колокольный звон обволакивал город. С минарета большой мечети на главной площади торжественно звучал азан[1]. «Аллаху акбар!.. Аллаху акбар!..» Они сегодня не прекословили, а вторили друг другу — эти голоса извечных врагов, православной церкви и мусульманской мечети. Кажется, никто в эту ночь не спал в городе. Народ повалил на улицу, и такое столпотворение Еркебулан, пожалуй, наблюдал только в тот день, когда сюда дошла весть о свержении белого царя.

На площадь согнали много арестованных, со всех

[1] Аза́н — призыв мусульман к молитве.

концов города. Страшно было смотреть на них: избитые, окровавленные, опухшие... Одежда изорвана в клочья. Еркену как-то не пришло в голову, что сам он, должно быть, выглядит не лучше.

В толпе было много таких, которые только вчера старательно сдергивали шапки, встречаясь на улице с кем-нибудь из совдепа. Владельцы мельниц и кожевенных мастерских, торговцы, офицеры — все они пришли на площадь, чтобы насладиться зрелищем поверженного, как они считали, врага. И каждый норовил наотмашь, похлеще ударить пленника, ударить так, чтобы зубы вон, чтоб кровь из носу... Изможденные люди сплевывали и молчали.

Еркена ухватил за волосы знакомый купец и хрипел от ярости, пока часовой не отогнал его, чтобы не задерживать движение колонны. Но тот все же успел — унести клок волос, несколько пуговиц, порвать воротник рубашки.

Полгода назад Еркен около месяца жил на квартире у купца. У того была дочь: рыхлая девица с короткой шеей и грудями, как колокола на церкви. Маслянными глазками она умильно посматривала на мужчин, которые торопливо проходили мимо, если сталкивались с ней на улице. Купец открыто подсовывал неудавшуюся дочь квартиранту, расписывал ему прелести и радости, которые ждут того, кто свяжет свою судьбу с его дочкой. Еркен плюнул, съехал с квартиры. И сейчас купец рассчитывался с ним за нанесенное оскорбление.

Еркен молчал. Надо выстоять, чего бы это ни стоило! Он верил, он знал, что это еще не конец. Борьба, борьба не на жизнь, а на смерть, была еще впереди. И тюрьма длиною в девять месяцев и девять дней — тоже была впереди.

Штабс-капитан Сербов, монархист по убеждениям, допрашивал Еркена. На столе перед ним лежала тонкая изящная камча — стэк.

— Ты большевик?

— Большевик.

— Комиссар?

— Комиссар.

— И еще, кажется, редактор газетки?

Кажется!.. Почему это ему кажется, когда всем в Караоткеле доподлинно известно, что Еркебулан — поэт и редактор новой газеты «Тиршилик».

— Да, я редактор. Это не ложь.

— Воюешь за советскую власть? Признаешь, что вы провели уездный съезд совдепа?

— А мы этого никогда не скрывали.

— А среди тех, кто разгонял земство, ты был?

— Да, был.

— А почему ты против земства?

— Потому что земство присягнуло на верность Временному правительству и потребовало от своих делегатов служить ему. А мы это правительство не признали.

— Так... Понятно. Но ведь ты, насколько мне известно, и против создания уездного отделения Алаш-Орды выступал. Ты их тоже разгонял?

— Да, тоже.

— А почему, позволительно мне будет спросить, ты выступаешь против своих?

— «Своих»... Кто хоть немного разбирается в сути событий, тот так не скажет...— Алаш — это не мои. Националисты воображают, что свобода для них — это создать свое ханство, где баям будет еще вольготнее, чем раньше. Алаш-Орда — это их партия. Мне с ними не по пути. Я против них.

Помахивая стэком, выпуская кольца дыма, играя массивным портсигаром, временами хмурясь, три часа его допрашивал этот красивый штабс-капитан. Уговаривал, угрожал.

Три часа стоял перед ним поэт, не поддаваясь уговорам, не пугаясь угроз. Сербов загадочно посматривал на него. В эти дни перед ним прошли десятки людей. Были и такие, что на первом же допросе теряли все мужество, раскалывались и говорили даже больше, чем было им известно. Этот — из других. Но пускать его сразу в расход не советуют. Он, видите ли, поэт! А в этой дикой степи — поэт нечто вроде живого святого. Его убийство может вызвать недовольство у местных казахов, оттолкнуть их от алашордынцев, которые и без того не слишком пользуются влиянием. Но повозиться с этим Еркебуланом, по-видимости, придется немало! Убить — не убьешь, но прижать его можно и нужно.

Сербов вызвал конвой и приказал тут же, у него в кабинете, заковать арестованного в кандалы.

— Желаю...— улыбнувшись, сказал штабс-капитан,— желаю, чтобы цепи оказались прочными и не износились до конца дней твоих...

— И я...— тоже улыбнулся Еркебулан.— В тот день,

когда цепи будут на вас, считайте, что я пожелал вам то же самое.

...Узники ютились в холодной камере, на каменном полу.

Здесь, где с трудом могло бы уместиться человек двадцать — тридцать, находилось их больше ста. Кандалы были не на всех. На всех кандалов просто не хватало, и тюремное начальство, и штабс-капитан Сербов приберегали их для особо несговорчивых.

Еще с царских времен в тюрьме сохранились арестантские куртки и брюки из полосатого, черного с желтым, грубого холста. Еркен недоверчиво оглядывал сам себя в этом одеянии. Он готов был биться головой о стену при мысли об унижениях, которым его подвергают враги. Но он сдерживал себя. Орел за решеткой, лев, томящийся в клетке в железных цепях,— они ведь тоже готовы каждую минуту вырваться на волю.

Он горько упрекал себя и своих товарищей за то, что они позволили подготовить и совершить этот контрреволюционный бунт. В камере иногда вспыхивали бурные споры, кто-то пытался на кого-то свалить ответственность за все случившееся. В таких случаях Еркен говорил, что виноваты — все. Не хватало опыта. Отказала осторожность. Не проявили революционной бдительности. Пока они вели разговоры о том, как заставить торговцев открыть лавки, где добыть оружие для батальона, притаившиеся до поры до времени офицеры и алашордынцы сумели захватить их врасплох.

Минутами Еркен уже не надеялся на то, что когда-нибудь вернется в ту жизнь, которая осталась за этим гнусным каменным мешком! Как-то раз, не в силах больше томиться на месте, он вскочил, подпрыгнул, ухватился за железную решетку и подтянулся к окну на руках.

Он увидел всего лишь небольшую площадку — зеленую лужайку и голубое небо вверху, и даже грубые ржавые прутья решетки не могли испортить этой живой зелени и прозрачной голубизны. Не отрываясь, смотрел на площадку Еркен, и ему казалось, что на всем свете нет более прекрасного уголка. Глупец!.. Сколько таких лужаек он встречал в жизни и равнодушно проходил или проезжал мимо. Ему казалось, он грудью чувствует прохладу травы... Но это была сырость тюремной стены.

Закованный поэт теперь несколько раз в день приникал к окну, не боясь, что какой-нибудь стражник может пальнуть в него — подходить к окнам было строжайше

воспрещено, это было одно из самых тяжких нарушений тюремного режима.

Он уже знал: ежедневно, почти в одно и то же время, по лужайке важно выступала белая гусыня со своим выводком. Гусята — еще неуклюжие, с желтоватым нежным пушком, смешно переваливаясь, подергивая хвостиками, чинно тянулись за матерью и пищали. Потом они стали самостоятельнее, и матери уже иной раз приходилось щипнуть кого-нибудь из них разок-другой, чтобы заставить слушаться.

Если же Еркен поворачивал голову влево,— там, шагах всего в ста пятидесяти, вела вдоль речушки проезжая дорога. По ней на быках, на лошадях, на бричках, груженных кизяком, с утра до вечера двигались городские жители.

В камере было душно, сыро. Лишь по утрам в единственное окошко доносился прохладный степной ветер. Иногда раздавалась трель жаворонка. Сердце у Еркена начинало щемить, и он, не обращая внимания на гремящие кандалы, кидался к окну, подтягивался... Может быть, и глупо было рисковать получить пулю в лоб. Но он не в силах был отказаться от этих рискованных «прогулок», как он их называл.

С некоторых пор он замечал на лужайке совсем юную девушку. Она прохаживалась здесь, пристально вглядываясь в тюремные окна. Черная плюшевая безрукавка, белое шелковое платье с оборками, на голове — удивительно идущая к ней черная шапочка, украшенная перьями филина, надетая немного набекрень. Рослая и стройная...

Увидев ее впервые, Еркен потерял покой. Не она ли это? Не та ли девушка, увиденная в ауле сумрачным тревожным вечером? Она или не она? Правда, ее лицо было плохо видно отсюда. Глаза, как черная смородина, черные шелковистые волосы, следы печали на чистом лице — все это поэт выдумал, все сам дорисовал в своем пылком воображении.

И все равно Еркен мысли не допускал, что это может быть какая-нибудь другая девушка. Нет, та самая, которая в доме у Отарбая писала записку: «Ага, эти негодяи собираются убить вас». Неокрепший полудетский почерк. Убить — палочки и крючки еще более неуверенные, видно, как дрожала у нее рука, когда она выводила это страшное противоестественное слово.

Еркен, стиснув зубы, изо всех сил рванул на себя же-

лезную решетку, но четырехгранные толстые прутья не поддавались.

Арестанты встревожились:

— Что там такое? Что произошло?

Еркен ничего не ответил. Что он мог им сказать, как бы сумел объяснить, кто эта девушка и что она для него значит.

Дни тянулись томительно долго, а ночи были еще страшнее, а когда удавалось забыться тревожным сном, сон скоро прерывался от лязга кандалов, от глухих ударов о пол прикладами. «Про-о-щай-те, то-о-ова-ри-щи!..» Среди этих голосов, измененных предчувствием близкой смерти, Еркебулан распознал однажды голос Ефрема, того самого, которому подбили глаз, и друзья утешали его, что до свадьбы заживет. Ефрем действительно собирался вскоре жениться на дочери рабочего с салотопенного завода. Говорили, что расстреливают беляки за городом, за рощей, где раньше собирались на тайные маевки.

И уже не было сна, а мысли снова возвращались к тому, как же они допустили, чтобы офицерье захватило их врасплох, и где теперь Кайсар, удалось ли скрыться Кариму.

Иногда его гнев и ненависть, и любовь просились в стихи, и строчки начинали складываться в голове. О свободе он писал, которой был лишен, о том, что мало любить свободу, надо еще и уметь биться за нее.

Время в застенке ползло, точно повозка, запряженная волами. Еркебулан однажды добирался на них в Караоткель из поселка, где для него не нашлось лошадей. Какое-то разнообразие вносили допросы. Сербов, правда, становился все настойчивее и, видя бесполезность своих усилий, уже пускал в ход стэк, а не только поигрывал им, и многозначительно говорил: «Может быть, и тебе хочется прокричать «прощайте, товарищи»? Твое упрямство к этому приведет в конце концов». А в камере Еркен рассказывал об этом легко, остроумно,— как бесится Сербов, как конвойный попросил Еркена —«комиссара», чтобы он заступился за него, когда снова придут красные... Многие после допросов подавленно молчали, сцепив руки на коленях и уставившись глазами в одну точку. Еркен знал, что нельзя отчаиваться, не только ему одному было известно, чего стоит — владеть собой и развлекать товарищей по камере рассказами о Сербове.

Подложив под голову подушку, набитую трухлявой

соломой, поэт устроился на голом полу. И вдруг — вскочил и бросился к окну, хотя только оглядывал лужайку и проезжую дорогу. Вот сейчас, в эту минуту, должна появиться она.

Как он угадал! Едва он прильнул к железным прутьям, на площадке перед тюрьмой появилась девушка. Но сегодня она была не по-обычному тороплива. Почему так спешит? Куда? Как заглядывает в окна! А кто эта женщина в кимешеке[1], которая подбежала к ней, сердито схватила за руку и начала выговаривать. Девушка ей не отвечает. Кажется, она даже не слышит. Застыла — смотрит на тюремные окна. На полном скаку осадил возле женщины вороного коня какой-то джигит. Он замахал руками, показывая назад, что-то возбужденно говорил. Но девушка и его не слышала, и ему ничего не отвечала. Еще раз обвела взглядом окна и как-то сразу сникла. И медленно, словно навсегда прощаясь с кем-то, повернулась к женщине в кимешеке.

Пальцы у Еркена разжались, и он упал на каменный пол, и глухо звякнули кандалы.

Арестанты всполошились:

— Что такое?..

С этого дня он вдвое дольше висел на окне, но больше так и не увидел девушку.

Наступила осень. Гусята стали совсем взрослыми и больше не нуждались в материнской опеке. Потом и снег выпал, ударили жгучие морозы Арки. А юная девушка в плюшевой безрукавке и белом шелковом платье?.. Как бы она была одета теперь? Еркен думал о ней наяву. А ночью она приходила к нему такой, какой он видел ее однажды у юрты, на берегу озера Кзыл-Мола, и такой, какой она прохаживалась вдоль тюремной стены, приходила настоящая и придуманная. Она или не она? Кого она искала здесь? Неужели?.. Неужели она искала его? При этой мысли о несостоявшейся встрече, которая должна была бы принести ему счастье, сердце поэта наполнялось болью. И он знал, он чувствовал, что никогда уже не излечится от этой боли.

VI

— Когда я только избавлюсь от этих бродяг!..

Отарбай произнес это вместо ответа на учтивое при-

[1] Кимешек — легкий женский головной убор.

ветствие, произнес громко, нисколько не стесняясь, что путник уже вошел в отау и нерешительно остановился у двери. Это был рослый мужчина лет сорока, он оброс густой бородой, в бороде, при ярком свете пятидесятилинейной лампы, можно было рассмотреть серебряные прожилки. Весна стояла холодная, и он был в просторной шубе, на голове ушастая шапка «кулакшын», на ногах — громоздкие, набухшие от сырости сапоги, подвязанные снизу бечевками и сыромятными ремешками.

Бродяг по нынешним временам действительно развелось много. Голод погнал их от родных очагов, и они пошли по миру. Но все эти бедствия, как видно, обходили стороной хозяина юрты. Видно, каператып — это не то что какой-то бесправный ямщик, которым помыкает кто хочет. Новые подушки и одеяла, новые кошмы в юрте. Прежним осталось то, что Акбала не ладила со своим мужем.

— От хорошей жизни как будто становятся бродягами!— сказала она, чтобы только сказать что-то ему наперекор.— Чем насмехаться и ворчать, позвал бы человека к дастархану.

Она немного помолчала, как бы давая возможность ему — хозяину дома — исправить свою оплошность и проявить гостеприимство. Но он и не подумал воспользоваться этой возможностью.

— Присаживайтесь,— сказала Акбала.— Пейте чай.— Она протянула ему пиалу.

На дастархане, словно отара перед закатом солнца, рассыпался курт, иримшик[1], лежали крупные ломти пресной лепешки. Перед Отарбаем белел кусок сахара. Возле Акбалы, возле пожилой женщины, сидевшей по соседству с почетным местом, путник сахара не заметил.

Он оказался не жадным до еды, не набросился, как можно было ожидать, на хлеб и иримшик. Только небольшой кусок лепешки съел и выпил всего лишь две пиалы черного чаю.

— Спасибо...

Он говорил отрывисто, коротко. Сперва он боялся, что Отарбай или Акбала узнают его по внешнему виду. Но если бы ему сейчас, год спустя, удалось бы взглянуть в зеркало, он бы и сам себя не узнал. А голос? Голос тоже звучал хрипло. Девять месяцев и девять дней в тюрьме,

---

[1] Курт — сыр, приготовляемый мелкими кусочками; иримшик — кусочки сушеного творога.

И потом вот — три месяца плутаний по степи. Кружным путем, чтобы избежать опасных для него встреч с колчаковцами и алашордынцами, он шел на юг, где, по слухам, укрепились Советы.

— Ты что?— решил нарушить молчание Отарбай.— Должно быть, и ты к нагаши[1] подался? Все, кто забыл запах родного очага, говорят одно и то же — к нагаши иду...

— А вы угадали. Я действительно разыскиваю своих нагаши.

— Ну, я думаю, они — такие, что не знают, куда добро девать, а?

— Насчет добра не знаю. Но в тех краях, я слышал, не голодают.

— А! Ты слышал... Говорят...— злобно ухмыльнулся Отарбай.— Разбрелись по степи тюремные бродяги — одни нагаши ищут, другие к жиенам[2] пристраиваются... Ты работал бы лучше, чем бродяжничать!

Он с треском откусил от сахара.

— А вам работник не нужен?

— На меня весь аул работает. Бродяга зачем?

— Я кучером могу...

— Чтобы на дороге зарезать хозяина и угнать его лошадей? Ты знаешь, что такое капературатып? Я кормлю их всех, голодранцев.

— Кормишь!— не удержалась Акбала.— Слава аллаху, что у тебя у самого не оказалось голодных родственников. А то бы они у твоей юрты подохли с голоду.

— Меня аллах избавил, зато у тебя есть. Сидит же вот одна такая на моей шее...

Одним глазом он буравил жену, а другим — уставился на пожилую женщину, которая молча сидела за дастарханом, но ни к каким угощениям не притрагивалась, только чай пила.

В голосе Акбалы звучало нескрываемое презрение:

— Не беспокойся. Она тебя не объест. Я ее накормлю из своей доли, а ты меня кормить обязан. Мать тоже забыла запах родного очага, потому что к дочери едет. К той самой дочери, которую ты со своими прихвостнями продал замуж. Аклимажан на руках будет носить мать! А ты больше не задевай, не смей задевать ее своим поганым языком.

---

[1] Нагаши — родня по материнской линии.
[2] Жиен — родственники по отцу.

Хорошо, что сейчас никто из них не обращал внимания на путника, никто не заметил, как дрогнула у него рука, державшая пустую пиалу, заблестели его глаза, бывшие до этого совершенно безучастными. Ведь если эта пожилая женщина — мать Акбалы, и она едет к другой дочери... Значит, его мечту звали Аклима! Прощай, Аклима! Он уже один раз прощался с ней. А теперь это — навсегда...

Он заставил себя слушать, надеясь еще что-нибудь услышать об Аклиме.

Акбала забыла о присутствии постороннего. После каждой новой едкой, гневной, меткой ее насмешки косоглазый опускал голову все ниже и ниже, он просто захлебнулся в потоке убийственных слов. А она упивалась ненавистью к нему и возможностью высказать эту ненависть всю, до конца. Но вот Акбала остановилась, чтобы немного передохнуть.

Отарбай, униженный и жалкий, немного помолчал, а потом, видно, захотелось ему сорвать свое зло хоть на ком-нибудь.

— Эй, а ты кто такой?— обратился он к путнику.— У тебя белет[1] есть? Если есть — покажи.

— А если он тебе покажет белет, то что ты в этом белете разберешь?— снова вскинулась Акбала.

— Не разберу, так по виду пойму, что за белет...

— А ты сам кто такой, чтобы людей проверять? Может быть,— ты аулнай? Или урендык[2]?

— Я — каператып. А кто сильнее — каператып или урендык, это еще неизвестно.

— Какой ты каператып! Ты несчастный послушный пирканшик волостного Мырзакельды и хаджи Калжана. Пирканшик, пирканшик, вот ты кто! Слова сказать не смеешь. Они себе берут плюш и бархат, сахар, чай, а тебе, дурню, выдают ситец и мампаси. Как собаке кость. Лучшие куски оставляют себе, а в тюрьму за них, за всех, сядешь ты.

Отарбай не нашелся, что ответить, а потому швырнул в жену пиалой. Но швырнул осторожно, чтобы не разбить ее о самовар.

— Да что вы грызетесь?— вступила в разговор мать Акбалы.— Я же недолго буду вам в тягость. Завтра же

---

[1] Белет — удостоверение, вид на жительство.

[2] Аулнай — аульный старшина; урендык — искаженное: урядник.

уеду. Аклимажан через людей передавала, чтоб я забрала ее домой. Плачет, говорят, бедняжка, убивается...

Все было ясно... Только в чьих руках теперь томится и мечется, и рвется на волю, как большая белая птица, Аклима? Что может быть горше судьбы девушки, попавшей в лапы степных шакалов, в когти стервятников? Все было ясно. Неизвестно лишь одно. Та девушка, что приходила к тюремной стене и кого-то искала в зарешеченных окнах,— была Аклима? Или другая? Кто-то на лихом вороном коне умчал ее тогда! А даже если это была она. Какая теперь разница? Там, где пылал огонь, осталась зола. Там, где цвело дерево, лежат пожелтевшие листья, втоптанные в грязь. Там, где был портрет Джоконды, поработал кистью пьяный маляр.

Он не мог больше находиться в этом доме. Он должен был остаться один на один со своим горем, в котором никто не в силах был его утешить и которое никто не мог с ним разделить.

— Спасибо... Я ухожу. Прощайте,— негромко сказал он и направился было к двери.

— Апырау!— удивленно воскликнула Акбала.— Куда вы в такую темень? Ночь же на дворе. Волки... А страшнее любых волков в степи — разбойники. Оставайтесь, переночуйте.

— Э-э! Волку я сам горло перегрызу. А разбойнику — что с меня взять?

Он еще раз посмотрел на Акбалу, попрощался с ней взглядом и вышел.

Акбала вздрогнула. Ведь было уже такое... Год назад — тут же в юрте, с того самого места — безмолвно простился с ней черноглазый красавец-поэт, который одним ударом свалил Токе. Нет, не может этого быть? Тому было двадцать четыре, двадцать пять. А этому сорок, не меньше. Но глаза, глаза! Немного удивленные, немного смеющиеся, немного печальные. Его глаза. Но слышно было, того посадили в тюрьму и расстреляли на рассвете. А может, каким-то чудом спасся? Тогда понятно, почему он поседел... Дай бог, дай бог, чтобы это был он. Пропади Отарбай со своим краденым добром, подушками и скотом. Пропади его каператып! Пропади все!.. Дай только бог, чтобы это был он, поэт, голос степи.

А путник вышел наружу, постоял, чтобы глаза привыкли к темноте. Напротив, на том же самом месте, находилась большая юрта. Но из дымового отверстия, как тогда, не летели искры. Некому было откинуть полог. Не

было огня, не было того прекрасного лица, которое этот огонь на мгновение похитил у темноты. Не было рядом и Кайсара, который сказал бы: «Акын-ага... Пойдем, пойдем, акын-ага». Кто знает, где теперь Кайсар.

Опираясь на толстую суковатую палку, он двинулся в путь. В ауле шумно вздыхали сонные коровы. Стреноженные лошади неподалеку хрустели травой, фыркали. Вслед ему лениво, больше по обязанности, лаяли потревоженные собаки.

Не было здесь Аклимы, и аул казался ему пустым и холодным, как труп.

...Горькие мысли были его неразлучными спутниками и через три дня, когда он подходил к аулу, где рассчитывал получить помощь, чтобы добраться, наконец, на юг, к своим. Было раннее утро. По высокому голубому небу плыли легкие облака. Небольшой косяк коней пригнали на водопой после ночной пастьбы. Табунщик на рыжей куцехвостой кобыле-трехлетке, размахивая длинным куруком, загонял в воду жеребят. То ли жеребята боялись воды, то ли им просто нравилась игра с табунщиком, но они носились вдоль берега, тоненько ржали, и стоило большого труда заставить их сойти в реку.

Табунщик заметил на берегу пешего человека, который стягивал с себя сапоги, явно собираясь переходить речку вброд.

— Эй! Эй, черная борода! Не раздевайся! Я тебя сейчас перевезу. Ты что, спятил? Или ты такой гордый, что никого не хочешь ни о чем просить?

Бородач, не отвечая ему, снова натянул сапог, подвязал ремешками подметку, но большой палец так и остался торчать наружу.

Табунщик направил к нему рыжую кобылицу. Путник сперва подумал, что ошибся, не может быть, а теперь увидел, что — нет.

Верхом на рыжей кобыле сидел Кайсар.

Но его парень не узнал.

— Куда ты путь держишь, старина?

— Где-то здесь должен быть мой нагаши.

— А кто?

— Его зовут Байкеном.

— Акылбек Байкен?

— Да, да! Он!

— Ойбай! Да я же табунщиком в его ауле, хоть сам родом из другого места. А тот аул, что виден по ту сторону речки,— это его аул и есть.

— А дома ли сам Баеке? Здоров ли он?

— О! Да еще как здоров! К большому тою сейчас готовится. В позапрошлом году умерла его жена, и он в жены взял молодку... Так вот, она ему родила сына. Ладно, старина. Я как раз собирался в аул. Сейчас дам тебе коня. Иначе Баеке всю шкуру спустит с меня...

— А как тебя зовут, парень?

— Меня-то? Кайсар. Большевик Кайсар... В прошлом году я с одним поэтом, с Еркебуланом, подался в Караоткель. С тех пор меня и прозвали большевиком.

— А ты в Караоткеле в партию вступил?

— Да ну! Какой там! Один день,— нет — полдня заместителем был в газете, у Карима. Вообще-то не он, а этот поэт определил меня на работу. Это длинная история, ага. Я после вам когда-нибудь ее расскажу, если захотите слушать.

Кайсар почти не изменился за этот год. Немного раздались у парня плечи, крупней стала рука. А так — все тот же простодушный, чуть шумливый... Вообще люди в аулах не меняются,— десять лет пройдет, а встречаешь их в той же поношенной шубе, в той же шапке, и ведешь разговор, словно расстался вчера.

Вскоре Кайсар вернулся, ведя в поводу красивого, горячего светло-мухортого коня. Конь был оседлан.

— Принимай, ага! Может быть, слыхал? Это и есть знаменитый, самый знаменитый скакун у Баеке.

Все так же он знает в округе лучших лошадей и гордится ими, словно они принадлежат ему.

Три дня шел по степи Еркен наедине со своим горем. Теперь же, едва почувствовав под собой коня,— преобразился. Кургузая потертая шуба на нем была та же. Осанка стала другой. У него распрямились плечи, поэт встрепенулся, словно молодой беркут перед взлетом, и если бы Кайсар заметил его в эту минуту, ему бы и в голову не пришло сказать — старина.

Они перебрались на тот берег — Кайсар гнал косяк в аул, наступило время привязывать жеребят, чтобы можно было подоить кобылиц. Мухортый плыл, широко раздувая ноздри, а ступил на землю — и сразу помчался, едва касаясь ее копытами. Ну и мухортый! Не зря хвастался им Кайсар, не зря называл его братом ветра! Еркену пришлось придержать коня, чтобы парень мог догнать его. Кайсар поехал рядом, и мухортый теперь не торопился обгонять игривую рыжую кобылу, они рысили рядом, и Кайсар рассказывал:

— Вы, должно быть, слыхали про Еркебулана, ага? Знаменитый поэт. У нас каждый знает его стихи. Особенно девушки были от него без ума. Хоть тайком, хоть в дверь, хоть в щелку в юрте,— только бы им на него взглянуть. Любил на домбре играть. Сидит, глаза у него блестят, а пальцы — цок, цок, цок, вот вроде как этот мухортый, что под вами. А баи его не любили, он им очень досаждал своими стихами, а еще — с речами выступал в аулах. Убить однажды хотели, у нас в ауле Кзыл-Мола. За то, что он правду говорил.

— Он тебя в газету, ты говорил, устроил. А почему ты оставил эту работу?

— О, алла! Разве я сам бросил бы? Заместителем-то я вечером стал, а утром газету разгромили. Мне разок-другой дали по затылку и велели убираться. Они Карима искали, но не нашли.

— А этот поэт?

— Его они, по несчастью, арестовали. Ночью взяли, дома. Держали долго в тюрьме. Одни говорят — убили его. Он им ничего не сказал, вот они и расстреляли его — там, где всех расстреливали, за рощей. Но я слышал и другое. Будто ему удалось бежать. Будто, когда расстреливали, Еркен упал — на секунду раньше, чем раздались выстрелы. И что будто он ходит где-то в степи, пробирается к своим, таким же большевикам, как он сам. Только, я думаю, неправда это. Если бы он был жив, мы бы знали его новые стихи. А мы не слышали новых стихов.

— Может, ему сейчас не до них,— отозвался он.— Но если он жив, то обязательно услышите. А что с тобой потом было?

— Что потом... Бродил по улицам, как бродяга. Из своего аула я удрал, туда мне было нельзя. А куда идти? По счастью, я встретил в городе Баеке. Я знал, кто он. Он меня накормил. Разговорились. Он оказался другом этого поэта, Еркена. Вот и взял меня к себе. Пасу тут лошадей. Куда, куда?! Всегда она такая сумасшедшая! Куда ты!

Кайсар понесся вдогонку пегой кобылице и завернул ее к остальным лошадям. Косяк вошел в аул, кобылицы разбрелись. Аульные ребятишки принялись гоняться за жеребятами, чтобы поймать их и привязать.

Возле большой юрты посередине аула стоял пожилой мужчина. Он пристально вглядывался во всадника, который сидел на его коне.

— Суюнши, Баеке, суюнши!— издали крикнул ему

Кайсар, в этом он тоже остался Кайсаром, ему доставляло удовольствие — приносить людям радость.— Ваш родственник приехал!

Еркен соскочил с коня, бросил повод и заспешил к старику, который быстро шел ему навстречу, расставив руки. Мужчины обнялись.

— Изгнанник ты мой,— тихо говорил Баеке, не отпуская его.— Как я истомился по тебе! Где ты пропадал так долго, мой Еркеш? Твой старик все глаза высмотрел, дожидаясь тебя. Я знал, что ты приедешь. Если ты жив, ты не пройдешь мимо дома твоего Баеке. Вот видишь, я не ошибся.

За девять месяцев и девять дней в тюрьме ни одной слезинки не уронил Еркен. Сжалось сердце поэта, когда он узнал про горькую участь, которая постигла Аклиму, но и тогда он сдержал слезы. А тут сердце не выдержало. Он не стыдился своих слез. Рядом с ним был друг. Баеке ласково похлопывал Еркена по спине, по плечам, он говорил какие-то слова. Он был простой аульный старик, но он знал, что поэта нужно иногда вот так дружески ободрить. И тогда смягчается его душа. Поэт становится нежным и мягким, как расплавленный свинец. Правда, из того свинца можно лить и пули для встречи врагов.

— Вижу, вижу...— твердил Байкен.— Вижу, что и ты соскучился по своему ничтожному старику. А я ведь приезжал к тебе, в Караоткель, да, приезжал. Но не пустили меня подлецы в тюрьму! Там-то и встретился мне Кайсар. Ну, ладно, ладно, успокойся... А ты, Кайсар, что? Так до сих пор не узнаешь его, глупый щенок? Ты посмотри, Еркеш, вот дурень, а?

Кайсар смутно догадывался, кто этот бородач. Он помнил, к кому в прошлом году приезжал в Караоткель старый Байкен. Всю дорогу они тогда рассказывали друг другу про Еркена. Узнав, наконец-то, кому он дал коня на том берегу, чтобы переправиться через речку, Кайсар скатился с седла, бросился к нему:

— Ерке-ага!

— Тише... Идемте в юрту. Нужно быть осторожней,— сказал Байкен, оглядываясь по сторонам.

Возле юрт стояли таганы, и из котлов густо валил пар. Возле них хлопотали женщины, суетились и галдели дети. А ребятишки постарше, поймав стригунов, скакали между юрт. Кое-кто из взрослых, отпустив кобылиц и привязав жеребят, посматривал в сторону юрты Бай-

кена, а двое мужчин издалека направлялись к ней, чтобы приветствовать гостя.

— Ты узнал меня, Баеке, могут и другие узнать...— сказал Еркен.— Ты прав, лучше мне скрыться с глаз...

В юрте Байкен сказал:

— Сегодня у меня той. Сын родился у такого старика, как я. Пришла бумага, Еркен. Тебя разыскивают. Нам надо хорошенько подумать, как тебя укрыть. А пока... Қайсар! Наш гость знаешь кто? Хозяин дома, мы у него останавливались в прошлом году в Қараоткеле. Он, бедняга, заболел в дороге. Ему сейчас постелят постель. Он отвернется к стене, будет лежать и болеть.

Еркен едва успел улечься и накрыться шубой, как в юрте уже появились люди. У каждого был один вопрос: кто такой гость Байкена, откуда родом и куда направляется. Байкен всем отвечал, как договорились.

Еркен лежал, прикрыв лицо ушанкой, отхлебывал кумыс из большой пиалы, поставленной рядом с ним, и, когда кто-нибудь из гостей заходил в юрту, очень естественно стонал. Лежать вот так, прикидываясь больным, когда ты долго был лишен людей, когда ты долго скрывался, а снаружи шумел и расходился той, было настоящей мукой.

Прибегал Қайсар:

— Акын-ага!.. Вот бы вы посмотрели! Борьба идет... Абеке схватил Байсеке, закрутил, завертел — и ка-а-ак швырнет его на землю! Бедняга даже подняться сразу не смог. Абеке досталась победа. Хотите еще кумыса, акын-ага?

— Давай еще кумыса...

— Весело у нас сегодня, давно так не было. В байге участвует и тот вороной хрипун. Помните, Ерке-ага? У него две дырки под мышками, он через них сильнее дышит. Вороной сегодня первым придет. Ведь Баеке своего мухортого не пускает. Он же хозяин тоя. Не положено, неудобно. А вот была бы заваруха, а? Мяса хотите?

— Давай мяса.

Было слышно через войлочную стенку, как томится на привязи мухортый, как мучается, что его не принимают в байгу, и как он хочет всем доказать, что нет тут коня, который сумел бы его обогнать. А Еркен — мысленно представлял себе, какие бы он песни спел, если бы мог при всех, не таясь, взять в руки домбру. Он бы им показал — как это нет у него новых стихов!..

Снова прибежал Қайсар:

— А я тоже, на своей рыжухе, буду участвовать... На всем скаку монету с земли достану. Многим, даст бог, носы утру!.. Чаю хотите? Дать вам чаю, акын-ага?

— Давай чаю.

Мухортый за стенкой возмущенно заржал. Ни одна из лошадей, увлеченных байгой, ему не откликнулась.

Когда село солнце и гости разъехались, Баеке и еще шесть или семь мужчин вошли в юрту. Кроме муллы, все были жителями этого аула. Пятилинейку Баеке поставил подальше от больного караоткельца, чтобы свет не резал ему глаза.

Мулла с черной такией на голове восседал на почетном месте. Байкен учтиво обратился к нему:

— Молда-еке, просим вас дать имя этому мальчишке, шалуну, виновнику тоя, которого аллах послал на радость старому отцу.

— О, Баеке! Вы мне доверяете выбор? А может быть, у вас уже есть имя для малыша?

— Мы подумали, молда-еке... Ведь у таких стариков, как я, младший — любимчик, шалун... Есть одно имя. Я бы хотел назвать его — Еркебуланом.

Мулла сказал:

— Кто станет возражать, если такова воля отца и матери?

Один из пришедших стариков тоже вступил в разговор.

— Теперь, считай, у нас в ауле три Еркебулана. Моего внука — сына моей младшей — тоже этим именем нарекли.

— Эх, знать бы, где сейчас он — наш самый первый, большой Еркебулан, первый из всех троих,— вздохнул кто-то. Еркену, лежавшему по-прежнему лицом к стене, не было видно, кто именно, а по голосу он не узнал.

Мулла поднялся со своего места и затянул соответствующую молитву. На руках у Баеке посапывал младенец.

— Аллаху акбар!.. Аллаху акбар! Лайлаха елла аллам!— старательно выговаривал мулла слова молитвы.— Имя твое — Еркебулан, Еркебулан, Еркебулан!

Трижды было произнесено имя новорожденного, как и полагается по обряду.

— Да ниспошлет аллах всемогущий здоровья, благо-

получия и долголетия всем Еркебуланам,— сказал Байкен.— Да будут они сильны духом и счастливы в своих начинаниях.

— Омин....

VII

Аул стих, сморенный шумным хлопотным тоем. Сон свалил людей где попало. Храп доносился с разных сторон. Женщины прикорнули возле очагов, свернувшись, как перепелки в гнезде.

В юрте, не зажигая огня, чтобы не привлекать ничьего внимания, старый Байкен вел тихий разговор с Еркеном.

— Ну, Еркеш, теперь говори — куда ты направляешься, в чем ты нуждаешься. Ты же знаешь, что в моих силах, то я всегда для тебя сделаю.

— Я это знаю, Баеке... Первым делом мне нужно съездить тут, неподалеку. Если можно, отпустите со мной Кайсара.

— Только и всего? Что еще надо?

— Пока больше ничего.

— Когда ты хочешь ехать?

— Если можно, сегодня ночью.

— Тогда выбирай, что тебе необходимо. Переоденься. Хоть я и старик, а кое-какую одежонку с молодых лет сохранил. Сапоги возьми с войлочными чулками, ночи еще холодные стоят. Суконный серый чапан у меня есть, прямо просится тебе на плечи. С бельем как? Найдется и белье. Ушанку свою брось подальше, возьмешь мой малахай. Коня какого?.. Мухортого, пожалуй, я тебе не дам. Слишком он заметный, разговоры пойдут. Про Кайсара скажу — поехал проводить тебя до города. А когда ты назад?

— Дней за пять думаю обернуться.

Еркен слушал старика и думал, как самые простые слова: возьми мой малахай, с бельем у тебя как — могут выражать самые глубокие человеческие чувства. Дружбу. Любовь. Товарищескую помощь. Готовность пойти на риск.

Он покинул аул затемно. Рядом на своей светло-рыжей кобыле ехал Кайсар. Едва они отъехали так, что можно было разговаривать, не опасаясь, что кто-то услышит и обратит внимание на тайный отъезд. Кайсар принялся расхваливать коня под Еркеном — тоже рыжего, только темнее, чем его кобыла.

— О, знал Баеке, какого коня вам выбрать! На нем осенью, по первому снегу, трех волков забили. Он, правда, не жорга[1], но рысью хорошо ходит. А куда мы едем, Ерке-ага?

— За кого выдали замуж Аклиму?

— А-а... Он из рода жаппас, они теперь на Кара-Коине. Косоглазому Отарбаю до смерти захотелось стать каператыпом — вот он и продал бедную девушку племяннику самого Калжана.

— А где стоит этот жаппас? Кара-Коин — это где?

— Джайляу ихние. А мы не так свернули, если хотим туда... Это — в сторону Кызмоншака-Сыргалы.

— Сколько было Аклиме в прошлом году, не знаешь?

— Как же мне не знать, мы росли вместе, вместе за водой на озеро ездили. Мне восемнадцать уже исполнилось, а она — на год меня моложе.

Еркен больше ни о чем не спрашивал Кайсара. В пути, на хорошем коне, ему всегда хорошо думалось. Сколько было друзей у него, с которыми он сражался за Советскую власть. И вот — он остался один, потерял с ними всякую связь. Многих из Караоткеля и Кзыл-Жара перевели в Омскую тюрьму. Сам он — беглец, бродяга... Колчак еще в силе. Алаш-Орда еще в силе. Не зря ведь сказал Байкен: «Пришла бумага, Еркеш, тебя разыскивают». А на юг можно только через Бетпакдалу, через мертвую неприютную пустыню. Кто будет его проводником? Тут уж и Кайсар не поможет...

Он успеет потом посоветоваться с Баеке. Это такой старик! Он что-нибудь придумает, он всегда найдет выход, если дело касается Еркена!

Они ехали к Аклиме. Еркен не знал даже — зачем? Что он может изменить? Чем он может помочь ей? Но и не повидать ее он не мог. Болезнь какая-то... Однажды темной ночью лишь на мгновение мелькнула перед ним девушка — и навсегда вошла в его жизнь. Она стояла перед ним и сейчас, уже никуда не уходя, и он снова видел на ее точеном лице и страх, и радость, и испуг, и грусть, и все эти чувства относились к нему. Может быть, так дорога была ему Аклима потому, что в тот короткий миг возникла между ними какая-то тайна... В ту минуту он впервые и до конца постиг всю человеческую сложность. Нет, не умом постиг — он понимал все и раньше, а почувствовал всем сердцем.

---

[1] Жорга — иноходец.

Великие художники прошлого, поэты, которые познали существо бытия и умели передать чудодейственным словом любое движение человеческой души — разгадывали эту тайну каждый по-своему. Но юная казахская литература еще только постигает ее. И если судить по самому большому счету — а только такой счет и ведется в поэзии,— то собственные стихи все меньше и меньше нравились Еркену. Ну, внешность у них порою есть. Такое пестрое тряпье, за которым — пустота. А все возвышенные и высокопарные сравнения не стоят одного слова Баеке, когда он раздумывал, какого коня дать ему в поездку. И ведь не скажешь, что пожалел мухортого. Нет, он заботился о Еркене. Всадник на таком роскошном коне привлекает внимание, а мятежного беглого поэта знали слишком многие. А как передать это, чтобы люди могли оценить душу старика, то высокое чувство, которое им двигало, когда он сказал: «Пожалуй, я мухортого тебе не дам». Тут не отделаешься дежурными восклицаниями — о ты, мой друг! Твое благородство велико, как эта степь!

Может быть, Еркен и преувеличивал свои недостатки. Но не мог он не думать о новых средствах выражения. Быть зачинателем новой казахской литературы... Иногда такая мысль по отношению к самому себе казалась ему непростительным заносчивым мальчишеством. Но он видел и другое — что многие подражают ему, что его находки в стихах как-то по-своему используют те, кто избрал трудный путь литературы. Поэтому на него ложится большая ответственность. Если время избрало его — удержит ли он такой груз на плечах? Ведь ему всего лишь двадцать пять. Он понимал и то, что кончилась, ушла в прошлое поэтическая эпоха, во главе которой стоял великий Абай. Новые времена наступили в степи, их сопровождает не унылый скрип старой арбы и не ленивая поступь верблюда. А как ты выразишь это? Мона Лиза, Евгений Онегин — стали для него такой же реальностью, как Аклима, увиденная однажды. А как сделать, чтобы она стала такой же близкой для других, для многих людей?

Еркен хотел еще раз увидеть ее. А что, если... Вдруг он вместо такой гордой, удивительно чистой и независимой в своей красоте девушки увидит безголосую рабыню? Нет, нет! Не приведи аллах увидеть ее смирившейся, униженной...

...На джайляу они приехали через день. По берегу

растянувшегося озера, на небольшом расстоянии друг от друга, стояли аулы. Казалось, все тут вымерло. Не дымились очаги. Не было видно людей. Они или притаились, или бросили все и ушли. По степи без всякого присмотра бродил скот. В трех аулах Еркен и Кайсар пытались найти ночлег, чтобы завтра с утра начать поиски, но никто, ни один хозяин, не пустил в юрту.

— Проходите, проходите дальше... Нельзя. Мор у нас. Кара-шешек[1].

Наконец, им попался одинокий чабан с небольшой отарой. Он и показал, где стоит аул, который они разыскивают:

— Вон... Видите, две юрты? Одна из них полуразобрана. Это там. Только вряд ли кого найдете у них. Одни повымерли, другие откочевали.

Еркен ударил темно-рыжего каблуками и поскакал к белевшим впереди юртам. Подъехав, он не стал ждать, встретит его кто-нибудь или не встретит, а тотчас спрыгнул с потного, в мыле, коня и чуть не сорвал полог, входя в юрту.

Тупо уставившись в золу потухшего очага, сидела пожилая женщина, та самая, которую он недавно повстречал у Отарбая.

Справа часть юрты была отделена голубой шелковой занавеской. За ней кто-то тяжело дышал, словно после долгого безостановочного бега.

Кайсар снаружи возился с конями и вошел немного позднее.

Не поднимая головы, старуха спросила:

— Кто вы, дети мои?.. Уходите скорей. Наверное, вы не знаете, что у нас — кара-шешек?

Они переглянулись.

— Нет, знаем, женеше,— ответил Еркен.

— Так что, вам жизнь совсем не дорога, что проклятой черной беды не боитесь? Кто вы такие?

— Мое имя Еркен, а товарища зовут Кайсар.

Внезапно дрогнул голубой занавес, там, за ним, дыхание на секунду затаилось.

— А... Кайсар. Кайсара я знаю,— сказала старуха.— Но все равно я не могу вас к себе пустить. Так догдыр[2] велел...

За занавеской кто-то вскрикнул. Еркен чуть не засто-

---

[1] Кара-шешек — черная оспа.
[2] Догдыр — искаженное: доктор.

нал от боли, которая стиснула его сердце. Этот хриплый, страдающий голос... Таким ли он представлял себе голос Аклимы. Он слушал его в своих мечтах, как когда-то в Омске — слушал рояль, который умел радоваться, и грустить, и отчаиваться, и надеяться... Аклима... Значит, жива. Не хочет, чтобы уезжали. В этом вскрике нельзя было разобрать слов, но Еркен явственно услышал: «Не уходите! Не бросайте!»

— Слушай, Кайсар,— сказал он.— Меня против оспы прививали, в тюрьме даже два раза делали прививку. А ты как?

— Ой, Ерке-ага! Разве вы не видите мою изрытую кожу? Меня никакой мор не возьмет.

— Тогда, женеше, мы ночуем у вас, если позволите. За нас можно не беспокоиться.

Старуха больше не возражала. Она молча встала и вынесла остывший самовар. Кайсар тут же исчез за занавеской.

— Аклима, это я, Кайсар.

— Н-гы...

Даже в такую минуту, на грани жизни и смерти, замужней женщине не полагается вступать в разговор с посторонними мужчинами, полагалось быть сдержанной, и все ее чувства выражались в коротком междометии — «нгы». «Нгы»— значит: я узнала тебя.

— Аклима, ты меня слышишь? Ну, как ты, родная?

— Нгы...—«Я слышу тебя. Если сказать честно, то не очень-то хорошо мне».

— Кайсар!— позвал Еркен.— Уходи оттуда. Не тревожь ее, оставь. Иди сюда.

Кайсар вышел. Он обхватил руками голову и заплакал, громко всхлипывая.

— Тише, Кайсар.

Но парень не мог удержаться.

— Ерке-ага, я так... так был рад, когда услышал от вас, что едем к Аклиме. Разве я думал, что... что... Эх!— Голос у него сорвался, он быстро-быстро замотал головой и выскочил из юрты.

За занавеской снова раздался возглас. Больная чего-то требовала, на чем-то настаивала. Может быть, она зовет его? Еркен больше не колебался. Тяжелая опасность, нависшая над Аклимой, устраняла необходимость соблюдать приличия. Он прошел туда, к ней.

Грудь ее тяжело поднималась и опускалась, она хрипела при каждом вздохе. Лицо было закрыто красной в

полоску шалью. Еркен взял ее за локоть — да, сомнений быть не могло... Рука вся покрыта твердыми струпьями. Тревожно билась голубая жилка у самого запястья.

— Аклима! Ты не отчаивайся! Ты поправишься. Я искал тебя — и вот, нашел. Я буду здесь, пока тебе не станет хорошо. Ты хочешь, чтобы я остался с тобой, Аклима?

— Нгы, нгы...

Со вчерашнего дня Аклиме стало особенно плохо. Черная оспа душила ее, но молодость — не сдавалась, молодость боролась с болезнью. Узнав о первых вспышках оспы, муж Аклимы, не заезжая в аул, без оглядки удрал в город. Его младший брат, его сестра, оставшиеся в соседней юрте, умерли. К больной Аклиме ходила бездетная вдова из соседнего аула, подавала ей пищу и кипятила чай, по ночам сидела в изголовье. С приездом матери Аклимы вдова больше не показывалась. Может быть, она давно умерла?

Неожиданное появление Еркена и друга детства Кайсара взволновало больную. Аклима внезапно почувствовала себя молодой, красивой, сильной. Она снова была той девушкой, которая, раз увидев знаменитого акына, сохранила память о нем. Но почему, почему он стал ей так дорог? Ведь она почти ничего не знала о нем, только видела в узкую щель, как он сидел в отау у сестры и с небрежным изяществом выстукивал на домбре какую-то мелодию. Нет, неправда, что она почти ничего не знала о нем. Она же знала его стихи, она знала о нем все. Как она тогда надеялась, что будет веселый беспечный вечер с песнями, с домброй, с играми. А вышло так, что поэта у них в доме чуть не убили. Она не надеялась когда-нибудь встретить его вновь. А оказывается, и он думал о ней. Искал и нашел ее!

— Может быть, снять с лица шаль? Тогда тебе не будет так душно.

— Нгы...

— Ладно, не буду.

Аклима, видно, немного успокоилась. Грудь у нее уже не ходила так бурно.

Он искал ее и нашел в самые беспросветные минуты... Еркен-ага! Какая девушка не мечтает о таком джигите, как Еркен? Ты счастливой оказалась, Аклима. Хоть и ненадолго, а счастливой. Судьба свела тебя с поэтом, когда ему понадобилась твоя помощь, и как дрожала у тебя рука, когда ты выводила страшные слова: «Акын-ага,

вас хотят убить...» Я спасла его тогда от верной смерти, а теперь он приехал, чтобы спасти меня от черного вихря. Он же сам сказал, что будет со мной, пока я не поправлюсь, не встану на ноги. А поэт — все может, он всесилен, как святой. Если завтра мне будет немного лучше, соберу уцелевших джигитов, девушек позову. Это будет шильдехана[1], ведь я действительно вторично появляюсь на свет. Акбала, ты заранее позови всех, кого увидишь. Еркен с домброй пусть сядет возле меня. О, девушки! Вы уже пришли? Как быстро вы откликнулись на мой зов. Я вам рада. Я соскучилась без вас в доме постылого. Ерке-ага, начинайте, пожалуйста. Спойте, я прошу вас, «Сурша-кыз»... «Когда тебя, любимая, я вспомнил, обняв подушку, залился слезами». Можно к тебе прислониться, ага? Как спина горит!.. Кайсар, ты где? Теперь ты спой, спой «Каракоз». Ты хорошо пел эту песню. Спой, как прежде, во весь голос. «Черноглазая, ты меня покинула, как мне быть теперь, как мне быть?» Ну, что же ты?..

Опустив голову, сидел рядом с ней Еркен и слушал ее слова. Теперь он никому ее не отдаст. Леонардо да Винчи не расставался с портретом Моны Лизы, а он не покинет Аклиму. Когда она поправится и окрепнет, они станут вместе пробираться через Бетпак-далу, на юг, к своим. Как смел ничтожный Отарбай кому-то отдать его Аклиму! Не было этого. Наплевать на старые законы, если они мешают его счастью с Аклимой. О, алла, помоги ей. Не допусти, чтобы она ушла. И как он мог сомневаться — она ли ходила по лужайке напротив тюремного окна. Какая другая девушка осмелилась бы поступить так решительно? Только Аклима.

— Не уходи, Еркеш,— сказала она.— Не уходи, Кайсар. Акбала, не уходи.

Бред кончился. Аклима впала в забытье.

Еркен до утра просидел рядом с ней, ничего не видя вокруг себя, ничего не слыша. Аклима лежала тихо. Он бесшумно поднялся, боясь ее потревожить, но тут к ней подошла ее мать, и пронзительный крик старой женщины объяснил все. Никто и никогда уже больше не потревожит Аклиму.

---

[1] Шильдехана — празднование рождения ребенка.

VIII

В жизни каждого человека есть свой календарь памятных лет. В ту ночь, возле умирающей Аклимы, поэт знал, почему молодая женщина с головой укрылась шалью,— не хотела, чтобы он видел ее лицо, обезображенное болезнью. Он держал ее руку, покрытую струпьями, словно чешуей, и думал, что никакая черная оспа, никакое страдание не может уничтожить красоту... Тонкая девушка, которую он однажды увидел в ауле, на берегу озера Кзыл-Мола, разве могла она умереть?

С той ночи прошло много лет.

Слово поэта звучало по всей казахской степи, слово поэта разнеслось и далеко за ее пределы. Остались позади дороги, пройденные в боях за Советскую власть. И теперь не саблю, не наган держал он в руках, а сафьяновый портфель, набитый важными деловыми бумагами.

Грозное было время. Гордое было время, трудное и веселое. О нем не приходилось писать старым привычным стихом, и поэт ломал этот стих, он находил новые необычные сочетания слов, и в ритме его строк слышалось биение многих сердец. Он стремился в самую гущу жизни, он старался все увидеть, все понять, и на самых простых, ничем не примечательных внешне событиях, осмысленных им, лежал отсвет перемен, происшедших в его родной степи после Октября.

К нему пришла устойчивая шумная слава. Однако поэт, если только он настоящий поэт и настоящий мужчина,— должен уметь перенести и славу, и все, что с ней связано. В стихах, написанных уже зрелым мастером, критики находили множество достоинств. А самому поэту они не нравились. Он не кричал об этом на всех перекрестках, чтобы не создавалось впечатление, будто он кичится своей взыскательностью и выставляет ее напоказ. Но он видел их недостатки и знал, что можно было написать проще, ярче, глубже и сильнее.

Прокладывать путь по нетронутому снегу — труднее, чем идти за кем-то след в след. У поэта были ученики. Были откровенные подражатели. Учениками он гордился, а подражатели доставляли ему немало неприятных переживаний. Особенно в последнее время они превозносили поэта, что бы он ни написал. Суесловие?.. Нет, не только. Расчет был точным: безудержно восхваляя его, они тем самым преувеличивали значение своих произведений. А те так же походили на литературу, как его

старая кургузая шуба — на щегольский чапан тонкого сукна, которым когда-то одарил его Баеке.

Поэт не мог простить себе, что до сих пор не взялся за большую работу. Такая книга вобрала бы весь запас его наблюдений и раздумий, осмыслила бы огромные сдвиги в судьбах степного народа. Он не мог себе простить, что о многом не написал — из того, что пришлось увидеть и пережить. О создании сложных, многогранных — и жизненных в этой сложности — образов он мечтал еще двадцатичетырехлетним юношей, когда только догадывался о том пути, который ему предстоит пройти в литературе. То ли боялся, что еще не созрел для такой работы и может все испортить поспешностью. То ли время, до краев наполненное событиями, не оставляло ему возможности сесть за большую книгу...

Так или иначе, поэт никогда о ней не забывал. С годами и Мона Лиза, и Онегин, и та девушка, промелькнувшая в его жизни, все чаще тревожили и требовали: «Ты все забыл? Почему ты не пишешь? Ты должен писать». А верно ли, что та девушка лишь раз промелькнула в его жизни? Нет. Как вечернее эхо, многократно повторяясь, мечется в горах от скалы к скале, так и она всегда откликалась по первому зову. Аклима решительно и властно вошла в его жизнь, заставила по-новому взглянуть на многие события и явления. Может быть, он и писать стал по-другому, потому что однажды, там, на берегу озера Кзыл-Мола, она явилась ему на мгновенье...

Ему было о чем вспомнить, о чем подумать. Он мог бы описать все пережитое — с того дня, когда в Караоткель пришла весть о свержении белого царя, и он, Еркен, одним из первых помогал водружать красное знамя. Все он испытал: и гордость побед, и горечь поражений. Его память со всей отчетливостью, во всех подробностях хранила приметы времени.

Нет, нельзя слишком долго собираться в дорогу. От размышлений — сумеешь ли преодолеть препятствия, пройдешь ли ее до конца, дорога не становится ни легче, ни короче.

«Круговорот». Название книги пришло вдруг — казалось бы, само по себе, но ведь сколько он думал о ней, готовился к этой минуте, когда за своим рабочим столом останется наедине с чистым листом бумаги. Перо поэта становилось нежным и добрым, когда он вспоминал о друзьях и соратниках. А когда по ходу рассказа

появлялись враги, поэт, не задумываясь, кидался в бой с пылом молодого горячего Еркена.

Страница за страницей, книга была написана и вышла в свет. Что тут поднялось! Родня тех, кто в «Круговороте» получил свое и получил по заслугам, подняла бешеную травлю. Жалобы и угрозы, сплетни, доносы, анонимки посыпались на голову поэта. «Знай, что есть оружие посильнее твоего поганого пера»,— напоминал один. «Учти, и не таким ломали рога»,— писал другой. «Эй, ты! Ходи и оглядывайся, я тебя встречу»,— обещал третий.

Когда особенно тяжело и безрадостно становилось на душе, поэт брал в руки верную домбру, постоянную спутницу его размышлений, его путешествий в прошлое. Нет, он не сомневался... Он знал, что находится на правильном пути, и сейчас обдумывал вторую книгу «Круговорота». Критика на первый том ничем поэту не помогла. Если кто-то злобно ругал ее, то другие — столь же безудержно хвалили. Середины почти не было.

...За окном сгустились сумерки, но ему не хотелось зажигать свет. За окном росли две яблони. Был август, и ветки под тяжестью плодов низко клонились к земле. Неожиданно, как это часто бывает в городе, расположенном у гор, испортилась погода. Нависли темные лохмотья туч. Гроза перекатывалась над вершинами, неподалеку, и вот-вот должен был пролиться ливень.

Пальцы поэта все чаще задерживались на нижних ладах домбры. При таком захвате на удивление красиво сливаются и согласно звучат обе струны, и это созвучие как бы напоминает поэту о многих еще не разгаданных тайнах писательства. На их постижение уходит вся жизнь, да и всей жизни оказывается недостаточно. А созвучие — это вовсе не одинаковое звучание двух струн, не примитивный унисон, а согласие, взаимность!.. Без такого согласия слов нет ни поэзии, ни прозы. И добиваться его с годами все труднее, потому что становишься еще суровее, требовательнее к самому себе.

Глухо звучала домбра. Может быть, и чародей песни Биржан-сал задумывался вот так же о великом таинстве звуков и слов, оставаясь наедине с домброй? Просторный его халат из верблюжьей шерсти лопнул на спине от удара камчи, в хвосте которой был спрятан свинец. Наглый поштабай вырвал из рук певца домбру. Оборвалась струна. Казалось, не зазвенела она, а застонала. Стон отчаяния. А волостной Жанбота не заступился,

грубо оборвал певца: «А кто просил тебя вмешиваться не в свое дело?» Понятно, разве стал бы волостной ради какого-то певца, даже если это и был сам Биржан-сал, ссориться с другим волостным?

А поштабай? Этим ударом он навлек вечный позор не только на самого себя, а и на весь свой род. Чего стоил тот его сын — Токе, верзила с заячьей губой. А его сын, внук поштабая?.. Совсем взрослый теперь. Если переехал куда-нибудь в город, то с камчой, с позорно знаменитой камчой не ходит. Но сегодня для злых, для подлых дел камча и не нужна.

Пальцы поэта по-прежнему держались на нижних ладах. Однозвучно пела домбра. «Ты унизить, Жанбота, меня позволил...» Видно, он уже давно бессознательно выстукивал именно эту фразу.

Поэт помнил, что Биржан обладал высоким зычным голосом, и, добиваясь такой же высоты звучания, он незаметно для себя крутил и крутил колки, и струна лопнула.

На улице зажглись фонари, и свет упал в комнату, в которой сидел поэт. И хотя теперь он не пел своих стихов, но все равно натянул новую струну.

И домбра снова ожила в его руках.

1966

РАЗГОВОР В НЕБЕ О ЗЕМНЫХ ДЕЛАХ

Эмблема Индийской авиационной компании — фаянсовый индус в белом тюрбане. Он на прощанье склонился в почтительном поклоне,— и вот уже пылающую жару Дели сменил умеренный климат в салоне первого класса.

Самолет оторвался от серой бетонной дорожки и пополз в небо, упрямо набирая высоту.

Мой путь вел через Калькутту и Гонконг дальше — в Токио, где меня ожидали встречи с японскими писателями. Десять часов полета по нашим нынешним понятиям это очень долго, и я стал располагаться как дома: снял пиджак и освободился от галстука, бросил на столик почти квадратную темно-синюю коробку папирос «Джамбул» и спички «Березка» с яркой этикеткой, которая воспроизводила не картины природы, а застывших в плавном танце миловидных русских девушек.

В салоне для пассажиров был создан полный уют: столики перед креслами первого ряда, сигареты разных сортов, жевательная резинка, роскошно иллюстрированные журналы. По сравнению с нашим «ТУ-104» английский лайнер был более тихоходным, зато менее шумным. И время от времени слышалось легкое гудение кондишена.

Очевидно, для того чтобы полностью почувствовать себя в полете отрешенным от хлопотливых земных дел, я сунул в рот пряную жевательную резинку, откинулся на спинку кресла и взял в руки толстый английский журнал, в котором, как маленький мальчик, мог только рассматривать картинки.

Перелистывая плотные страницы с неправдоподобно

яркими красками на цветных фото, я чувствовал на себе изучающий взгляд соседа — слева от меня, через проход. От нечего делать он старался определить, кто же я такой.

Мне это разглядывание надоело, и я решил не делать никаких шагов ему навстречу для завязывания знакомства.

Все же любопытство в моем попутчике одержало верх, да и путешествие несколько изменяет представления о правилах приличия, и он наклонился в мою сторону.

— Извините, ради бога... Но вы — из России?— обратился он ко мне по-русски, с каким-то неуловимым мягким акцентом.

— Да. Из Советского Союза,— ответил я, отрываясь от фотографии Мерилин Монро, которая совсем недавно покончила жизнь самоубийством.

Глаза наши встретились, и я смог получше рассмотреть его. Роста он был выше среднего, худощав, над верхней губой — ухоженные усы того цвета, который их обладатели называют пшеничным, а на самом деле просто рыжеватые. Пламенело ухо, высвеченное пронзительным солнечным лучом. Возраст?.. Лет сорок, должно быть.

— Я очень боюсь показаться вам навязчивым,— продолжал он.— Но мое внимание привлекли ваши папиросы и спички. Я не знаю, что такое «Джéмбуль», но «Берьёзка»... О, я видел этот знаменитый ваш ансамбль. В Париже. Я — исконный парижанин, там родился и вырос, там живу. Но я — русский.

Какой особый церемониал требуется для дорожного знакомства? Путешествие и состоит из таких маленьких радостей: встретить на семикилометровой высоте человека, беседа с которым поможет скоротать десятичасовой путь, чтобы не чувствовать себя совершенно немым. Было что-то трогательное: человек, родившийся и живущий вдали от родины своих отцов, не мог не потянуться к девушкам в сарафанах, танцующим на спичечной этикетке.

Я предложил ему папиросу, чиркнул красноголовой спичкой. А он, сказав мне: «Позвольте, я...— предупредительно принял горящую спичку из моих пальцев, сначала дал прикурить мне и потом уже прикурил сам.

— А у нас все зажигалки...— как-то неопределенно сказал он и, затянувшись, чуть прищурил глаза, оцени-

вая вкус табака.— Хорошие у вас папиросы,— продолжал он.— А что это означает —«Джéмбуль»?

— Извините, я должен поправить вас: Джамбýл. Так звали казахского народного поэта.

Мой новый знакомый представился сотрудником ООН по оказанию экономической помощи странам Юго-Восточной Азии. А кроме того — правнуком Мартынова. Да, да, того самого!

Стоило ему назвать эту фамилию, покрытую позором, и я, очевидно, не сумел скрыть своих чувств и, как степной конь, почуявший опасность, навострил уши.

Он немного выждал и, глядя на меня в упор, начал следующую фразу моими словами, будто умел читать мысли:

— Да, да, того самого — отставного майора Николая Соломоновича Мартынова, который никогда не стрелял в Лермонтова, а значит, и не мог его убить!

Спокойный до этого, он так и закончил свое утверждение — с восклицательным знаком.

Я почувствовал вызов в его словах. Вызов по всем правилам. Правнук Мартынова вызывает на дуэль меня, правнука степного казаха Мусрепа, от кого наш род повел фамилию.

Мне ничего не оставалось, как принять вызов. Я сказал себе: «Помоги мне аллах и Андроников Ираклий»— и встал к барьеру.

В известном смысле правом первого выстрела воспользовался мой собеседник. Сто двадцать с лишним лет прошло с того трагического июльского дня, и род Мартыновых из всех версий о дуэли мог выбрать такую, что обеляла бы отставного армейского майора, «который никогда не стрелял в Лермонтова, а значит, и не мог его убить».

А я?.. Его утверждение застало меня врасплох, и я поспешно вспоминал, что же мне известно обо всей этой истории.

Правда, после букваря первой моей русской книгой стал однотомник Лермонтова. Его подарил мне инспектор народных училищ, в присутствии моего учителя Бекета Утетлеуова, полвека назад, в казахском ауле, где находилась двухклассная русская школа. Я усердно читал лермонтовские стихи. Читал, не понимая доброй половины слов. Но постепенно, с помощью того же Бекета, передо мной открывались такие глубины и красоты лермонтовского стиха, что я с юношеских лет помню на-

изусть и «Терек» и «Горные вершины», «Спор», «Кинжал», «Смерть поэта». А когда в 1941 году, к столетию гибели поэта, у нас выходил Лермонтов в переводе на казахский язык, мне пришлось к его сборнику написать предисловие. А дальше мои сведения об этом, втором, по моему мнению, русском поэте золотого девятнадцатого века, пополнял Ираклий Андроников, увлеченный и тонкий исследователь его творчества и его жизни.

Итак, дуэль началась. Дуэль без секундантов. Здесь никто не подходил на роль молодого князя Васильчикова и конногвардейского офицера Глебова или хотя бы — на роли Монго Столыпина и Трубецкого, чье участие в дуэли тщательно замалчивалось на протяжении долгих лет. Пять или шесть пассажиров в салоне первого класса не годились в секунданты: они не знали русского языка и вообще были очень далеки от предмета спора.

Первый выпад правнука Мартынова («...никогда не стрелял») отпарировал правнук Мусрепа, который, правда, не мог во всех деталях опровергнуть туманную версию о каком-то казаке, якобы спрятавшемся в кустах у места дуэли в окрестностях Пятигорска, но зато твердо знал, что группа авторитетных судебно-медицинских экспертов категорически отвергла такое предположение совсем недавно, когда оно снова выплыло на свет.

Этими репликами — да, нет, а было так, а так не было — завершилась взаимная проверка характеров, приемов нападения и защиты, весомости доводов и степени осведомленности. Во всяком случае, таинственный казак, стрелявший из кустов, больше в нашем споре не появлялся.

Мартыновский потомок пустил в ход несколько других легенд. Выходило, что многие люди, принадлежавшие к высшему офицерству, считали своим долгом написать матери Мартынова, отметая обвинение, что ее сын запятнал свою честь убийством поэта. Мой противник употреблял выражения, памятные мне по некоторым документам и воспоминаниям того времени: честный поединок, дуэль на равных условиях... Оказывается, также было и предостаточно протестов против кратковременного содержания под стражей Мартынова, как безвинного...

У меня в запасе нашлись достаточно веские возражения. Недаром же я читал Андроникова, а при встречах слышал от него о работах других исследователей.

Верно, что многие старались свалить вину на убитого, расписывали его «невозможный характер». Но не меньше было и тех, которые вместо «честный поединок» употребляли другое слово: убийство. И не случайно же начальник штаба (я тогда не мог назвать его фамилию, а в последствии уточнил: полковник Траскин) приказал всем находившимся в Пятигорске молодым офицерам незамедлительно следовать к месту службы. Он хотел предотвратить возможную новую дуэль. Среди молодежи было много охотников потребовать удовлетворения от убийцы Лермонтова.

Для меня это и многое другое было ясно. Трудность спора заключалась в том, что мой противник в ответ на самые убедительные доводы делал резкое движение рукой, словно отметал их. А когда я упоминал такие имена, как Святослав Раевский, Висковатый, Андроников, он холодно щурился, и было похоже, что он готов драться — драться со всеми, начиная от несогласных с его толкованиями современников поэта и кончая нынешними исследователями, которые неопровержимо доказали позорную роль Мартынова в судьбе Лермонтова.

Он горячился, вопреки всей своей европейской воспитанности:

— Всё метафоры, метафоры!.. Разве они присутствовали там? Они могут под присягой показать, кто у кого потребовал сатисфакции? Все было честно... Были секунданты, у того и другого. Было отмерено одинаковое расстояние. Пистолеты были одинакового калибра, одной системы, Кухенрейтор номер второй.

Все это я знал. И потому задал вопрос, в котором, как это часто бывает, уже содержалось мое отношение к его попыткам доказать, что дуэльный кодекс был соблюден:

— Почему же тогда, по такому ничтожному поводу, дуэль была оговорена в шести шагах, до трех выстрелов, с применением пистолетов дальнего боя?

— Ну и что же? Это ничего еще не доказывает. Для нас с вами сегодня Лермонтов — гениальный поэт. А для Мартынова он был товарищем по офицерскому училищу. Мартынов не мог больше терпеть его насмешек в присутствии дам, обидных прозвищ и карикатур. Он его вызвал. И поединок велся по всем правилам. Было два выстрела. Лермонтов выстрелил первым.

— Да, но он выстрелил в воздух.

— Это нам в точности не известно. Выстрелил ли

поручик в воздух... Или — просто не попал. Это тоже трудно доказать, если взглянуть на события непредубежденно.

— Но зато доказано, что ваш-то прадед выстрелил в упор, его пуля попала в грудь и прошла навылет. Значит, Мартынов не соблюдал расстояния и очередности выстрела. Кстати, он и сам признавался, что погорячился. О какой же честной дуэли речь?

— Толки, слухи, сплетни... А я могу назвать другой, не менее важный документ: штаб Кавказского корпуса — после расследования обстоятельств — сообщил, что поручик Лермонтов погиб на дуэли. В этой бумаге не сказано — был убит.

— Может быть. Я не помню. Зато я помню первое медицинское освидетельствование доктора Барклая-де-Толли...

Если мой оппонент рассчитывал на легкую победу, то теперь он увидел, что одержать такую ему не удастся. И тут он, правда единственный раз, прибег к запрещенному приему:

— Вы все же — не русский... Может быть, поэтому вам трудно разобраться во всех деталях этой дуэли, во всех ее нюансах.

— Да, я не русский. Я казах. Но что касается этой истории, тут я знаю многое. Может быть, начнем с того прозвища, которое Лермонтов дал в Пятигорске вашему прадеду? Я не могу по-французски его повторить... Но по-русски это будет: рыцарь диких гор, человек с большим кинжалом.

Тут наш разговор, заходивший уже в тупик, неожиданно прервался бесщумным появлением маленького стола на колесах. Тонкая, как тростник, прекрасная, как пери, воспетая Лермонтовым, индийская девушка-стюардесса привезла нам обильный завтрак. Отнюдь не последнее место занимал в нем коньяк — английский бренди.

Отличные сандвичи, бананы, лимон, нарезанный кружевными ломтиками,— все это казалось мне безвкусным. По-моему, и правнук Мартынова, рассеянно поглядывавший в иллюминатор, с полным безразличием сделал глоток бренди и теперь посасывал ломтик лимона.

И все же — после завтрака наш разговор продолжался уже в ином тоне. Он приобрел, я бы сказал, элегический оттенок. Собеседник, дружески улыбаясь, говорил мне:

— Позвольте вам заметить, что вы не совсем правы в своих обвинениях. Вы говорите: в роду Мартыновых сложилось неуважение к памяти Лермонтова. А хотите ли вы знать? У нас в парижской квартире и по сей день, на самом почетном месте, укрытый стеклянным колпаком, хранится томик Лермонтова с дарственной надписью поэта — и не кому иному, а Николаю Соломоновичу Мартынову. Для нас это — священнейшая реликвия.

Я вполне уважительно отнесся к этому сообщению, но не мог принять его за аргумент в пользу предположения, высказанного в самом начале нашего поединка, будто бы Мартынов не мог поднять пистолет на своего приятеля и однокашника.

— То, что книга сохранилась,— сказал я,— это, скорей всего, заслуга сестер вашего прадеда. Известно же, что его мать, а ваша прапрабабушка, питала острую неприязнь к Лермонтову, когда они еще встречались в Москве. А дочери — с радостью его принимали. Я не знаю причин таких семейных несогласий и несоответствий. Могу только догадываться — книга сохранилась, значит, тут действовали руки мартыновских сестер.

— Вполне вероятно. Но у прапрабабки нашей особой неприязни к Лермонтову не было. Так, пустяк. Он вызвал ее неодобрение одним своим поступком.

Что за пустяк, что за поступок — он не стал на этот счет вдаваться в подробности.

К сожалению, я тогда не мог привести ему некоторые доводы, которые стали мне ясны только по возвращении в Алма-Ату, когда я, под впечатлением разговора, снова взял в руки книги о судьбе Лермонтова. Пустяком этим мог быть случай с пакетом, который Лермонтов должен был передать Мартынову. В пакете были деньги. В дороге его украли. Деньги, понятно, Лермонтов возместил. Или же — пущенная сплетня о том, что Лермонтов перехватил письма сестер Мартыновых. Будто бы это и послужило причиной ссоры и дуэли.

Исследователями доказано, что это недоразумение с пакетом произошло задолго до вторичной ссылки на Кавказ. Отношения были выяснены, Лермонтов и Мартынов продолжали знаться по-прежнему.

Я позволю себе цитату из книги И. Андроникова, в которой и приводятся эти факты. Их мне так не хватало в индийском небе, на высоте семи тысяч метров:

«В то же самое время, когда Дубельт распространял

по Петербургу рассказ о распечатанных письмах, по Москве пошел слух, что «Мартынов имел право» вызвать Лермонтова, «ибо княжна Мери сестра его...»

...клевета свое сделала. Россказни о княжне Мери и о том, что в лице Грушницкого изображен сам Мартынов, сообщая происшествию скандальный характер, отвели общественное внимание в другую сторону и тем самым позволили, казалось бы, раз навсегда скрыть политический характер дуэли».

Нет, не удалось поэту за хребтом Кавказа укрыться от голубых мундиров. В Пятигорске жандармский подполковник Кушинников так направлял ход расследования, чтобы скрыть правду, и делал он это, хорошо зная пожелания не только своих начальников Дубельта и Бенкендорфа, но и самого государя.

Чувствовалось, что разговор наш иссяк. Но и кончать его так — на полуслове — мартыновский правнук не хотел. И вдруг он оживился и снова наклонился в мою сторону.

— А не будет ли вам интересно узнать, кого я встретил в минувшем году, когда приехал в Женеву? — спросил он, загадочно улыбаясь.

— Кого же?

— В прошлом году в Женеве я встретил правнука Дантеса! Слово честного человека! Именно Дантеса.

— Дантеса?

Я должен был как-то выгадать время, чтобы оправиться от неожиданности. Два великих поэта. Двое убийц. А жизнь продолжается, и вот в наши дни их правнуки конечно же пытаются представить дело так, что ничего необычного для того времени не было в дуэлях камер-юнкера Пушкина и поручика Лермонтова. Но вот встреча двух этих потомков — какой писатель мог бы позволить себе подобный вымысел?

— Да, Дантеса! — повторил он и подчеркнуто произнес, можно сказать, продекламировал: — Убийцы великого Пушкина...

— А что же было? — Вопрос не очень умный, но я просто не нашел никакого другого.

— Это произошло в ресторане... Ко мне за столик подсел весьма элегантный мужчина, несколько моложе меня. По совести говоря, мне не очень понравились его манеры. Такой тон... Снисходительный и покровительственный. Хлюст. Как будто он звал меня в сообщники. Он сразу намекнул, что моя родословная ему известна,

и тогда сказал, к какому роду сам принадлежит... Мне стало ясно, что подсел он ко мне не случайно. Я постарался побыстрее расплатиться и покинул ресторан, не подав ему на прощанье руки.

Я поверил рассказу.

Вполне допустимо, что правнук Дантеса охотно искал встречи с правнуком Мартынова. Но мне было ясно и то, почему мой собеседник сделал такой поворот в разговоре. Потомок человека, дравшегося в открытом честном поединке с Лермонтовым, не пожелал разделить обед с потомком презренного убийцы Пушкина!

— А вы знаете?— вспомнил я.— Знаете, что Дантес служил в кавалергардском полку. И ваш прадед — тоже, он из кавалергардов вышел в армию.

Но это знаменательное, хоть и совершенно случайное совпадение не устраивало моего собеседника. Он промолчал.

В нашей с ним дуэли не было ни победителя, ни побежденного. Каждый остался при своем. Можно было лишь удивляться, что род Мартыновых и в пятом поколении продолжает придерживаться версии, которая казалась несостоятельной умным людям сто двадцать лет назад. Позднее я подумал, что это ведь, может быть, вовсе не по наивности, не по неведению истинных обстоятельств давнего дела, которое с течением времени не перестало быть менее позорным.

Правнук Мартынова стал собираться. Он выходил в Гонконге, и, честно говоря, я не сожалел, что дальнейший путь предстоит проделать в одиночестве.

Он попросил, чтобы я подарил ему коробочку спичек, с такой приятной, с такой истинно русской этикеткой. Я подарил ему две. Он пообещал выслать мне из Парижа экземпляр моего романа «Солдат из Казахстана», который вышел там в переводе на французский. (Книгу, видимо, несет оттуда пеший почтальон, потому что я жду ее до сих пор.)

В аэропорту Гонконга мы расстались, и на этом, собственно, можно было бы кончить рассказ о давних земных делах, услышанных мной в небе, на высоте семи тысяч метров.

Но у рассказа есть продолжение.

В Токио, куда я прилетел, я сразу попал в бурлящий водоворот новых событий, хлопот, дел — очень прият-

ного свойства, не совсем приятного и совсем неприятного. В этой суматохе у меня начисто стерлась из памяти фамилия мартыновского правнука. Он и назвал-то ее не очень внятно в начале нашего знакомства. Потом, правда, несколько раз повторял. Но — что делать — я забыл!

Выход был один: написать И. Л. Андроникову. Уж он-то, наверняка, непременно знает фамилию того, с кем я провел шесть-семь часов по пути из Дели до Гонконга. Я надеялся на богатую память и всеобъемлющую эрудицию исследователя. И не ошибся.

Приметы я мог сообщить ему не очень подробные. Он носит фамилию по материнской линии,— именно с этой стороны Мартынову, женившемуся в Киеве, досталось богатое наследство. Шитко, а может быть, Тишко. Начинается, с Т или Ш, а кончается, как я запомнил, на О.

Человек по-старомодному обязательный, Ираклий Луарсабович не замедлил с ответом. Он прислал мне целую генеалогическую таблицу рода Мартыновых, не менее подробную, чем могла бы быть родословная Чингисхана или Тамерлана. Все там было написано: кто, когда и где и с кем вступил в брак, и какие ответвления были от основной линии, и кто как был настроен по отношению к давней дуэли...

Фамилия моего противника в споре была и не Тишко, и не Шитко...

А как?..

Я долго не мог приняться за этот рассказ: все отвлекали какие-то дела, которые казались более важными. А письмо И. Л. Андроникова я, как всякий аккуратный человек, постарался спрятать в самое надежное место, где бы его легко было отыскать и, главное, куда бы не дотянулись руки моей жены и руки моих детей.

Но вот — куда, этого я так и не мог вспомнить, когда настало время приняться за рассказ. Какое место в ту минуту показалось самым надежным? Собрание сочинений Чернышевского? Или Белинского? Или самого Лермонтова?

Все они молчат.

Не раз состоялся по этому поводу строгий разговор с женой, в итоге которого виновным оказывался, конечно, я сам. Возможно, жена права.

Но я — я имел встречу в небе с правнуком Мартынова, который в Женеве сталкивался с правнуком Дантеса.

И в этом — прав я.

* * *

А письмо в конце концов отыскалось.
Его фамилия — Квитко.

1968

БИ-АГА

Говорят, что нельзя причислить к умершим человека, память о котором сохраняется среди живущих.

Так, для меня никогда не уйдет Беимбет Майлин, наш Би-ага, как уважительно звали его молодые казахские журналисты и литераторы. Он был всего на пять, шесть, на семь лет старше каждого из нас, но мы считали его аксакалом.

Он никогда не уйдет из моей жизни. Я в любую минуту могу повстречаться с ним. Для этого мне достаточно вернуться в середину двадцатых годов. Редакция газеты «Энбекши казах», его кабинет — кабинет ответственного секретаря. Майлин того времени помнится мне в белой шелковой косоворотке, перехваченной плетеным черным пояском, тоже шелковым; кисти болтаются, когда он возмущенно расхаживает от письменного стола к окну, распекая кого-нибудь из нас за небрежность и нерадивость. А его большие серые глаза пылают огнем. Но стихает огонь, и я вижу его склонившимся над рукописью, и по своей постоянной привычке он наматывает на палец прядь блестящих черных волос.

Помню, как он поздней ночью постучался ко мне в гостинице — это уже 1936 год, первая декада казахской литературы и искусства в Москве. Не присев, Беимбет заговорил о деле. Только что кончилось совещание в номере у первого секретаря крайкома Л. И. Мирзояна. Он настаивает: делать киносценарий по нашей пьесе об Амангельды Иманове, о восстании казахов против царизма в 1916 году. Договоренность с «Ленфильмом» уже есть. Хорошо бы привлечь к работе кого-нибудь из видных русских писателей.

На следующее утро в Переделкине, на даче у нашего земляка Всеволода Иванова, мы заручились его согла-

сием. Договорились, что сбор дополнительных материалов должны провести мы с Беимбетом, побывать на родине Амангельды, повидать людей, знавших его, принимавших участие в тех памятных событиях.

Вскоре после возвращения домой мы отправились в долгую поездку. И отсюда, собственно, начинается рассказ, который я давно собирался написать.

Как и многие мои другие рассказы, этот тоже начинается с дороги. И понятно, что среди действующих лиц должен появиться шофер.

Его звали Дайырбай.

Степная дорога напоминала трех змей, ползущих чуть поодаль друг от друга. Пока были земли его района, Дайырбай еще сдерживался, а как только пересекли границу, его прорвало, хотя оставшаяся позади дорога была ничуть не лучше этой.

Ночью прошел дождь, небо и сейчас было в тучах. Наш тупорылый «газик» полз по вязкой солончаковой грязи. Колеса то и дело съезжали с колеи, и это вызывало у Дайырбая новые приступы ярости. Честно говоря, нет никакой возможности точно передать на бумаге прямую речь Дайырбая. Она вся, сплошь, должна состоять из многоточий — и в самом начале фразы, и посередине, и в конце.

— Кому же это... пришло в его... голову прокладывать дорогу по таким... ухабам! Это ушастый... конь первым прокопытил тут... тропинку, чтоб ему... Это... большеголовый... верблюд потащился следом за... конем!

Я думаю, что его еще как-то сдерживало присутствие Беимбета — прославленного писателя, чье имя было хорошо известно в степи и пользовалось безоговорочным уважением. Так что Дайырбай далеко не до конца использовал свои неисчерпаемые речевые запасы.

Степь была позади нас, степь лежала по обеим сторонам дороги и расстилалась впереди. Какое же огромное надо небо, чтобы накрыть этот нескончаемый простор! И какое требуется множество иссиня-черных туч, чтобы вот так наглухо его закрыть.

Тучи метали в землю огненные молнии. Незатихающий гром перекатывался по небу, словно всемогущий аллах ворочал там огромные камни, решив заново сотво-

рить этот мир, который по первому разу не очень ему удался.

— Спрячь свое ружье,— осторожно сказал Беимбет.— Разве ты не знаешь, что железо притягивает молнию?

Я спрятал ружье под пестрыми дрофами, добытыми по дороге. Я мог бы ответить, что вся наша машина, если на то пошло, сделана из железа, но предпочел промолчать. Когда Беимбет чего-нибудь опасался, он не воспринимал шуток.

— Спрячь так, чтобы дуло не упиралось прямо в меня. Закрой его поплотнее.

Я покорно исполнил и это требование.

Среди лохматых черных туч внезапно появилась белая, как борода почтенного старика, и тотчас посыпался крупный град. Градины оглушительно заколотили по натянутому брезентовому верху. Но под таким сплошным обстрелом мы ехали сравнительно недолго. Белую тучу пронесло дальше, тучи потеснились, и солнечные копья пронзили их насквозь.

Дорога стала еще хуже. Размокший солончак пудовыми комьями налипал на колеса, потом комья отваливались и с глухим шумом хлопались на землю. В борьбе с машиной, вихлявшей по скользкой дороге, у Дайырбая уже не было времени полностью выговаривать все свои слова, и потому сквозь стиснутые зубы раздавался сплошной свистящий звук.

По его ухваткам можно было понять, что шофером Дайырбай стал сравнительно недавно. Он и сцепление выжимал так, словно давал шенкеля коню. Но «газик» не понимал такого обращения и не очень-то покорялся водителю, и он материл машину, не оставляя у бедной живого места.

— А, чтоб она... сдохла... туда ей и дорога! Вот еще прошлый год — чего все у нас добивались? Высмотрят где-нибудь хорошего коня и норовят его заполучить. А теперь машину им подавай!— Он имел в виду руководителей района, из которого мы уехали утром.— Сейчас, летом,— и то мы с вами еле пробираемся... по... этой... дороге. А что будет, когда придет осень? На чем они тогда станут ездить, я посмотрю. Им бы...

Я-то еще прислушивался к его разговору, а вот Беимбет, казалось, отсутствует. Я за много лет нашей дружбы достаточно хорошо его узнал, чтобы понять: Би-ага еще оставался с теми людьми, с которыми мы встречались

накануне вечером, он перебирал в памяти рассказы свидетелей и участников восстания, прикидывал, как они пригодятся для будущего сценария.

Дайырбай не сумел совладать с баранкой, и наша машина, воя и хрипя, стала поперек дороги.

Беимбет оторвался от своих мыслей.

— Устал ты, джигит,— сказал он.

Это выражение сочувствия вызвало новый прилив у Дайырбая.

— Устал!.. А могу я не устать, как собака, которую... Позавчера весь день таскался с земотделом! Вчера — райисполком взял машину. Сегодня вас надо к соседям... отвезти... чтоб они бы... Ночью вернусь, райком поедет в обком. Пленум там... А у нас на весь район одна эта дохлятина! У нее шины стерлись, как у верблюда... А все хотят на ней... А еще злят меня три помощника трех наших главарей. Ты приезжаешь, как будто... Дома пиалы чаю не успеешь выпить, жена скоро по соседям спать пойдет, а к тебе уже бежит такой помощник. Важное лицо сделает... А лицо такое, будто он спиной к тебе стоит! И говорит: Дайырбай, завтра в шесть!.. Ах ты, чтоб... им...

Чего Беимбет органически не переносил, так это грубости. Когда на наших писательских собраниях закипали яростные споры, он писал мне записку с одним-единственным словом: «Уходим?..» И я, выйдя из зала, уже встречал его. Би-ага прохаживался у дверей и мучительно морщился.

— Если ты... попробуешь... не материться,— сказал я Дайырбаю,— потерпишь хотя бы вон до той... сопки, я выдам тебе премию — коробку папирос «Сафо». Видишь — вот эти папиросы, всю нераспечатанную... пачку.

Дайырбай удивленно на меня посмотрел:

— Хо! После той сопки я без премии буду нежный. Там дальше дорога получше, и слова у меня будут поласковее...

Два часа с лишним нам понадобилось для того, чтобы преодолеть пятнадцать отвратительных слякотных километров. А за сопкой и в самом деле начинался песок, плотный после дождя, и «газик» пошел с той скоростью, на какую был способен.

Солнце уже спускалось на закат, Дайырбай гнал вовсю, он напоминал джигита, который пересел на отдохнувшего коня и старается наверстать упущенное время.

Впереди, в волнах ковыля, показался человек. Спер-

ва — по пояс. Мы подъехали ближе и увидели: автомобиль, родной брат нашему «газику», застрял носом вверх на пологом склоне оврага, не хватило у него сил выехать. Капот был открыт, человек стоял на колесе, и не было никаких сомнений в том, что он делает. Он, как говорится, «отливает», но отливает почему-то в радиатор, став к нему с подветренной стороны.

— Ойбай!— воскликнул наш шофер.— На подъеме мотор заглох. А его я знаю. Это — сам райисполком оттуда, куда мы едем.

При виде нас «райисполком» торопливо застегнулся. Он подошел. Лицо его, без того смуглое, еще больше потемнело от стыда. Он протянул руку Беимбету, но тут же торопливо ее отдернул.

— С самого утра езжу по колхозам,— сказал он.— Я слышал, что вы к нам едете, и торопился в райцентр, проверить, все ли приготовили к приезду.

Председателя звали Бекиш. Чтобы он не чувствовал себя неловко, мы постарались завести разговор об их районе, о сельских делах, о наших заботах, которые привели нас сюда... А он сворачивал на свое:

— До нашего райцентра еще сорок километров. Не рассчитали мы с шофером. Не хватило воды. Ну и пришлось... Сперва шофер, потом и я... Вы извините, Бигага!— Пустыня...

Дайырбай стоял рядом, помалкивал. Он был доволен, что ему удастся — туда-сюда — выгадать сколько-то километров. Поэтому, не торгуясь, нацедил ведро бензина, взял у меня обещанную премию, хоть и не выполнил условия, и быстро повернул обратно.

А мы пересели в машину Бекиша.

Уже почти совсем стемнело.

Столица района — это был аул, домов из пятидесяти или шестидесяти, вдоль небольшой степной речки. Свет фар скользил по глинобитным стенам домов, захватывал густую полынь, которая росла на их плоских крышах. А то —ослепительными сапфирами вспыхивали глаза овец и коз, их на ночь пригнали домой.

Машина притормозила возле двух деревянных домов, расположенных по соседству,— райкома и райисполкома. С реки доносился многоголосый хор лягушек. Казалось, что это от их пения колышется спокойный вечерний воздух.

— Я сейчас,— сказал Бекиш и хлопнул дверцей.

На крыльце райисполкома устроились трое. Бекиш перебросился с ними несколькими фразами и вернулся.

— Все сделано, пока я ездил,— сказал он.— Ночлег приготовлен. Надо отдохнуть, а делами будем заниматься завтра. Поехали в гостиницу,— повернулся он к шоферу.

— В гостиницу? Где это — гостиница?— переспросил тот, и в его голосе мне послышалось недоумение.

— Не знаешь, что ли? Как будто ты не здешний, а приезжий,— нетерпеливо сказал Бекиш.— Езжай, езжай... Там, за сосновым бором, гостиница!

Кажется, он многозначительно подтолкнул шофера коленом. А Беимбет, очевидно, тоже почувствовал какие-то недомолвки,— он, словно по инерции, передал этот толчок мне.

Наш «газик» проехал по улице, высветляя то тут, то там благообразных стариков, занятых вечерней молитвой.

Ненакатанная дорога вела вдоль реки, потом стала отдаляться, и тут от нас отстали аульные псы, которые не могли упустить случая, чтобы не облаять большую железную телегу с желтыми глазами. Немного стих лягушачий хор. Когда мы ехали по склону большой сопки, впереди показались стоящие стеной подсолнухи. Они небрежно кивали нам своими круглыми шляпами.

— Не это ли ваш сосновый бор?— поинтересовался Беимбет.

— Йе-е, вы, оказывается, слышали?— отозвался Бекиш.— Да, это вот мы и зовем бором. Весной посадили, а соседи посмеялись: теперь, говорят, у вас вырастет настоящий лес. Так и пошло.

Гостиница представляла собой опрятный деревянный домик. Окна его были освещены: нас ждали.

В широкий коридор выходили двери двух комнат. Первое, что бросилось в глаза усталым путникам, был накрытый стол.

На хрустящей синей бумаге были раскиданы баурсаки, колотый рафинад, в блюдцах желтело масло, горками возвышалось разноцветное монпансье. Тонко нарезанные ломти вареной бараньей печенки украшали сверху кусочки курдючного сала. Сало неярко поблескивало при свете двух семилинейных ламп.

На почетных местах в голове стола были расставлены мягкие стулья с гнутыми спинками и ножками, чуть дальше — простые стулья, потом — табуретки, а

под конец на табуретки были положены шершавые доски.

Я не обнаружил сверху бутылок, но взглянул под стол и успокоился: три ящика. Я еще подумал: не много ли? Но из обеих комнат вышли все, кто собрался на эту встречу: второй секретарь райкома, женотдел, райпрос, агитпроп, райзем, райпотребсоюз... Все они пришли с женами, и в глазах рябило от красного бархата, голубого бархата, черного бархата, синего бархата, золотистого бархата... Были среди женщин изящные и тоненькие, как джейраны, были и толстые, похожие на сорокаведерный самовар.

Наконец все руки были пожаты, и мы расселись.

Первый секретарь уехал в область на пленум, поэтому Бекиш был сейчас главным хозяином.

После обычных приветствий в честь гостей он сказал:

— Может быть, после столицы вам у нас покажется небогато. Но мы же районом стали — еще года нет. Дом у этой сопки — только начало! Место здесь гораздо лучше, чем там, где стоит аул. Здесь будет впоследствии районный центр. Вот, начали строительство с этой гостиницы. Чтобы можно было принимать таких дорогих, таких уважаемых гостей, как вы. За ваше здоровье я и предлагаю всем выпить!

Выпили за нас с Беимбетом, потом — за каждого в отдельности. Мы предложили тост за гостеприимных хозяев. Би-ага, сидевший по правую руку от Бекиша, пытался время от времени завести деловой разговор о том, есть ли в районе люди, встречавшие Амангельды в жизни, ходившие с ним в походы...

Бекиш улыбался и отвечал:

— Дорогой Би-ага!.. Сегодня вечером вы наши гости. Отложим все дела на завтра. Завтра мы все сделаем для вас, куда надо — поедем, кого надо — предоставим.

И снова шли тосты. Глухо стукались граненые стаканы,— и если бы сбылась хотя бы часть пожеланий, высказанных в тот вечер, быть бы Беимбету Львом Толстым, а мне — Горьким...

Той затянулся до глубокой ночи. На прощание я предложил тост — чтобы их район стал самым передовым в области, в Казахстане, во всей стране и чтобы у них вырос настоящий сосновый бор!

После поднялись все, дружно. Снаружи у коновязи стояли верховые лошади.

— Завтра мы и для вас приведем лошадей,— сказал

Бекиш, уже сидя в седле.— Когда лошадь есть, бензин у нее не кончится, правда?— Он хитро засмеялся, намекая на то, что известно только нам одним, и никому больше.

Возвращаясь с Беймбетом в дом, я понял: земля действительно покатая и действительно она крутится.

В моей комнате стояла узкая койка с панцирной сеткой. Койка то приближалась, то удалялась, словно лодка, танцующая на небольших плавных волнах.

Пока я неверными пальцами расстегивал пуговицы на рубашке, я понял: все мое спасение — вовремя поймать койку, и когда она снова приблизилась, я мгновенно ухватил ее за спинку и упал на матрац.

Не знаю, сколько времени я спал. Разбудил меня громкий и настырный стук в окно. Снаружи было еще темно. От непрекращающихся ударов в раму дребезжали стекла. А с противоположной стороны кто-то методично бухал кулаком в дверь.

— Вы что, сдохли там? Не слышите?— раздавался за окном злобный старческий голос.— Открывайте, я вам говорю!

Голос же, идущий от двери, звучал просительно:

— Дорогие, придется причинить вам беспокойство. Откройте, прошу вас...

Я подошел к окну:

— Кто нужен? Что нужно?

— Где девушка-догдыр? Я женщину привез, она вот-вот родит. Пусть девушка-догдыр выйдет к ней.

— Аксакал, вы, наверное, ошиблись. Здесь гостиница. А вам надо в родильный дом.

— Ты со мной не шути. Шути со своими ровесниками. Я уже целый час бьюсь у окна. Если ты спишь с девушкой-догдыром, отпусти ее... Я прошу тебя. Женщина вот-вот родит.

Сон у меня прошел. И похмелья никакого не было. В мою комнату вошел Беимбет, которого тоже разбудил грохот, разбудили голоса.

— Когда ты успел привести девушку?— подозрительно спросил он у меня.

— Какую девушку?— сердито ответил я.

Человек у двери перестал колотить кулаками:

— Родные мои, откройте... Я сторож. Впустите меня. Я вам все объясню.

Я открыл ему, зажег спичку, отыскал лампу на неубранном столе и запалил фитиль. Рядом топтался старик-сторож. Одна нога у него была деревянная. Половицы жалобно скрипели.

— Придется сказать правду. Нет у нас гостиницы. Это родильный дом. Когда узнали, что вы едете, подумали: где поселить таких достойных людей? Лучшего помещения у нас нет. А тут же четыре дня никого не было, четыре дня дом пустовал. Как на грех! Как назло, вздумала рожать эта женщина!

Не переставая ворчать, в дом вошел и тот старик, который стучался в окно.

— Что делается на свете,— сказал он.— Не было у нас никого чище, чем девушка-догдыр. Мы ставили ее в пример своим дочерям. А теперь, выходит, и она!..— Он увидел неубранный стол и совсем разошелся:— О, нечестивцы! Они пили поганую из поганых водку! А ты?..— Он повернулся ко мне.— Тебя я знаю. Ты работаешь у нас в политотделе.

Один старик еле-еле успокоил другого старика, объяснил, кто мы такие. Приезжий перестал ругаться.

— Йе-е... Мне какое дело, кто они? Пусть помогут перенести женщину.

Сторож на своей деревяшке не мог нам помочь, он мог только дать брезентовые носилки.

— Может быть, ты и в самом деле прячешь у себя девушку-догдыра?— тихо спросил Беимбет.

— Нет.

— Очень жаль. Почему же это никто не догадался ее пригласить?.. А что ты стоишь? Идем...

Нам с Беимбетом никак не удавалось подступиться к испуганной, застенчивой женщине. Стоило мне прикоснуться к ней, как она пронзительно взвизгивала, и тогда Беимбет отскакивал в сторону, словно ужаленный.

— Не трогайте меня, не трогайте вы меня,— стонала она.— Ой, не запускайте руки под мышки! Не трогайте меня за ноги!

— Хватит!— прикрикнул я.

Нам все же удалось снять ее с тарантаса и осторожно опустить на брезент. В моей комнате мы сдвинули на пол матрац, расстелили простыни. Переложить женщину с носилок на матрац — это уже было не трудно.

Во дворе Беимбет обратился к старикам:

— Кто из вас может позвать женщину-врача?

Сторож ответил:

— Можно бы на быке подъехать в аул, но я не знаю, где живет догдыр.

Приезжий старик молча поправлял ярмо на шее у быка, запряженного в тарантас.

— А вы, аксакал?..

— Наш аул — самый дальний. А здесь я, кроме вас, никакой собаки не знаю. Я ее привез прямо с поля, я ее вам сдал. Вы тут ели, вы тут пили, вы тут валялись. Вы будете отвечать перед райкомом, если что... Это у нее первый ребенок. А я — человек посторонний.

Он устроился в тарантасе на сене и тронул быка.

Беимбет накрутил на указательный палец прядь волос.

— Да-а-а... Он же уверен, что девушка — здесь, что она прячется. Потому и поторопился уехать. Он уедет, она сразу пойдет к роженице, и все будет в порядке. Вот такой сюжет... А нет ли поблизости хоть кого-нибудь из опытных женщин?— обратился он снова к сторожу.

— Нет, не найдем. Работает у нас одна, помогает догдыру. Так она на три дня отпросилась домой.

— Тогда, наверное, вам придется посидеть до утра...

— Нет, нет!— испугался сторож.— Мое дело дом охранять. А чтобы я с роженицами занимался — такого еще не было.

Два писателя и хромой сторож беспомощно устроились на ступеньках крыльца, остро пахнущих лесом. Из комнаты доносились приглушенные стоны:

— Дог-дыр... Дог-ды-ы-ыр...

Би-ага вздыхал так, словно боль женщины была его болью... Ведь сколько раз в своих книгах мы писали о женщине, о матери, о великом таинстве рождения человека. А теперь надо было строить сюжет не на бумаге, не за письменным столом. Надо было действовать в реальной, а не придуманной жизни.

Я с надеждой взглянул на Беимбета. Он же старше меня, в конце концов ему и принадлежит решающее слово. Но Беимбет снова вздохнул. И вдруг резко повернулся:

— Как же это я сразу не вспомнил!

— Что, Би-ага, не вспомнили?

— Ты же три года назад переводил рассказ Горького «Рождение человека». Я еще похвалил твой перевод.

— Ну, переводил.

— Так вот, ты и должен сейчас... Кто же другой, кро-

ме тебя? Ты обязан помнить, как поступил Горький. Иди, иди к ней.

Последняя моя надежда рухнула. Я прислушался: может быть, она успокоится, может быть, дотерпит до утра? Но женщина застонала опять.

Она по-прежнему лежала на полу, на матраце, закусив зубами угол подушки.

— Скоро?— спросил я.

— При-по-ды-ми... Голову м-мне при-по-ды-ми...

— Би-ага! Лампу давайте сюда!

— Н-не н-надо... Не надо лампу!

Беимбет, чуть приоткрыв дверь, опасливо заглядывал в комнату.

— Лампу!

В комнате стало светло. Я отвел Беимбета в угол и шепнул:

— Еще надо — приготовить теплой воды...

— У Горького так?— спросил он.

— Где бы взял Горький теплую воду?— огрызнулся я.— У него же дело происходит в горах, у дороги.

— Сейчас посмотрю, что осталось в самоваре...

Женщина заметалась еще отчаяннее. Она, как в горьковском рассказе, хлопала ладонями по полу, ноги дергались, а глаза налились кровью и стали безумными.

Я — в точном соответствии с литературным первоисточником — повернул ее спиной к себе, а сам — сзади — прижался к ней, стал растирать ей онемевшие в судороге пальцы, массировал живот, грудь, лицо. Женщина изловчилась и укусила меня за мизинец. Я слегка ударил ее по щеке, чтобы привести в себя.

Она заплакала:

— О алла! За что ты наказываешь меня? За что отдал меня на поругание негодяю? Лучше убей меня сразу!

Я еще крепче прижал женщину к себе и кистями рук снова стал массировать ей горячий, вздрагивающий живот.

— Ты скоро?..

— Прочь! Уйди! Отпусти!

Беимбет спросил из-за двери:

— Как там у вас?

Женщина вскрикнула особенно громко, она забыла про меня,— видно, боль стала совершенно нестерпимой. Потом протяжно всхлипнула и снова захлебнулась в крике.

Я ждал-ждал — и все же такой чудодейственной неожиданностью явилась головка ребенка. Он повертел ею, словно удивлялся, почему такой шум сопутствует его приходу.

— Би-ага! Би-ага! Несите скорей воду, теплую!

— Всё, что ли? А воды ведь нет, в самоваре какой-нибудь стакан остался!

— А кумыс есть?

— Сколько хочешь! Целое ведро!

Если Горький мог купать новорожденного в соленой морской воде, то — чем хуже кумыс? Я разрезал простыню ножом, а Беимбет, важный от гордости, перетянул ребенку пуповину. Малыш вздохнул — так еще совсем недавно вздыхал, томясь, Беимбет. Малыш закричал.

Мать встрепенулась:

— Ойбай! Дайте мне его, моего ребенка. Сын? Дочь?

— Сын, сын, будут довольны родители твоего мужа. Но сразу ты сына не получишь. Прежде всего его надо искупать. И тебе тоже надо искупаться.— Голос мой звучал непререкаемо.— Пока не искупаешься, я не дам тебе его кормить.

Ее осунувшееся лицо блестело от пота.

— Я не знала, что вы тоже догдыр,— застенчиво сказала она.— Потому сопротивлялась. Если бы я знала...

— Да, я догдыр,— сказал я, продолжая держать на вытянутых руках маленькое теплое красное тельце.

Я обругал себя самыми лютыми словами, которым даже Дайырбай мог бы позавидовать. Как это мне не пришло в голову с самого начала? Назвался бы доктором — гораздо спокойнее вела бы себя женщина.

— А ты помнишь, что ты меня еще и укусила?

— Простите меня... Я вас не знала. Что же вы сразу не сказали? Вы, наверное, недавно приехали?

— Вчера. Я приехал проверить работу роддома.

Беимбет тем временем наполнил кумысом деревянную чашу, а я осторожно опустил туда малыша. Так он принял первую ванну. Завернутый в простыню, он совершил в коридоре первую прогулку на руках у Беимбета.

А я остался с матерью.

— Давай купайся...

— В кумысе?

— Ну и что же, что в кумысе? Чем кумыс хуже воды, раз воды нет?

Платье на себе она разорвала в клочки. Переодеться было не во что.

— Была в бригаде, в поле,— оправдывалась она.— Потому с собой ничего не захватила.

— Молчи. Тебе нельзя много разговаривать...— Я полностью вошел в роль врача.— Найдем тебе платье.

Я протянул ей полосатые штаны и куртку.

— Ойбай! Как я могу надеть мужскую одежду?

— Хватит пререкаться! Это не мужская одежда. Это для всех одежда. Называется пижама...

Непонятно почему, но диковинное слово убедило ее. Она покорно натянула штаны, я подал ей куртку.

Беимбет принес малыша, который доставил нам столько непредвиденных хлопот, и малыш, словно только этого и ждал, перестал кричать и зачмокал губами.

Женщина дала ему грудь. Голова ее спокойно лежала на подушке.

— Как же бы назвать его?— спросила она счастливым хриплым голосом.— Может быть — Догдырбай?

У казахов можно встретить самые разные имена. Вернулся с базара отец, когда сын появился на свет, будет он — Базарбай. Если рождались дети и умирали, то, чтобы обмануть судьбу, мальчика могут назвать Итемген — сосущий собаку, такой, значит, никудышный, что не надо его забирать, пусть живет. А если доктор принимал ребенка, то, понятно, имя ему — Догдырбай.

— Назови лучше Би-ага,— предложил я.

— Хорошее имя,— похвалила она.

За окнами начинался неторопливый степной рассвет. Новый Би-ага наконец насытился и успокоился. Все шло как надо. И женщина притихла,— кажется, она задремала. Только сейчас я заметил, что она — необычайно красива.

— Вот видишь,— сказал мне наставительно Беимбет.— Ты видишь, какую пользу может принести основательное знакомство с художественной литературой?

— Вижу,— согласился я.— Но я бы дорого дал, лишь бы мне больше не пришлось применять мои акушерские познания. Хватит с меня...

— Зато ты можешь написать об этом рассказ.

Прошло тридцать с лишним лет.

Давно нет Беимбета. Но мне приятно думать, что где-то в Тургайской степи есть джигит, который носит имя Би-ага. Ему сейчас почти столько же лет, сколько было мне тогда.

1968

МАЙРА

Не знаю, как у меня получится...

...Но надо постараться и представить себе глухие пески далеко в стороне от большой беспокойной реки, немые волны барханов, причудливые заросли саксаула и кустистые пучки жантака на отгонных пастбищах, алмазные россыпи солончаков,— чтобы вернуться туда и снова повстречаться с Майрой.

Если это произойдет ноябрьской осенью или ранней зимой, то Майру и ее мужа — старшего чабана Танаша верней всего найдешь в урочище Жингильды, они сюда к этому времени перегоняют отару.

А в тот день, о котором пойдет рассказ, Майра оказалась одна в песках. Так совпало... Накануне старик — ночной сторож — на четыре дня отпросился домой, в аул, как они по привычке называют центральную усадьбу совхоза. Потом неожиданно пришлось собраться Танашу. Их дочка, трехлетняя Аягёз, простудилась... Пусть пока побудет под присмотром бабушки и дедушки.

Минувшая неделя выдалась теплой, и солнце растопило нападавший в конце ноября снег. В тишине раздавался дружный хруст, какой сопровождает отару на пастбище. После полудня Майра повернула обратно. Овцы, хоть и сыты, не бросят щипать траву, и до кошары доберутся на закате. В самый раз...

Она неторопливо ехала следом, и приученный чабанский конь — рыжий, с нестриженной гривой и челкой — знал, что так и надо, он и не пытался перейти на ходкую рысь, предчувствуя возвращение.

Расслабившись в седле, Майра думала, что и сама бы не прочь повидать стариков, сходить в универмаг и

кино, посплетничать с подружками, с которыми прежде была неразлучна, а теперь видится от случая к случаю. И даже на собрании была готова посидеть, где овцеводов в меру хвалят, в меру ругают, а то и наставляют тонкостям чабанского ремесла люди, никогда не державшие в руках чабанской палки. Могла бы и она отвезти Аягёз, но у Танаша были дела в конторе.

Отару деловитой трусцой сопровождали собаки — их было три в Жингильды. Ни одна из них, в том числе и матерый вожак черно-белой окраски, не имела особо знаменитой родословной. Но родились они в песках, самые далекие предки их появились на свет и проводили всю жизнь возле пастушеских юрт, и потому в крови у них было — верой и правдой служить делу своих хозяев. Ничто не укрывалось от их зоркого глаза и чуткого носа, и никогда они не унижались до того, чтобы зря поднимать тревогу и попусту лаять.

Внезапно прислушался пестрый вожак и кинулся к Майре, запрыгал возле стремени, поскуливая, а потом залаял басом и продолжал настойчиво лаять, о чем-то предупреждая хозяйку. Но — о чем?

Его молодые помощник и помощница, может быть, и не поняли, что же такое произошло или должно произойти, но тотчас присоединились к старшему.

Поведение собак насторожило овец.

Овцы, все восемьсот, разом вскинули головы, сгрудились и, вытаращив безумные глаза, стали испуганно озираться.

Майра привстала на стременах и не успела оглядеться, как с размаху ударил порыв ветра. Ветер бросил ее обратно в седло, перепутал гриву коня и челкой зашорил ему глаза. На секунду снова стало тихо. Солнечный день померк, как будто порыв этот задул солнце, и тут же стеной надвинулся песчаный вихрь. Стало трудно дышать, ветер нападал и сбоку, и сзади, и спереди... Скорей всего, это столкнулся юго-западный, родня «афганцу», с северным бураном. Песок, поднятый в воздух, перемешивался со снегом, эта смесь секла лицо, набивалась за воротник, под отвороты куртки.

Лошадь под Майрой ошалело кружилась на месте, не решаясь тронуться, пригибала голову к земле. Одно спасение — во что бы то ни стало, через ветер, через силу, как можно скорей добраться до кошары.

Из всех глупых самые глупые на свете животные — черно-серые овцы. Стоит им прижаться друг к другу, они

теряют последние остатки соображения, и кинется одна по ветру — все за ней!

Два ветра с разных сторон кружились, сталкивались, расходились и снова, кто — кого, ожесточенно швырялись песком и снегом. Овцы бестолково метались вслед за их порывами, и всего опаснее было — упустить их.

Майра соскочила на землю и, ведя коня в поводу, кое-как пробралась в голову отары.

— Чок-чок-чоке!.. Чок!..— выкрикивала она, подзывая молодого, но понятливого козла-предводителя, серого, с белыми пятнами.

Козел, расталкивая беспорядочных овец, ткнулся в бедро хозяйки.

Заметив козла, а с ним — знакомого рыжего коня и Майру в черной куртке, передние овцы немного успокоились, потянулись следом, а за ними засеменили и все остальные.

Майра оглушительно свистнула — спасибо Танашу, долго он бился с ней, прежде чем научил чабанскому посвисту. Откликнулся старший пес, и все три собаки заняли свои места по бокам отары и сзади, подгоняя овец требовательным лаем.

Хорошо еще, она сегодня пасла поблизости. Иначе что бы стала делать? Ветер свободно может угнать отару и на сотню, и на полторы сотни километров... Как ее убережешь в этой кромешной круговерти?

Когда Майра натолкнулась на плетеную изгородь кошары и по стенке принялась пробираться к воротам, буран одолел все-таки сопротивление «афганца». Снег повалил гуще, сразу стало холоднее. А овцы так и не сообразили, куда их упорно вел козел, почему собаки сердились, подгоняя, и не давали сворачивать,— овцы узнали свою кошару и заблеяли, словно удивляясь, как это кошара сама собой возникла на их пути в сплошной мгле, где ничего не разберешь!

Буран ускорил наступление и без того ранних зимних сумерек. Уже почти в полной тьме Майра, загнав овец и задвинув тяжелый засов на воротах, пошла к дому — в ста шагах.

Чабанский дом на зимних пастбищах был сложен из камня и состоял из двух комнат. Маленький дом, он казался затерянным среди песков. Преодолеть чувство оторванности Майре и Танашу помогал транзисторный приемник, они его включали, еще не успев раздеться,

приемник давно стал их другом-собеседником и даже для Аягёз рассказывал нестрашные сказки.

Сейчас Майра тоже первым делом щелкнула металлической кнопкой и лишь после этого принесла охапку наколотого саксаула — для печки-голландки, которая обогревала обе комнаты и имела общую топку с кухонной плитой.

В доме стоял холод. Дуло из окон. Вот... Первый же буран проверяет между делом, как они готовились к зиме! Она занавесила окно старым одеялом. Так... Печка разгорелась, багрово-желтое пламя виднелось сквозь дырочки в дверце, и стало вроде бы теплее, хоть пар изо рта по-прежнему валил,— будто она закурила, как Танаш, сигарету «Прима» из красной пачки.

Она поставила на плиту чайник, решила нагреть воды в легком — из алюминия — казане. В баке оставалось немного, с ведро, не больше. Но это ничего. Одна есть от бурана польза, что он намел и еще наметет снегу, сколько хочешь. Можно будет натопить, а не тащиться с бочкой к колодцу.

О себе Майра не беспокоилась. Другое дело — Танаш... Он уехал с Джанысбеком, завфермой. Тот, правда, не очень охотно посадил их в машину, жаловался, что на баллонах — по сорок заплат на каждом, и как-то они еще сумеют добраться... Хоть бы успели! Хоть бы сумели!

Было около пяти часов, но в доме стояла тьма, как ночью, и снаружи — не видно ни зги, когда Майра, поплотнее перепоясавшись, вышла на конюшню.

Конюшня еле угадывалась за мчавшимся снегом и едва проступало рядом с ней помещение для верблюдов. А уж кошары в каких-то ста шагах — и вовсе не было видно, словно буран смел ее и унес!

Первым делом Майра зашла к лошадям, укрыла рыжего и гнедого попонами, привязала к яслям, сплетенным из побегов молодого саксаула. Пока им сена хватит, а там видно будет. Судя по всему, бурану мало будет одного дня, чтобы нагуляться.

Только бы они добрались! Не приведи аллах, засели в какой-нибудь лощине... Но нет, нет! Джанысбек с машиной управляется как настоящий шофер. Хоть и жаловался на баллоны, но его «газик» всегда на ходу. Может, какие-то свои дела были по дороге, а Танаш с Аягёз на руках ему, понятно, помешал...

Аягёз надо было отвезти к старикам, тут никаких

сомнений... Но как же ей, Майре, не хватало сейчас Танаша! Он бы поднял глаза кверху и спел: «Конь-скакун... Жена-красавица... Вот что силу даст джигиту!» Это — единственные две строчки из старинной народной песни, которые он знает наизусть.

Танаш чаще седлает для себя гнедого. Но — скакун, это, пожалуй, слишком сильно сказано. Гнедого даже на внутрисовхозную байгу не выставляют. Обычный рабочий конь.

А жена-красавица... Понятно, что он имеет в виду свою Майру. Красавица или не красавица... Этого она не знает. Знает только, что лицо у нее круглое, щеки — не ущипнешь... Носик чуть вздернут. Ну, глаза... Танаш говорит, что если ночь пасмурная, и звезд не видно, он по ее глазам находит тропу к дому. Преувеличивает, наверно... Еще он любит, когда она улыбается или смеется. Говорит, зубы у нее из чистого жемчуга, где только у них в песках, далеко от южных морей, достали столько жемчуга, когда проектировали Майру!

Золотисто-рыжий откормленный атан, чуть ли не подпирая горбом потолок, жевал жвачку и никакого внимания не обратил на появление хозяйки. А горб он нагулял внушительный! Еще бы — всю весну, все лето и добрую половину осени его работа состояла в том, чтобы время от времени перетаскивать их юрту с одного участка на другой. Да и сейчас не переломится — бочку-другую воды с колодца по соседству. А он и то бывает недоволен, когда его запрягают, рявкает и булькотит, протестует.

Если его уложить на соломенную подстилку и чем-нибудь навьючить, в таком положении атан готов пролежать сколько угодно, пусть хоть две недели беснуется буран. Ойбай, не надо, не надо, чтобы так долго!

Укрывая обеими руками лицо от колючего снега, задыхаясь, еле удерживаясь на ногах, Майра все же преодолела сто шагов — проверила, надежно ли задвинут засов на воротах кошары. На обратном пути ветер в три — четыре пинка пригнал ее к дому.

Теперь оставалось накормить собак, и можно было позаботиться о себе.

Голландка не успела нагреться как следует, но в комнате определенно стало теплее. Саксаул горел, потрескивая в топке, и чайник вскипел, и в казане вода бурлила. Но, пожалуй, саксаула надо принести еще, чтобы докрасна раскалилась чугунная плита, чтобы нагре-

тые комнаты стали похожи на жилье. Они задержались на осенних пастбищах, а Джанысбек, конечно, не прислал к ним в Жингильды ремонтную бригаду, как было обещано. И если зима предстоит суровая, хватит ли саксаула? Надо сказать, чтобы машину, а лучше — две, угля привезли.

Два раза она сходила за саксаулом в сарай. Наконец, можно было снять и куртку, и шапку, отороченную лисьим мехом.

Приемник говорил про погоду — оказывается, по всему свету промчались бураны, бури, ураганы и немало наделали бед. Только бы успел, только бы успел Джанысбек до бурана приехать в аул или хотя бы — до Ердалы, где находится поселок третьего совхозного отделения.

Майра повернула немного ручку, и приемник настроился на областной их город. Диктор сказал, что сейчас будет выступать начальник из облсельхозуправления. Даукенбаев, кажется, его фамилия. Майра видела его однажды — он проезжал по пастбищам с районным и совхозным начальством. У них на коше они задержались, похвалили состояние животных, но чай пить не остались, хоть все для них было готово, поехали дальше. Это было, когда шла проверка, как выполняется обязательство — довести в республике поголовье овец до пятидесяти миллионов.

Сейчас голос Даукенбаева звучал хрипло — наверное, созванивался с районами по телефону, кричал в трубку, выясняя, у кого как обстоят дела, а это хуже, чем самому провести на ветру целый день. В приемнике гудело, и Майре мало что удалось разобрать. Поняла, что буран захватил все районы области. Еще Даукенбаев сказал: «...стеклон будет три дня дуть... на отгонных пастбищах... все меры...»

Майра усмехнулась. «Стеклон...» Может, и знает, как правильно произносить это слово, а говорит — как привык.

— Три дня?..— сказала она вслух, обращаясь к приемнику.— На всякий случай будем считать — пять. Или шесть.— И подумала: мне придется одной. Танаш не сумеет пробиться. Не дай бог, чтобы он решил все же попробовать! Семь глубоких лощин по дороге от центральной усадьбы до Жингильды. Все они до краев занесены, конечно, снегом... Там и бульдозер не пробьется. «Передовой чабан не привык теряться ни в каких, самых

трудных условиях»,— вспомнила она фразу из какой-то прочитанной статьи.— Вот тут и попробуй сохрани звание передового чабана!

Надо было еще занести в дом из холодной кладовой стеганые ватные штаны — завтра без них не обойтись, хоть и не любила она такую неженскую одежду. А могла бы — делать что-то другое, жить, скажем, на центральной усадьбе или в районе? Почему же нет... Не только могла бы, но и жила! Танаш сманил, когда их дочке исполнился год. Танаш — еще до нее — работал в чабанской бригаде и полюбил пески за то чувство свободы, уверенности в своих силах, какое испытываешь, кочуя с отарой по далеким отгонным пастбищам... А потом полюбила пески и она.

Майра быстро разделась и нырнула в постель, укрылась двумя толстыми одеялами, тщательно подоткнув их под себя, чтобы нигде не дуло. В этом деле, слава Джанысбеку, никакой ремонтной бригады не требуется!

Заснула Майра, кажется, даже раньше, чем ее голова коснулась подушки в ситцевой наволочке, покрытой веселыми весенними цветами. И снов ей никаких не снилось...

Как будто кто-то толкнул ее в плечо, и она в полной тьме открыла глаза. Прислушалась. Буран по-прежнему завывал на разные голоса, и эти голоса даже вроде бы окрепли. Или это ей кажется спросонья?

Часы показывали без четверти пять, когда она зажгла керосиновую лампу. Можно было бы еще часик подремать, но она чувствовала себя отдохнувшей, готовой к неожиданностям трудного дня, и больше не стала ложиться.

Приемник она включила, но он молчал, только гудел — научился у бурана.

Наскоро позавтракав и попив чаю, Майра оделась потеплее и потянула на себя входную дверь. Немного развиднелось. За ночь буран понаставил большие сугробы, протянул хребты снежных валов, но все ему казалось мало — густые рои снежинок носились в воздухе, образуя непроглядную завесу. За ночь мороз прихватил снег на земле. Майра дошла до кошары, не оставляя следов.

Накануне вечером, ложась спать, она была уверена, что утром расчистит дорогу до большого стога сена — это еще метров сто за кошарой, отгонит туда овец, пусть жуют, сколько хотят. Сейчас она поняла, что ни-

чего не выйдет. Буран столько намел снегу, сколько его иной раз за всю зиму не бывает. Продолжая всаживать лопату в жесткий наст, Майра с отчаянием думала — тут бульдозер надо пускать, тут надо поставить целый аул крепких мужчин-снегокопов, не знающих усталости! А что сделает одна лопата в руках одной женщины? Сто метров... До самой весны можно копать, а весной снег и без того стает.

От сознания беспомощности, от полной безвыходности Майра расплакалась. Она стояла, опершись на лопату, и горько всхлипывала. Одна... Будь на ее месте мужчина, он бы что-нибудь придумал и предпринял. Но вот плакать — только щеки поморозить... Больше никакой пользы от слез нету. И без толку махать лопатой ни к чему. Только зря устанешь.

Она вернулась к дому, прошла на конюшню. Гнедой и рыжий на шум ее шагов повернули головы и всхрапнули. Этим чего надо? Ну понятно — в яслях ни клочка сена... Постарались...

О духи усопших предков! Научите, что делать! Они-то не растерялись бы. О бульдозерах они понятия не имели. А разве нашлось бы множество лопат и рук на затерянном коше? Но бураны — и тогда случались в песках, и не менее жестокие. Обходились же как-то усопшие предки... Они были скотоводами еще до того, как стали называться казахами. У каждого из четырех дозволенных видов скота был свой покровитель. Камбар-ата у лошадей, Зенги-баба у быков и коров, Ойсыл-кара у верблюдов, Шопан-ата у овец. Как же бы они поступили? Ведь должен же быть какой-то выход, не бывает на свете безвыходных положений!

Что-то такое она слышала... Определенно слышала... Надо сделать усилие и вспомнить,— что именно.

В семье Танаша, его дедушка иногда приговаривал, не вспомнишь, по какому поводу: не погибнет овца там, где по соседству ходит конь. Значит, Камбар-ата придет к ней на помощь? Но он не жалует бездельников и бездельниц, таких, которые стоят, уронив руки, прислонившись к косяку ворот и льют слезы.

Майра насухо вытерла варежкой щеки.

— Нет вам пока обеда и не будет,— обратилась она к рыжему и гнедому, и они торчком поставили уши.— Обед надо зарабатывать, понятно?

Она отвязала их, подтянулась и в тяжелом своем одеянии кое-как перевалилась на неоседланного рыжего,

а гнедого повела в поводу. Ведь случалось — по твердому насту на пастбищах гоняли взад и вперед табун, и лошади дробили, разрыхляли снежный покров, так что овцам становилось посильно добраться до корма.

Вместо табуна у нее две лошади, восемь копыт... Но придется ведь и не целое пастбище расчищать, а всего лишь — пробить дорогу от кошары до стога, чтобы отара могла пройти, и там — вокруг — расчистить, чтобы овцы не тонули в снегу по брюхо.

Она сбилась со счета — сколько раз проделала этот путь, и всё на полном скаку. Напоследок проехала еще шагом, присматриваясь, что получилось, пройдет ли отара. Надо попробовать, потому что блеянье голодных овец становится все настойчивее.

Она решилась:

— Чок-чок-чоке!.. Чок! Чок!

Как и вчера, Майра верхом двигалась впереди, козел следовал за нею, сурово выставив рога, потому что буран трепал его за бороду, а это козлу не нравилось. Собаки — по бокам и сзади.

Когда достигли стога, снова пошла в ход лопата, но теперь уже не было того — утреннего — чувства безнадежности. Овцы тянулись по ее следам к сену, и Майру успокаивал и придавал ей сил привычный их хруст, который даже бурану не под силу было заглушить. Напоминанием о лете возник запах свежего сена, потревоженного в слежавшемся стогу.

От него гнедой и рыжий тоже не отходили, иногда только переступали, отпихивая суетливых овец. Майре не верилось, что это когда-нибудь кончится... Но, наконец, достаточное пространство оказалось очищенным. Хруст — усилился. Пусть в тесноте, но всем овцам нашлось место, а там, где намело поменьше, они справлялись и сами, уминая снег.

День, должно быть, перевалил на вторую половину. Начинало смеркаться. Такие слова, как *усталость* и *голод*, придется забыть. Она снова подумала — не потому же попала в пески, что в ауле ей не нашлось места! Она выстоит — и против этого бурана, откуда только у него силы берутся беспрестанно дуть, против самого господа-бога, если у него нет другого занятия, как преследовать женщину, которая оказалась в одиночестве на чабанском коше.

Овцы общипывали бока стога, их и сам шайтан отсю-

да не прогонит. Майра решила, пока не совсем стемнело, съездить домой — обогреться и поесть.

Лошади оторвались неохотно, но два-три удара камчой прибавили им резвости, они помчались, рассекая снежную завесу, и резко остановились лишь возле ворот конюшни.

В доме свет керосиновой лампы высветил заиндевевшие окна с насупленными мохнатыми бровями.

То ли обед у нее, то ли ужин... Что бы такое сготовить — побыстрее и попроще? Куырдак?.. Картошка не померзла — запустить в него и картошки. И, конечно, чай. А пока все это будет готово, в самый раз пососать шарик курта, который утоляет и голод, и жажду.

Танаш, должно быть,— хоть бы им вчера сопутствовала удача,— нежится в тепле. А у нее сегодня минуты не было подумать о нем, об Аягёз.

— Обо мне не беспокойтесь, все будет хорошо,— обратилась она к ним.— Только прошу — не отрывайте от дела, не появляйтесь перед глазами... Побудьте без меня два-три дня. Неужели это так долго? Нет же...

Она сама засмеялась своим наставлениям. Но кто-то же должен пошутить в их доме, раз сегодня вечером здесь не слышно шуток Танаша!

Пока готовился куырдак, Майра решила повесить над входной дверью фонарь, который неизвестно почему называется «летучая мышь», так записано в инвентарной ведомости. Но стоило ей снаружи поднять фонарь, как он едва не стал и в самом деле летучим — порыв ветра чуть не вырвал его из рук.

Тогда она понесла его в стойло к верблюду — лежит там один, со светом ему будет веселее. Да и волки, если что, на огонь не полезут.

Она уже взялась за кольцо на воротах, когда внезапно — в тихом закутке между верблюжьим стойлом и конюшней — пронзительно сверкнули лилово-синим глаза, три пары чьих-то глаз! Не выпуская спасительного фонаря, она бросилась назад, в сарае схватила дубинку, которую ей по руке сделал Танаш, свистнула собак и вернулась.

— Кет! Кет!— крикнула она, стараясь, чтобы ее голос звучал решительно и грубо, по-мужски.

Шестиглазый этот зверь не собирался подаваться прочь. И еще до того, как прибежали с лаем собаки, Майра, подняв повыше фонарь, поняла, кто нашел убежище у них на коше.

На грозный лай пестрого пса один из пришельцев вскрикнул жалобно...

— Ах вы, бедолаги...— сказала Майра.— Что, и вам несладко в такой буран?..

Собаки, обнаружив в закутке всего лишь сайгаков, сразу успокоились. Они их принимали, как и было на самом деле, за прямых родственников коз и овец. Тревожиться не о чем... Собаки начали бурно ласкаться к Майре, напоминая, что, если время обеда давно пропущено, то пора подумать об ужине.

— Сейчас, сейчас, подождите еще немного!— отмахнулась она.

Сайгаки продолжали дрожать — от холода, страха и голода... Они были очень худые — кожа до кости. Головы двоих украшали рога, а третья была самка.

— Сами еле на ногах держатся,— упрекнула их Майра,— а туда же!.. Вдвоем стали бегать за одной красоткой и не заметили, куда буран вас погнал. Ну ничего, джигиты мои...

Она приоткрыла ворота, повесила фонарь на крюк с внутренней стороны и по одному, начав с самки, перевела в стойло сайгаков. Они не сопротивлялись, но у каждого, она чувствовала рукой, отчаянно колотилось сердце.

— Здесь вам будет поспокойнее...

Рыжий атан по причине врожденного высокомерия не обратил никакого внимания на нежданных вечерних пришельцев. Ему было совершенно безразлично, откуда они появились, такие беспомощные. Он выпятил волосатую нижнюю губу, давая понять, что ничьи дела его не касаются и вмешиваться в них он не собирается, лишь бы его оставили в покое.

— Поделись же сеном с гостями,— сказала ему Майра.

Две охапки она разбросала перед сайгаками, но те пока не были в состоянии приняться за еду. Ничего. Отдышатся немного, и тогда поедят.

Уходя, Майра плотно притворила ворота. Завтра, может быть, удастся привезти еще несколько охапок сена для атана и для них.

Собак она кормила в сарайчике возле дома. Собрала мослы и дала им мяса. Пришлось постоять, чтобы они, как это случается, не перегрызлись между собой. И правильно — большой пестрый без всякого повода рычал и показывал клыки.

Майра прикрикнула на него:

— Ты что?.. Куда это годится, чтобы старшие ни за что ни про что обижали младших?

Еще она налила им в миски вчерашней сурпы, немного подогрев ее на плите.

— А теперь — к овцам! К овцам!

Первым в буране исчез пестрый.

Почти совсем стемнело.

Майра, взявшись за ручку двери, вдруг остановилась, пораженная внезапной догадкой. Сайгаки... Как же ей сразу не пришло в голову! Может же быть, что сайгаки кинулись к жилью человека, спасаясь от волков!

— Надо поторопиться...

Это она сказала уже в комнате.

Человек, наверное, одичал бы совершенно, если бы не произносил за день определенное количество слов. Сколько именно,— ученые пока не установили. Но поговорить — это такая же жизненная необходимость, как еда, питье, сон... Майра об этом не задумывалась, но, несомненно, испытывала такую потребность — и потому говорила, не только с отсутствующим Танашем, но и с овцами, бородатым козлом, собаками и сайгаками, с рыжим атаном, исполненным чувства собственного достоинства.

А в комнате обратилась к себе самой:

— А ты чего?.. Смотри... Будешь рассиживаться у печки, волки задерут твоих овец себе на ужин. Тогда попреков до конца жизни не оберешься! Давай-ка поешь попроворнее — и к отаре!

Куырдак был готов, запахло хлебом — чуть подгорела корка у подмерзшей краюшки, которую Майра положила на плиту.

— Будет не хуже, чем бефстроганов,— сказала она.

Как-то они с Танашем — в городе — обедали в ресторане. Ели борщ, а на второе дали этот самый бефстроганов, кусочки мяса с картошкой. Они с Танашем долго бродили по магазинам, и борщ, и бефстроганов показались ей необыкновенно вкусными. А потом пили чай. Танаш вел себя совсем как городской. Подозвал девушку в белом фартуке, которая их кормила, и важно сказал: «Пирожные есть? Принесите пирожные...»

Она выпила еще чаю, по цвету совсем черного — такого в ресторане не заваривали,— чтобы перебить сонливость. Сунула за пазуху горсть курта, те же самые

предки знали, что делали, когда брали с собой в дорогу курт. Задвинула вьюшку — все-таки поменьше выстудится до утра печь. Уменьшила, но не погасила совсем, пламя в лампе, оставила на ночь. Пусть окно немного светится в буране.

На прощанье заглянула в стойло к атану. Дрожь у сайгаков не прошла, но они уже поднялись и подбирали разбросанное по глинобитному полу сено.

Потом — снова на рыжем, с гнедым в поводу, проделала путь до невидимого стога.

Здесь ее бурными восторгами встретили собаки, особенно старался пестрый, докладывая, что овцы в целости и сохранности,— а теперь, когда хозяйка с ними, тем более все будет в наилучшем порядке.

Собаки сопровождали Майру, когда она обходила жующую отару. Овцы уже изрядно подъели стог с этого бока, некоторые, наевшись наконец, спокойно лежали, уютно приткнувшись одна к другой.

— Поручаю вас заботам благородного Шопан-ата, покровителя чабанов и их отар...— торжественно произнесла она.

Большой черный тулуп с ног до головы окутал Майру. Собаки устроились по соседству с ней. С другой стороны стояли лошади. Прислонившись спиной к сену, Майра чувствовала, как дрожит стог под напором бурана, дрожит, но держится, и подумала, что не зря Танаш чуть не до драки схватывался с приезжими трактористами, требовал, чтобы они не халтурили, а укладывали бы сено поплотнее, понадежнее... Пусть дует буран... В тулупе тепло, ветер с этой стороны не достает. Подремать бы часок-другой. Говорят же, что движение дает силу, а сон — бодрость... Правда, сегодня ей выпало испытать на себе лишь первую часть этого назидания. А вот поспать... Но она вспомнила, как прочитала где-то: «Сон — зевок смерти...» Сейчас эти слова прозвучали как предостережение. Заснешь, и буран сам тебя закопает, сам пропоет и заупокойную молитву и кинется дальше в поисках новой жертвы. Может быть, конечно, все это и не так страшно, как ей рисуется,— рядом же верные собаки. Но спать все равно не придется. Еще у какого-то казахского писателя она прочитала, что казахи — заспанный народ. Есть такие, что готовы проспать все на свете, но если бы она, Майра, умела бумаге доверять свои мысли, она бы написала: казахи — пробужденный

народ. Но все-таки — как хочется спать после целого дня на холоде, на ветру... Заснешь — и не заметишь!

Она высвободила из-под тулупа руки и дубиной ударила по железной лопате. Звук получился глухой, скрежещущий... Эх, вот — не догадалась! Надо было захватить пустой бак и колотить в него, когда станет особенно одолевать дремота. Так и придется сделать. Судя по всему, еще не скоро досыта выспишься.

Если бы всегда придерживаться правила — не откладывать на завтра, что можно сделать сегодня, удалось бы многих избежать неприятностей. Среди ночи пестрый резко поднял голову, вскочил и залился угрожающим и испуганным одновременно лаем. Кони всхрапнули. Лежавшие овцы вскочили и молча прижались к стогу.

Собаки лаяли все трое, и непохожим эхом отозвался из снежной тьмы низкий, тоскливый, хватающий за душу волчий вой... Как же — в такой буран, и обойдется без них! Майра схватила дубину и что было сил принялась колотить по лопате, промахиваясь иногда сгоряча.

Тем, первым двум, откликнулся еще один. Ну да,— самая пора волчьих свадеб... Самцы показывают свою силу, ловкость, выносливость, удачливость, и в конце концов волчица уходит с победителем. Так было и так будет. Но голод... голод правит не менее свирепо, чем любовь. Может быть, они и не почуяли сайгаков, которые нашли спасение на коше. Но вот — мимо ее отары не прошли!

Она продолжала взмахи дубиной, и непонятный железный скрежет заставил волков на время приумолкнуть. Но успокаиваться было бы рано. Эти серые призраки неизвестно как, но — всегда обо всем догадываются и всегда все знают. Они наверняка определили, что возле отары — женщина. Мужчина — тот бы закричал, метнул бы из ружья убийственный огонь... А собаки... Из троих — один пес потребует значительных усилий, чтобы справиться с ним. Двое — так... на один взмах клыков... Волки, осторожности ради и чтобы действовать наверняка, теперь затаились, набрались терпения и стараются подползти поближе... Не бросят же такую заманчивую добычу.

Перед рассветом они, должно быть, оказались почти что рядом. Пестрый с яростным лаем вскочил на сугроб,

Майра еще сильней заколотила дубиной. Нет уж, без ружья она больше ни за что не останется, пусть хоть всех овец съедят!

Вслед за пестрым выскочил и молодой пес, но он в запале понадеялся на всемогущество своего вожака и слишком подался вперед, и тут же его короткий отчаянный визг донесся до Майры, и все смолкло.

— Утащили!— крикнула она в бессильной злобе.

До самого рассвета волки больше не делали попыток подкрасться. Пестрый не лаял, он глухо ворчал, и шерсть у него на загривке стояла дыбом.

— Приход у нас — три сайгака,— сказала Майра, подражая совхозному бухгалтеру.— Расход — одна собака... Но вот — ночь прошла, волки не сыты, а овцы — целы!

На протяжении наступившего дня она заранее готовилась к ночи, потому что буран и не думал утихать.

Майра вытащила запасной тулуп, распялила его на палках возле стога, сверху приспособила старую шапку Танаша, чтобы волки почуяли мужской запах, вооружила пугало вилами. Съездила еще раз на кош и привезла пустой бак. Нанесла пробный удар, и — будто из пушки по соседству грохнули!

На волков этот залп, должно быть, произвел впечатление. Ночью они поблизости не появлялись. Или — совсем ушли. Во всяком случае, собаки вели себя настороженно, но спокойно. Майре удалось подремать, но каждый раз, пробуждаясь, она хватала дубину и — по баку: один удар, другой, третий, четвертый... А потом, отобрав у чучела вилы, обходила отару возле стога.

Пробудившись в который-то раз, Майра испугалась, сердце у нее дрогнуло — что-то было не так... Неужели...

Да, буран устал.

Оказывается, небо бывает в звездах... Оказывается, звезды гаснут, когда из-за кромки песков выползает шар солнца. Смотри-ка, не подвел друг-приемник, правильно сказал, что буран будет злобствовать три дня. А красное солнце — к морозу, щеки пощипывает, и нос у нее стынет...

Сквозь платок, повязанный на голове, сквозь тол-

стую шапку-ушанку Майра уловила какое-то равномерное гудение.

Вертолет?

Обычно она подсмеивалась, называла его неуважительно — тарахтелкой, хотя, нельзя не признать, именно вертолет доставлял им самые свежие аульные новости, какие и по радио не услышишь, и всегда был готов прийти на выручку — однажды на соседний кош доставил врача, когда Магрипа, ее подруга, собралась досрочно рожать...

Вертолет сделал круг и стал снижаться, поднимая ветер, несколько в стороне. Гнедой и рыжий продолжали хрустеть сеном — они привыкли к тому, что с неба спускается эта громадная птица, но опасности от нее нет. А беспамятные овцы шарахнулись и завязли в сугробах.

Первым, когда открылась дверь, выпрыгнул Танаш и побежал к ней, размахивая шапкой. Он что-то кричал. Должно быть: «Конь-скакун... Жена-красавица — вот что силу даст джигиту!»

Он был уже рядом:

— Карагым... родная моя... как же ты, одна... Бедная моя! Чабанка моя... Как же ты?

Подошел Джанысбек, завфермой:

— Потерь не было?— спросил он.

Майра не ответила ни тому, ни другому. Она почувствовала себя маленькой, как Аягёз, и беззащитной. Ей захотелось плакать, и чтобы Танаш ее утешал.

Она молча улыбнулась.

— Где же это столько жемчуга...

Джанысбек перебил Танаша:

— Я дальше полетел... Майра с нами или нет?

— На обратном пути заберете ее, Джаке... Пусть вертолетчик возле дома сядет, мы — дома будем.

— Часа через два,— сказал Джанысбек.— Чтоб готова была... Чтоб нам не ждать.

Щеки у Майры были обожжены морозным ветром, но она еще не чувствовала этого. Танаш взял ее за руку, и они направились к дому, оставив возле отары собак.

— Не забыть бы!— сказал ей Танаш.— Аягёз велела, чтобы ты привезла ее черную плюшевую обезьяну. Без нее — спать не уложишь никак...

Прежде чем войти в дом, Майра повела Танаша — показать ему приблудившихся сайгаков.

Ворота оказались приоткрытыми. Наверное, послед-

ние порывы бурана раскачали их, и образовалась щель.
Сайгаков в стойле не было.
...Я начал с того, что не знаю — получится ли у меня...
А имелось в виду: получится ли — просто и без прикрас, без литературных излишеств рассказать о Майре, чтобы и вам захотелось побывать в Жингильды и познакомиться с ней и ее мужем — Танашем.

1976

ТО, ЧТО ЗНАЮ Я

Оказывается, с той поры, если принять на веру слова ученых людей, время сумело в тончайшую пыль перемолоть твердыни горных хребтов, иссушить одни моря и до краев наполнить другие, растопить льды, дерево — обратить в черный камень...

...А история эта сохранилась.

Пусть кто-то запомнил ее в ином пересказе, у кого-то есть свои предположения, толкования, догадки, кому-то кажется, что всего этого вообще не могло случиться никогда.

Я знаю то, что знаю я.

Девушка — имя ей определится: Ха́ува — жила в раю и не подозревала, что это рай.

Зеленая листва — для того, чтобы отбрасывать благодатную тень, укрывая от палящих стрел солнца; а стоит протянуть руку — срывай в свое удовольствие любые, любого цвета, запаха, вкуса плоды: урюк, хурму, виноград, апельсин, орех, гранат... Потом можно — на выбор — запить еду густым молоком кокоса или пряным нектаром, или пенистым соком белоствольных берез.

А что же потом?

И потом, потом, потом?..

И — всегда?

С некоторых пор — она и сама не могла бы определить, когда это произошло,— Ха́ува утратила вкус к прекраснейшим из прекрасных плодам и всем напиткам стала предпочитать студеную воду из хрустального родника.

Она сказала бы: «Тоска», если бы знала, что на свете бывает тоска. Она пожаловалась бы на одиночество, если бы знала, что есть одиночество, прокляла бы женственность, никому не нужную и потому обреченную...

Но Хаува не подозревала, что она — женщина.

Ля илляха илла Алла!

Нет бога, кроме Аллаха!

Он велик, он ведает и может.

Кто бы взялся оспорить это?

Все подвластно ему и все под силу. Он не придал значения томлениям Хаувы, потому что хватало других забот. Нельзя же во всем полагаться на созданных им самим ангелов.

Особо выделил он пятерых.

Азраилу вложил в руки карающий меч. Джебраилу поручил быть посредником в осуществлении его предначертаний. Мекаил ведал внешними делами, а Исрафил — внутренними. Газазилу были отданы на попечение сады и виноградники, он же по мере надобности занимался вопросами, связанными с искусством прекрасного.

Прорицая будущее, Аллах предвидел, что наступит день, когда землю, заселенную им живыми существами — людьми, потрясет громовым голосом Исрафил, и его крик даже покойников поднимет из их могил, и все устремятся в надежде на возврат к райскому житью, но Исрафил заранее получит приказ: каждого прогнать по мосту — Хиямет-Каюм тоньше самого тонкого волоска и острее острейшего булатного клинка. То-то посыпятся в огонь с душераздирающими воплями грешники всех мастей и оттенков — воры и распутники, лжецы и грабители, клеветники, взяточники, пьяницы... И — кто там еще окажется из преступивших черту дозволенного и нарушивших непреложные установления...

Все это Аллах предопределил, еще и не населив землю беспокойным родом людским, потому и немало пройдет времени, прежде чем возникнет необходимость назначить Судный день.

А пока...

Он мог блаженствовать, когда разделенные по роду обязанностей младшие ангелы — одни умащивали благовониями руки его и ноги (ничего не поделаешь — возраст, подагра дает себя знать), другие старательно рас-

тирали поясницу (мучает радикулит), третьи дежурили в изголовье с опахалами из пальмовых листьев и страусовых перьев (отгоняли надоедных мух и мошек), четвертые подносили еду на золотых блюдах и питье в золотых кубках (режим питания: есть понемногу, с небольшими перерывами).

Из того же сонма младших ангелов Газазил отобрал наиболее голосистых и составил хор, который неумолчно тянул: «Ля илляха илла Алла... Ля илляха илла Алла...» Нет бога, кроме Аллаха. Салауат — славословие.

Хаува хотела бы, но негде было скрыться от заунывного салауата — ни в глубоких оврагах или темных пещерах, ни на вершинах гор и холмов, ни в чаще кустарников и деревьев, перевитых лианами, ни в тугаях, окаймлявших текучие воды.

Как известно, материалом для создания Хаувы послужила огнеупорная глина. Но из этой же глины всевышний сначала вылепил двух обезьян и одного человека, которому, чтобы отличался от них, дал имя — Адам.

Гордиться особенно было нечем.

Обезьяны выглядели толстогубыми, волосатыми, низколобыми. Адам?.. Без всякого смысла посматривает по сторонам и оживляется только, когда обнаруживает плоды хлебного дерева и принимается их жевать, обильно запивая перебродившим соком ягод или плодов. Недотепа... Все, чем его на всякий случай снабдили при создании, болтается при ходьбе, а ему хоть бы что! Непонятно даже, достигают ли вообще его слуха слова салауата, понимает ли он, кому обязан своим появлением на белый свет?

Аллах призвал Газазила. Пусть подумает... Надо создать еще одно живое существо, новое...

Польщенный доверием, Газазил удалился.

Он долго разводил крыльями, то расправляя, то складывая их — в сомнении, как лучше исполнить поручение. Несколько раз с досадой отбрасывал уже почти готовую форму — хотелось добиться совершенства, прежде чем Аллах заполнит ее хорошо размешанной глиной и вдохнет жизнь!

Опыта у Газазила не было никакого, но, должно быть, осенило его вдохновение, потому что создать лучше, чем он создал, никому не удалось бы. Оттого и обуяла его гордыня, и Газазил стал высокомерен.

По правде говоря, для этого были основания.

Округлые линии с покатых плеч спускались к талии — и сужались, чтобы снова раздаться, лаская взгляд крутизной бедер, и округлялись в чашах коленей, и дальше — завершали высокий подъем стопы... А лицо! Если бы не он, не Газазил, не существовало бы в природе такого гладкого лба, розовых щек, точеного носа, нежного подбородка... Таких ясных глаз — одновременно ярких, подобно блику солнца, и прозрачных, как вода незамутненного источника.

Произошла лишь одна непредвиденность. День, когда Аллах заполнял форму, выдался ветреным, и ветер закружил цветок с чинары в саду Сидрат-иль-Мунтаха. Кружил, кружил — и цветок угодил в глиняный замес, а с глиняным замесом — в форму, изготовленную Газазилом.

Очевидно, соки цветка изнутри напитали юную женщину, вошли в ее плоть и кровь — и не только придали живую силу и обаяние ее красоте, но и сделали ее восприимчивой, беспокойной, неосознанно отвергающей томительное благополучие райского существования.

Впрочем, все это проявилось не сразу, а сейчас время сказать о чинаре.

Поначалу чинара удалась кривой и узловатой, и цветы ее не могли привлечь особой яркостью расцветки, тонкостью запаха или изяществом лепестка. Другие деревья пребывали в первоначальном состоянии, а чинара не стала мириться. Она тянулась к солнцу всеми своими ветвями, листья подставляла дождям, не замирала в холода и не гнулась под ветром.

И что же?.. В саду Сидрат-иль-Мунтаха нет дерева стройнее чинары, крепче ее, красивее, выносливее. А цветы унизывают ее ветви, переливаясь всеми красками, какие доступно высветить солнцу.

Не случайно Хаува как бы чувствовала свое родство с чинарой — в ее тени находила покой и отдохновение, всем телом прижималась к надежному стволу.

Почему так, ей не дано было знать.

На ком зачастую останавливались глаза Хаувы, так это на Газазиле. Он то и дело появлялся в раю по каким-то неотложным делам, и шелест его крыльев стал почти таким же привычным, как дуновение ветерка.

Четверо других не столь часто посещали рай, предпочитали небеса — г а р ш е, то есть, говоря по-совре-

менному, космическое пространство. Там пребывал Аллах, и Азраил, Джебраил, Мекаил, Исрафил не отлучались от его особы, с ним — столовались, с наслаждением купались в лучах солнечного ветра, нежились в пуховых белых облаках.

Теперь уже не установишь, какие обстоятельства сопутствовали созданию самого Газазила, но жил в нем дух беспокойства, и крылья его редко бывали сложенными, а глаза сияли еще ярче — ярче, чем у самой Хаувы.

Таким он был. Не то, что Адам — безразличное существо с пустым взглядом, неизвестно почему и для чего обитающее в раю!.. Топчется по соседству или спит, и тогда его храп вспугивает райских птиц, похожих на порхающие цветы.

В раю не приходится вести отсчет времени, поэтому и трудно с точностью определить, когда именно Аллах назначил смотр всего им созданного... Очевидно,— чтобы произвести учет, выяснить, что уже имеется в наличии, что — нуждается в доделках, о чем — вообще забыли...

По тому, с каким вспыхнувшим рвением хор ангелов затянул славословие, легко было предположить, что ожидается нечто из ряда вон выходящее.

Однако Хаува, ни о чем не тревожась, сидела спиной к стволу чинары, следила за Газазилом, который сегодня — неизвестно почему — места себе не находил...

Спокойствие Хаувы, метания Газазила — до всего этого не было никакого дела нашему общему праотцу Адаму. Адам незадолго перед возникшей суматохой нашел в скалистой выемке гроздья виноградной лозы, согнутым в кулек листом вычерпал сок их ягод и теперь сладко спал на мягком песке.

К сонму ангелов рангом пониже присоединились четверо — Азраил, Джебраил, Мекаил, Исрафил...

И благоговейно замерли в ожидании...

Потом с высоты высот спустился Аллах. В руке у него извивалась черная пятнистая змея, он ею, как камчой, погонял огнедышащих коней. Навстречу взвился салауат, заглушая и шелест ветра в кронах деревьев, и шум водопада, низвергающегося со скалы, и похрапывание Адама, и стук прыгающих по склону камней...

На коленях, склонив головы в знак покорности, его встретили четверо, а все остальные ангелы распростерлись ниц.

Один Газазил остался стоять.

Голова — гордо поднята, глаза метали искры. Что он — что возомнил? Неужели испытал действие перебродившего сока?!

Аллах обратил на него испепеляющий взгляд, призывая образумиться, и живой камчой повелительно указал на землю — смири гордыню, преклонись, как все, они ничуть не хуже тебя!

Газазил еще выше вздернул голову и презрительно засмеялся. Ему пасть ниц?.. Ему, который превзошел самого Аллаха в искусстве создавать живые существа? Кто сомневается, пусть поднимет голову. Вон — Хаува... Поистине, божественное совершенство!

Чего прежде не было, не существовало, рано или поздно свершается впервые...

Открытое неповиновение привело Аллаха в ярость, и, не помня себя, он выдохнул слово, которое, как он надеялся, ему никто и никогда не даст повода произнести, слово проклятия:

— Ляганат...

И еще — раскатом грома:

— Ляганат!

Он взмахнул рукой, и черная пятнистая змея плетью обвила шею Газазила.

— Ляганат!

Газазил сорвал со своей шеи змею-плеть и резко швырнул ее обратно — в онемевшего Аллаха. Газазил взмахнул крылами и легко взмыл к вершине горы, ни за кем, будь то и сам Аллах, не признав права повергнуть его на колени.

Аллах с досады метнул в белый свет огненную стрелу молнии и снова раскатил гром.

Но это не заставило Газазила вернуться.

Хаува не могла осознать, что произошло, но ей понравилось — он остался стоять, когда все прочие пали ниц, понравилось, как Газазил и седобородый старик перебрасывались змеей в черно-желтой шкуре.

После того, как Газазил, оскорбленный, покинул Аллаха и тех, которые покорились с готовностью, Хаува вновь устроилась в тени чинары.

А Адам преспокойно проспал событие, которое оказало существенное влияние на дальнейшую судьбу обитателей рая.

Газазил не раскаивался в том, что проявил непокорство. Он даже не прочь был еще как-то досадить старику. Эти мысли укрепились после того, как он — на следующий день — опустился на лужайку поблизости от юной женщины. Замысел был хорош, ничего не скажешь, но есть над чем подумать...

Они, ангелы, появились задолго до аль-мисаха — то есть, до сотворения мира. Они досыта питаются плодами бессмертия. Для них открыт весь этот мир. И сами они открыты для общения друг с другом... А что ждет такую Хауву?

Газазила охватил приступ острейшего негодования. Нет, нет и нет! Он не допустит... На нем — ответственность. Надо что-то предпринять, но — что?..

Может быть, дать Хауве вкусить плод с древа бессмертия?.. Сомнительно... «Сам я,— думал он,— после вчерашней вспышки понял, что если душа — вечная, то и на вечные обречена муки и страдания. Уж лучше предать Хауву погибели, чем осудить на нескончаемое унижение, хоть и не дано ей понять, что она унижена. Надо ей дать отведать плода с древа познания — вот что! Пусть настигнут ее житейские беды и неурядицы, но, по крайней мере, она будет знать и то, как с ними справиться. Ну, а в дальнейшем?.. Я знаю! Знаю! Прародительница для грядущего потомства себе подобных! Вот ее назначение! Мать человека... Она должна обладать живой душой, ясным умом... Нарушить запрет и сорвать плод с древа познания — это тяжкий грех, да! Но куда хуже — чему даже названия нет, оставить прекрасное создание в нынешнем положении».

Он поднял Хауву, и в лицо ударил тугой встречный поток воздуха, и с высоты во всем великолепии открылись райские просторы.

До сих пор Газазилу не приходилось — вот так, вплотную,— держать нежное, трепетное, теплое, живое женское тело... Он мог лишь предполагать, что почувствуют впоследствии простые смертные, прикасаясь, допустим, к упругой и мягкой женской груди. Он испытывал, держа Хауву в объятиях, к ним нестерпимую зависть. Он — крылатый, прекраснолицый, бессмертный — был готов и поменяться, если бы кто-то предложил ему обмен.

Все на свете имеет не только начало, но и конец.

Кончился их полет.

Хаува стояла у незнакомого дерева, в руке — золо-

тисто-красный благоухающий плод, который дал Газазил, сорвав с ветки.

Яблоко...

И ничего — не блеснула молния, не грянул гром. Это лишний раз убедило Газазила — пусть свершится, а там будь что будет.

Хаува неторопливо играла яблоком.

Газазил жестом показал ей, что надо сделать, и она поднесла яблоко ко рту.

Она надкусила его.

И тот же, но совсем иной мир открылся перед Хаувой.

Она мгновенно познала суть неба, суть земли, суть воды... Она ощутила невыразимую сладостность объятия и прильнула к Газазилу, погладив пальцами нежнейший пух его крыльев.

Но ангел это ангел, и Газазил, мягко освободившись, взлетел на нижнюю ветку древа познания и задумчиво потрогал надломленный черенок, который мгновение назад сохранял в неприкосновенности запретный плод.

Хаува растерянно осматривалась по сторонам, делая открытие за открытием.

Вот — дерево?.. Да, дерево. Ручей прыгает с камня на камень, в его брызгах... Да, это солнце отражается в его брызгах. Трава... Цветы... Ничего, что она не смогла бы назвать, не было больше вокруг.

Неожиданно для себя она заметила — тут же, у древа познания — этого... бестолкового... Откуда он появился? Его зовут Адам. Она — Хаува, а он — Адам.

Яблоко она продолжала держать в руке.

А что, если... Ища поддержки, она кверху — на Газазила — подняла глаза. Но Газазил не укрепил ее — и не отверг внезапное намерение. Ей предстояло решать самой.

И она решила.

— По-про-буй...

Адам ничего не понял, но из ее рук с хрустом откусил от яблока, и Хаува вздрогнула... Похожий на себя прежнего, но совершенно иной Адам стоял перед нею.

Он улыбался.

Он еще ни слова не произнес, но Хаува безошибочно

определила — и для него, и для него тоже открылся огромный, множество раз виданный и впервые увиденный мир.

И так же впервые под его взглядом Хаува поняла, что в жар может бросить не только от пуховых объятий.

Она — женщина — познала стыд.

— Прикрой свой срам...— сурово сказала она.

А сказав так, нанизала на тонкую лиану крупные листья, перемежая их головками цветов. Такую же набедренную повязку, но без всяких украшений, сделала и для него, Адама.

Повязку он надел, тем более, что она ему не очень мешала. Что-то она еще говорила — о стыде, но Адам не очень ее понял. На глаз он успел изучить все волнующие изгибы на белом, как снег, и розовом, как утренняя заря, теле Хаувы, и Адам придвинулся, чтобы обнять ее...

— Эй, подожди...— произнесла Хаува, почему-то — чисто по-казахски, и я бы все понял, окажись поблизости.— Ты о чем думаешь сейчас?

— Я? Я думаю о том же, о чем думаешь ты,— нашелся, что ответить Адам, и тоже — по-казахски.

— Вот бесстыжий!— прикрикнула на него Хаува.

Адам еще не знал наверняка, но смутно догадывался, что суровость может быть показной, и не всегда нужно верить самому непритворному негодованию.

Газазил потер крылом о крыло и улетел.

Он не жалел о яблоке, которое — недоеденное — валялось в траве у древа познания.

Он не боялся расплаты, которая его ждет.

Но ему было грустно.

Хаува захотела вернуться к чинаре.

Там же, естественно, поселился и Адам.

Там они нашли свое первое пристанище, в котором стали жить как муж и жена.

Дерзкое похищение единственного яблока с единственного древа познания... Могло ли такое чрезвычайное происшествие укрыться от всевидящего ока?

На этот раз Аллах никого не послал из доверенных ангелов. Он сам хотел убедиться.

Никаких сомнений... З н а ю щ и м и глазами встретили появление всевышнего и Хаува и Адам. Не безли-

кие существа, а женщина и мужчина обитали отныне в его раю. Дай им волю, и скоро негде будет ступить, столько они наплодят себе подобных!

Он мог бы и не проверять, но все-таки наведался в укромную расселину, недоступную для постороннего взгляда. Дважды надкушенное яблоко валялось в траве у древа познания и уже успело заветреть... Ясно, без Газазила дело не обошлось. Кроме него, никому не было ведомо и про эту расселину, и про дерево..,

Но с Газазилом дело терпит, он всегда под рукой.

Аллах призвал ангелов.

Первое...

Дотла спалить древо познания. Вдруг оно вновь, самовольно, начнет плодоносить, а он по горло сыт тем одним-единственным яблоком, которое на нем созрело.

Второе...

Примерно покарать чинару за то, что в своей тени она давала приют и отдохновение отступникам. Пусть никогда впредь не будет у нее ярких, окрашенных всей радугой, цветов.

Исрафил подул — и ослепительным факелом, затмившим солнце, вспыхнуло древо познания, а когда пламя рухнуло, то осталась лишь горка пепла, его тут же размел порыв ветра.

Исрафил подул еще раз — и все до одного облетели с чинары цветы, и тот же ветер подхватил их, а чинара — долго провожала прощальными взмахами ветвей.

Исрафил замер в ожидании, что еще велит Аллах...

Так... Третье...

Когда поднялся вихрь, Адам и Хаува, нарвав на обед разных плодов, несли корзину, сплетенную из зеленых побегов чинары. Адам дулся, потому что Хаува пресекла его попытки вкусить терпкого сока перезревших и лопнувших вишен и решительно увела от ямки, куда порядочно натекло этого сока.

Место Адам запомнил, надеясь наведаться туда в одиночестве. Мог ли он предположить, что никогда, никогда, никогда больше не вернется на ту поляну?

Когда вихрь безжалостно сорвал с чинары все цветы до единого, Хаува мгновенно сообразила, по чьему повелению это проделано. Она выкрикнула на весь рай:

— Ляганат! Пусть и тебя, и тебя настигнет твое же проклятие! Будь проклят, злодей! Будь!..

Грянул гром.

Черная кромешная туча накрыла их. Адам не видел Хауву. Хаува не видела Адама... Хоть они по-прежнему крепко держались за ручки корзины. И они куда-то летели...

Туча рассеялась.

Вокруг ничего уже не было райского. Они с маху опустились на иссиня-белый лед. Хаува упала навзничь, Адам — ничком.

— Ой, хо-олод-но...

Она вскочила и принялась оглаживать себя ладонями сзади, растирать обожженные морозом, сразу покрасневшие бедра.

— Н-не говори...

Он, стоя, хлопал и хлопал себя по застывшим коленям.

Ни Адам, ни Хаува в ту минуту не подозревали, что на все времена у их потомства останется память о прикосновении ко льду. У женщин — холод на сиденье, у мужчин — в коленях.

Впоследствии выяснилось, что иссиня-белый лед, на который упали изгнанник и изгнанница, это было замерзшее озеро Балхаш. Снег-то успел стаять, близилась весна, но растопить лед солнце еще не набралось сил.

Не выпуская из рук корзины, они побежали навстречу теплому ветру, порывы которого налетали с юга.

На бегу они согрелись,— скорость развили такую, что в тот же день к вечеру, но еще засветло, достигли пестрых гор — их вершины упирались в небо. Здесь, у подножий Алатау, Хаува решила сделать привал.

В корзине у них кое-что оставалось, не все вывалилось при стремительном падении. Хаува достала яблоко — не то, конечно, не с древа познания, в раю были и другие яблони. Она разделила яблоко пополам, и они съели его, утолив незнакомое им прежде чувство голода.

Утром они пошли дальше на юг.

На месте случайного ночлега остались семена съеденного яблока — в гладкой кожуре, заостренные с одного конца.

День сменяла ночь и снова наступал день.

В своих странствиях они побывали на берегах быстротекущих рек Сырдарьи и Амударьи. Хаува примеривалась, сравнивала... И все-таки почти девять месяцев

спустя они вернулись к пестрым горам, где начиналась их нерайская жизнь.

— Ты посмотри-ка...— сказал наш праотец, обращаясь к жене.— То самое место, где мы весной ночевали... Помнишь?

— Помню...

— И ели яблоко... И вот смотри — пять яблонь!

— Эге-е!..— воскликнула праматерь наша Хаува,— Послушай, но это же значит, что из семян всегда будут вырастать деревья!

— Да. Значит, и там — на берегах Сырдарьи, Амударьи появятся виноград, гранаты, урюк, орех, финики...

— Верно, верно!— захлопала она в ладоши.— Но подожди... Там же, на одном из ночлегов, мы бросили пустую корзинку. Неужели и зеленые побеги чинары пошли в рост?

— Должно быть...

Наступила ночь, полная звезд.

На рассвете Хаува разрешилась от бремени.

Зачатые в раю, они появились на свет для земной жизни.

Встревоженная, утомленная, радостная, Хаува была все же и немного разочарована.

— Я думала...— сказала она мужу,— их будет пятеро или хотя бы четверо.

— Почему?

— Ну, выросло же здесь пять стволов яблонь,— ответила Хаува, не заботясь об убедительности своих слов.— А если так — их всего двое,— когда еще наши потомки заселят землю!

— А что ты на меня смотришь?— недовольно поинтересовался Адам.— Или скажешь, что я жалею для тебя свои силы?

Кажется, у них назревало то, что назовут семейной ссорой.

Но — обошлось.

— Нет и нет!— воскликнула она, как будто с ней кто-то спорил.— Должна сказать — я нисколько не жалею, что так все получилось, что кончилось наше с тобой райское житье!

— Еще бы... Здесь нам некого бояться, и мы, по крайней мере, сами себе хозяева.

— И наши дети вырастут свободными, а в этом — счастье!

— Я тоже так думаю.

Может быть, наш праотец и не меньше предавался размышлениям, чем праматерь, но высказывалась она чаще, чем он. Иногда, проявляя непоследовательность, могла поворчать — в раю они тоже неплохо бы устроились, если бы не он, не Адам! Адам ей на это отвечал — что же тогда не осталась со своим Газазилом...

Прорывались у нее опасения:

— Послушай... А не может случиться, что Аллах и здесь настигнет нас?

Адам ответил не сразу — был настроен на философский лад.

— Что же ты?..— поторопила она его.

— Я думаю... Наверное, не найдешь такого стойбища, где нет Аллаха. Гром загремит, а я стараюсь угадать — не божий ли голос, не предзнаменование ли какое-нибудь?

— Уж не хочешь ли ты толковать его волю и стать повелителем?— толкнула его в бок Хаува.

— Да ну тебя! Мне бы добиться, чтобы ты не управляла мною, и то хорошо!

Были у Хаувы и другие заботы и предчувствия:

— Послушай... Наш сын... Боюсь, не вырастет ли он жадным и себялюбивым?

— Но почему?

— Стоит ему высосать мою грудь, он тут же тянется к той, что держит губами наша дочь. Ни с чем не желает считаться! А я не хочу, чтобы он или кто другой из моих детей стремился возвыситься над остальными, попирать их, забывая, что они вышли из одного чрева!

— Как же по-твоему избежать этого?.. Что сделать?..

Она мечтательно закинула руку за голову:

— Давай... Давай научим их находить радость в плеске горного ручья, в прикосновении ветра, в солнечном тепле, в неистребимом шелесте листьев моей любимой чинары... Пусть это будет нашим салауатом, их салауатом! Потому что наш мир, их мир должен быть преисполнен добра, света, поэзии!

Адам сказал, озадаченный:

— Не знаю, как ты... А лично я пока что не почувствовал в себе ни малейшей этой поэзии...

— Ты и в раю был малоподвижен!.. А поэзия в движении, жизнь — в движении! Походи... Посмотри, где нам лучше всего обосноваться. Я же теперь связана детьми.

— А что тебе принести?

— Принеси мне песни птиц!

Захныкали дети, требуя, чтобы мать покормила их, и она дала им грудь. А покормив, неожиданно для себя, склонилась над ними и полились какие-то тихие — нет, не слова еще, а звуки... Это рождалась песня, которую потом назовут колыбельной.

Адам уходил смотреть мир и возвращался, не находя ничего лучшего.

Однажды Хаува сказала ему:

— Адам, зачем от добра искать добра? Нам хорошо здесь? А раз хорошо, надо устраивать житье. Хватит, пожалуй, искать пристанище. Для начала — согни кроны молодых деревьев и свяжи их покрепче. Пусть будет укрытие для малышей — шалаш.

Он согнул и связал, и это был первый дом, сделанный всемогущими руками человека.

Отсюда все и пошло, и какие бы испытания ни выпадали на его долю, он их преодолевал, и жизнь — продолжалась.

Меня всегда удивляло, почему многие доказывают, что первый приют изгнанникам из рая дала именно их земля, и никакая другая. А ведь дело совершенно ясное.

Если согласиться, что они поначалу попали в теплые края, то откуда же, позволительно спросить, повелось, что холодом отдают колени у всех мужчин и нижняя часть спины у всех женщин? Это — в память о соприкосновении со льдом озера Балхаш. А где находится озеро Балхаш?.. То-то!

Если этого мало, можно еще... На склонах одного из ущелий Алатау растут яблони, на ветвях которых поспевает крупный сочный апорт. Такого больше не встретишь нигде — я много ездил и знаю, что говорю, отвечаю за свои слова. Откуда же взялось у нас это яблоко, если не из самого рая? Помните, семячки упали в землю там, где ночевали Адам и Хаува?

Нельзя сбрасывать со счета и то, что на всем земном шаре ни одна женщина не умеет и не посмеет так поносить бога, как это делают наши казашки. Доберется ли украдкой теленок до материнского вымени... Пригорит ли лепешка в раскаленной глиняной печи... Дернет ли ногой неспокойная кобылица во время дойки и опрокинет ведро с кумысом... Сколько тут всего обрушится на

бога! А ведь начало было положено, когда Хаува, вне себя от гнева и горя, прокляла его, увидев, как разом облетели с чинары все ее цветы.

Это может опровергать только тот, кому охота прослыть закоренелым спорщиком!

Я знаю то, что знаю я.

Знаю, что сегодня вся земля принадлежит нам, и ее надо беречь, и друг друга надо беречь, независимо от того, кто где родился, где вырос, где живет, и помнить слова нашей общей матери Хаувы — Евы: «...я не хочу, чтобы он или кто другой из моих детей стремился возвыситься над остальными, попирать их...»

Так это было или иначе, но кто не согласен со мной, пусть расскажет по-своему.

1977

БУРАННАЯ НОЧЬ

Из многих прожитых лет память сегодня воскрешает одно очень далекое уже зимнее утро, когда к нам домой, чуть не сорвав с петель дверь, ворвался Кайсар.

— Ты слышал?!— с гневом, с обидой крикнул он моему отцу вместо приветствия.— Этот мой будущий тесть! Чтоб он до могилы своей ни разу в седло не сел! Этот зловредный Бекберген,— что придумал? Прислал ко мне нарочного, требует Курен-тёбеля[1].

У Кайсара голос перехватило от возмущения. И мой отец встревожился не на шутку:

— Е-е... Он что — белены наглотался? С чего бы такое взбрело ему в башку?

Кайсар злобно махнул рукой, словно камчой кого-то стегнул:

— Хитрый он. Хитрый и жадный и без всякого зелья. На днях в доме у них побывал мулла. Совершил обряд обрезания пятилетнему сыну Бекбергена. Потом, как положено, мулла спрашивает у маленького стервеца: «Какого коня ты пожелаешь? Скажи». А тот, нисколько не задумавшись, назвал моего Курен-тёбеля! Бекберген руки к небу воздел. Говорит: «Это сам всевышний сообщает нам свою волю устами мальчишки. Так тому и быть. Пусть Кайсар приводит Курен-тёбеля, а я прощу остаток калыма». Ты видишь, какой добрый мой будущий тесть? Ведь остался я ему должен — всего две стельные коровы.

Кайсар уже не находил слов, кроме тех, какими помянул многочисленных предков Бекбергена и потомков

---

[1] Курен — тёбель — темно-рыжий, масть коня.

его — особенно из колена, что пойдет от пятилетнего стервеца.

Для нас, мальчишек, не было новостью, что у Кайсара есть невеста в соседнем ауле. Ну есть и есть. Мало ли девушек?.. Но ни одна не достойна, чтобы пожертвовать Курен-тёбелем.

— Что же ты ответил посланцу тестя? — спросил мой отец.

— Чушь, чушь, чушь, чушь! Вот был мой ответ.

Кайсар немного помолчал, потом заговорил снова:

— Отдать единственного коня? А за невестой — пешком потащусь к ним в аул? За руку поведу ее в свой дом? Да?.. Нет, коня не отдам! Пусть не подучивает своего стервеца, что отвечать мулле! Так я и сказал посланному.

— Да-а... Ну и дела, — вздохнул отец. — А что дальше?

— Знаю — что! — снова вспыхнул Кайсар. — Она будет моя! Завтра же ночью. Вот что дальше!

Отец завел долгий наставительный разговор: если Кайсар действительно умыкнет невесту, хоть она и согласна на это, начнутся распри между аулами, которые давно живут в добром соседском согласии. Но парень стоял на своем:

— Если мои сородичи не дорожат честью и боятся ссоры, пусть прячутся по домам, как мыши. А я подамся в село к русским... И пусть Бекберген там ищет меня и свою дочь.

Наступило молчание. Отец, видно, не знал — как ему быть и что еще сказать. А если скажет — разве Кайсар послушает? Его у нас любят и ровесники, и аксакалы; аксакалы говорят — Кайсар из тех немногих, кто сохранил дух настоящего джигита. Как тут его отговоришь?

Отец — сомневался, а я был восхищен дерзостью Кайсара, его решительностью. И хотел быть похожим на него: чтобы и глаза у меня были такими же пристальными и черными и чтобы так же сверкали в них яростные красноватые искорки.

Кайсар настаивал:

— Я вижу — я только время теряю в твоем доме. Ты пошлешь со мной кого-нибудь из своих сыновей? Хотя бы одного?

Отец нерешительно покачивал головой:

— Кого же? Ты сам знаешь — мой старший в работниках у Имиша, далеко! Этого?.. — Отец небрежно по-

смотрел на меня.— Сам видишь — соплив еще. Какая от него помощь?

— Ничего!— развеселился Кайсар.— Пригодится и твой мокроносый. Главное, что твой сын будет со мной, тебе и отвечать... Погонятся за нами — к тебе нагрянут.

У меня сердце замерло. Раз меня берут на рискованное мужское дело,— значит, и во мне живет дух джигита, о котором толкуют наши аксакалы! Я боялся одного — что отец скажет: «Нет...» Но он не говорил, и я, стараясь не выказать страха, подтянул штаны и шмыгнул носом, будто все это меня не касается.

— Я знал, что ты не откажешь,— сказал Кайсар отцу, а меня в знак одобрения щелкнул по макушке.

Наша низенькая дверь выпустила Кайсара и впустила в дом густые клубы морозного воздуха. Отец подождал, когда дверь закроется, и повернулся в мою сторону:

— Смотри... Начнется драка, ты не путайся у них под ногами.

А я не слушал, я думал только о том, что меня сочли достойным помочь Кайсару.

У настоящего джигита и конь должен быть настоящий. Темно-рыжий скакун с белой звездочкой на лбу славился в округе. Достаточно сказать: «Аул Курентёбеля» и все понимают, где это... Аульные женщины не посмеют перейти ему дорогу — обязательно уступят, как это положено по древним обычаям. А конь — пройдет себе мимо, не глядя, как какой-нибудь султан.

У настоящего джигита и пес должен быть настоящий. У Кайсара есть Кокдаул, у него от загривка по хребту тянется жесткая темная шерсть — верный признак, что это не простой пес. В летние дни Кокдаул спасался от зноя в их юрте: укладывался на почетном месте и никому из гостей это место не уступал.

А зимой Кокдаул не скулил у дверей, просясь в тепло. В самом углу крытого двора была конура, сплетенная из тала, и там на сене пес отлеживался в морозы. А с утра пораньше — начинал оправдывать свою кличку: серый смерч. Он не страшился забегать далеко — в степь, к березовым рощам. И если были на снегу крупные волчьи следы или доносился запах зверя — мчался, прижав уши, домой, прыгал вокруг Кайсара, лаял.

Они все трое хорошо понимали друг друга: Кайсар, Кокдаул и Курен-тёбель. Кайсар седлал жеребца, и когда в ауле раздавался стремительный топот копыт, то все знали: через какое-то время Кайсар вернется, шагом

минует дома, а к седлу будет приторочен матерый волк с неподвижно оскаленной пастью и схваченной морозом кровавой пеной на морде.

В хозяйстве у Кайсара, кроме знаменитого коня и знаменитого волкодава была еще пестрая послушная корова, водились бараны и козы, но этот мирный скот находился на попечении его пожилой матери — Баден-апай.

Женщина она была решительная в суждениях.

— Е-е!..— говорила она громким голосом, не заботясь, соглашается с ней собеседник или нет.— Какой волк уйдет от Кокдаула и Курен-тёбеля? Такого волка нет и не будет. А лиса для нашего кобеля — это просто как мышь.

В другой раз, будто кто с ней спорил, она ошарашивала:

— Если садиться пить чай, то только индийский! А кто другой чай заваривает,— значит, пьет помои.

Взрослые ее, может, и побаивались, зато аульные мальчишки лучше чем кто бы то ни было другой ценили ее доброту.

— Кайсаржан!— обращалась она к сыну.— Все мои запасы подошли к концу, детей нечем угощать. Будешь в городе — купи мешок кампит-сампит[1]. Не забудь.

Баден-апай любила нас, и мы это знали и не боялись ее громкого голоса. Каждый старался: зимой — наколоть ей дров или с озера привезти льда, летом — попасти ягнят и козлят. У них же в доме один Кайсар, он взрослый. А внуков — нет.

Но что козлята и ягнята! Сколько потасовок случалось и сколько каждый из нас получал синяков из-за того, чья сегодня очередь купать в озере Курен-тёбеля...

К Кайсару, как было условлено, я пошел на следующий день к вечеру. Его друзья уже собрались, сидели и пили чай, обтираясь полотенцами.

Мой приход вызвал всеобщее веселье. Меня спрашивали — действительно ли я собрался с ними и что стану делать, если заблужусь; придется тогда бросить невесту и меня искать. Выясняли — на какой лошади я отправлюсь в поход, не на игреневой ли толстобрюхой кобыле... И, узнав, что да, на игреневой, дурачились, пропали, мол, она же ёкает, за десять верст слышно, чужой аул разбудит и на след наведет, если начнется погоня.

---

[1] Кампит-сампит — сладости.

В жарко натопленной комнате я холодел при мысли, а вдруг Кайсар их послушает и не возьмет меня. И неизвестно, сколько бы еще зубоскалили джигиты, не вмешайся Баден-апай.

— Что вы набросились все на одного? Поедет! Коня Кайсара подержит, и то польза. А для удачи хорошо, когда в таком деле, как ваше, участвует безгрешный мальчик. Поедешь, жеребенок мой,— обратилась она ко мне.— Присаживайся, пей чай.

Чай пили долго. Давно уже стемнело, и тогда мы — тринадцать джигитов — решили, что пора в путь. На прощание Баден-апай сунула мне за пазуху горсть конфет и два твердых белых шарика — курт.

— Сон подкрадется — грызи курт, он кислый. Проголодаешься — достань кампит.

Вечером валил густой снег. Стало теплее. Ветер только начинался. Он кружил, словно не зная, на чей аул и с какой стороны наброситься. Джигиты сразу растянулись, их кони взяли крупную рысь. Моя кобыла, ёкая селезенкой, сразу очутилась в хвосте. Не отстать бы... Хорошо еще — тут верст шесть, не больше.

Когда я подъехал к первым домам аула, мои товарищи уже спешились. Все было договорено заранее, потому и совещались возле деревьев недолго. Джигиты разделились, чтобы с разных сторон подкрасться к дому Бекбергена. Одни будут охранять снаружи, другие — проникнут внутрь, свяжут родителей невесты, а ее — поскорее выведут. По их знаку я и еще один джигит должны тотчас скакать к ним с лошадьми.

И еще сильнее стал ветер. У нашего бурана такой нрав: он не уляжется, пока не заметет аулы сугробами, так что кажется, дым прямо из снега валит. Вот и сейчас — ветер то налетал неистово, то вдруг притаивался, чтобы снова с размаху ударить. Но нам эта непроглядная снежная тьма была только на руку. Ни одно окошко у них не светилось. Собак не было слышно. Собаки запрятались, спасаясь от бурана. Ведь к утру он совсем ошалеет. Но к утру мы будем уже дома со своей добычей!

Так я думал, но что-то наши джигиты, как ушли, долго не подавали знака. Моя игреневая от нечего делать принялась разгребать снег, добираясь до прошлогодней травы. Я тут же вынул удила. Какой казах не покормит при случае лошадь. Она усердно копала копытом, и седло от ее движений сползало вперед. Ничего,

пусть жует,— сил наберется и на обратном пути не будет отставать. Ведь может вполне случиться погоня.

Знака от Кайсара я не дождался. Зато в свисте и гуле бурана возник пронзительный крик. Я сообразил: это не девушка кричит, а женщина, пожилая, голос у нее надтреснутый.

— Ойбай-ай!.. Подлецы! Бесстыжие подлецы!

Потом послышался голос Кайсара:

— Пусти ее! Не видишь — не та!

Теперь уже кричали многие:

— Аттан! Враг!

— Стреляй!

Раздались выстрелы — три или четыре. И кто-то из наших:

— Коней! Чего ждете!

Я опешил и не сразу скатился с седла, но все же — достаточно быстро, как мне показалось, вставил удила, а еще надо было сдвинуть седло, подтянуть подпругу. Мой напарник погнал лошадей к темневшим домам и гаркнул, растворяясь в буране:

— Скорей же, скорей, ахмак!

По глухому топоту многих копыт я догадался: все наши кинулись врассыпную. Убираться отсюда надо было и мне. Но куда?.. Я дергал поводья то вправо, то влево... Пока моя кобыла разрывала снег, я потерял направление и теперь — хоть убейте меня — представить не мог, где мой аул.

Я попробовал двинуться на голоса, но ветер то отбрасывал их, то совсем заглушал. Игреневая проваливалась в сугробы, и я круто сворачивал вбок. И вскоре понял, что сбился. Меня никто больше не окликал, а мой голос могли бы услышать не только друзья, но и враги.

А тут и без них... Ночь. Беспросветная степь. Разноголосый вой бурана. Нет, это не буран. Это воют джины и ведьмы, а косматые шайтаны молча кидаются в ноги, колют лицо острыми иглами. Но я держался — изо всех сил держался в седле. Кобыла, оступаясь, по-прежнему проваливаясь в снег, задевая брюхом верхушки курая и таволги, шла по ветру. Я совсем отпустил поводья. С детства мы слышали: если ты заблудился, то не теряй голову, дай волю коню, и конь тебя выведет.

Я вспомнил Баден-апай, вытащил шарик кислого курта и только сунул за щеку, как вдруг кобыла всхрапнула и дернулась, я еле удержался в седле. Волки!..

К счастью, не волки. В нескольких шагах впереди

на снегу чернел сруб колодца. Торчал высокий журавль, верхушка уходила в темноту. Значит, куда-то меня она все же вывезла, только не домой. Возле нашего аула такого колодца не было. Так как кобыла шагала теперь увереннее и тверже, я понял — под ногами у нее тропа. А вскоре и я почуял запах дыма, запах жилья.

У нас в степи — на севере — зимовки строят всегда на один образец: просторный двор, загороженный и крытый, а в глубине двора — приземистая глинобитная мазанка. Хочешь попасть в дом, иди вдоль стены, дверь не минуешь.

Привязав кобылу во дворе, я толкнул дверь, и она с трудом, со скрипом подалась. Из темноты — не хуже чем в степи — раздался возглас:

— Кто там?

— Я...

— Кто такой — я?

Я назвался, но мое имя ничего ему не объяснило. пришлось назвать имя отца.

— А откуда ты взялся?

— Из дома.

— Зачем?

— Так просто...

— Кто же станет просто так шляться в буранную ночь?

Я не нашелся что ответить, и тогда он сказал угрожающе:

— Одни беспутные воры не сидят дома в такую ночь... Придется тебя задержать... Связать...

По его движениям, по голосу я понял, что это — молодой. А тут из комнаты слева донесся голос пожилого мужчины:

— Асылхан! Кто там пришел? Кто бы он ни был, веди сюда. Жена, поднимайся. И свет давай.

В комнате для гостей зажгли лампу. Асылхан — наверное, сын хозяина — не слишком вежливо ткнул меня в затылок, поторапливая принять приглашение. По годам он, должно быть, сравнялся с нашим Кайсаром. У него тоже курчавились усы, и особенно заметно они темнели по краям губ.

Хозяин дома был мужчина лет пятидесяти. Он накинул на плечи шубу и, позевывая, уставился на меня. Ко-

нечно, Асылхан был его сын, не ошибешься. Оба — скуластые, носатые, лицом багровые.

У стены, с головой укрывшись одеялом, лежали двое — похоже, дети. А возле широкой деревянной кровати в противоположном углу стояла женщина.

Затылок у меня еще помнил тычок Асылхана, но с хозяином я поздоровался очень учтиво.

— Да, да, здравствуй,— отозвался он.— Так чей ты будешь?

Уже зная, что мое имя ничего не значит, я сказал, кто мой отец.

Хозяин слово в слово повторял вопросы, заданные его сыном, а я слово в слово повторял ответы, потому что других придумать не мог. Но я был еще мальчик и в то время врать старшим еще не научился, и когда он спросил, кто же станет просто так шляться в глухую буранную ночь, я прямо сказал:

— Мы хотели одну девушку украсть...

У хозяина даже шуба сползла с плеч, а он не заметил.

— Какую девушку? Чью дочь?

— Я ее не видал. Говорили джигиты — дочь Бекбергена вроде.

Под одеялом раздался сдавленный смех, и я понял — там укрылись девчонки, две, а раз девчонки,— значит, добра не жди.

Старик продолжал расспрашивать меня, как бий. Мне не хотелось раскрывать все как было, и разговор так и шел: он — вопрос, я — ответ, он — вопрос, я — ответ.

— Ну украли?

— Я не знаю. Я коней караулил.

— А сюда к нам как попал?

— Там стреляли. Погоня, должно быть, была. Я заблудился.

— Врет он все!— насупил сын хозяина густые брови.— Он —самый настоящий вор, какие бродят по ночам. Надо урендыку его сдать, пусть урендык с ним разбирается.

Я так и не понял — он говорит серьезно или шутит. Но тут вмешалась хозяйка этого дома, пожилая женщина с лицом, похожим на лицо Баден-апай.

Она сказала:

— Не слушай их, сынок, и не бойся... Давно я не

видела никого из твоих родителей. Как Дина — жива-здорова?

Я успокоился. Все обойдется — в этом меня убедило имя моей матери, прозвучавшее в чужом доме, который поначалу показался мне враждебным. И даже усы хозяина дрогнули уже не в строгом недовольстве, а в доброй усмешке.

Но успокаиваться, как выяснилось, было рано. Под одеялом раздалось уже нескрываемое хихиканье, и от двух обрисовавшихся тел высунулась одна голова. У маленькой насмешницы две косички торчали в разные стороны, как два хвоста у двух черных козлят.

Другая — должно быть, постарше, покрупнее — все еще скрывалась, но и там, где она лежала, одеяло подрагивало. Что смешного?.. А эта, хвостатая, стеганула меня ехидным взглядом, показала язык и снова исчезла под одеялом, как не было ее.

Хозяин, я думаю, решил, что ночь все равно нарушена задолго до позднего зимнего света, и голос у него звучал уже совсем не сурово, когда он сказал:

— А почему гость не раздевается, как будто попал в дом, где не знают законов гостеприимства! Посидим, поговорим, как подобает мужчинам.— Это мне.— Ставь самовар, чай будем пить.— Это жене.— А вы тоже поднимайтесь. Занимаете место, а туда мы гостя должны усадить.— Это тем двум, что прятались под одеялом и не хотели вылезать.

Первой, понятно, вскочила нетерпеливая насмешница. Вскочила, отряхнулась, как будто и не спала только что, когда я плутал в степи, да еще вслед стреляли из ружей. А вторая, как я и догадался, оказалась взрослой девушкой. Она смущенно отвернулась, одеваясь. А я, хоть тоже отвернулся, успел заметить ее смуглое плечо, ее густые черные волосы и толстую, как четыре шерстяные веревки, длинную косу.

Я расстегнул широкий ремень из сыромяти. На пол посыпались конфеты в разноцветных, как лесная поляна весной, обертках. Круглый комок курта покатился по полу.

Маленькая насмешница вытаращила глаза, глаза у нее стали круглыми, как у русской девчонки, которую я видел, когда осенью ездил с отцом в казачью станицу. Маленькая насмешница мгновенно оттолкнула меня.

— Кампит! Кампит!— завопила она и кинулась собирать мои конфеты.— А это?.. Курт? Кислый...— Нос у

нее сморщился, будто она никогда не ест курта, а только сладости. Эх! Встретить бы ее летом, на берегу озера, подальше от взрослых! Вот уж отхлестал бы ее прутом! По тому месту, где у лошади — круп.

Она подбежала к старшей и стала делить:

— Тебе одну, мне одну... Это тебе — это мне...

— Подожди, Камер... Хватит. Уймись немного.

А, значит, эту девчонку с козлиными хвостиками на голове зовут Камер?.. Но Камер, вопреки увещеваниям девушки, не собиралась униматься.

Конфеты она зажала в кулачке, а другой рукой подняла курт:

— Вот... Эту кислятину можешь забрать себе.

Как будто кто-то у нее спрашивал — что мне забрать, а что оставить. Я отталкивал ее руку, но Камер все равно сунула мне в ладонь твердый комок.

Потом Камер отвязалась от меня. Надо было помочь убрать постель. А старшая успела принарядиться: шапочка из выдры, круглая, и два пучка перьев филина; платье из мягкого желтого шелка с пышной двойной оборкой; поверх платья — темно-красная бархатная безрукавка. Такой, как она, могла быть девушка из дастана — Кыз-Жибек или Баян-слу, о которых поют и рассказывают по всей нашей степи.

Камер опять показала мне язык. Он был похож на жало змеи, только что не раздвоенный.

Хозяин усадил меня рядом с собой, подал плюшевую подушку. Снова пришлось объяснять, как и что произошло в эту ночь.

— А скажи — почему вы решили украсть дочь Бекбергена?

Он так разговаривал, что я мог быть откровенным.

— Бекберген этот,— сказал я,— оказывается, нехороший человек. Он прислал нарочного к Кайсару, потребовал коня. А такого коня — не найдешь! Скакун! На любых скачках приходит первым. Ни один волк от него не уйдет. Есть ли на свете девушка, на которую можно было бы обменять нашего Курен-тёбеля?

Хозяин согласно кивнул и почему-то взглянул в угол — там у кровати висела шкура волка.

— Е-е...— сказал я, заметив его взгляд.— У Кайсара дома — целый ворох таких шкур. Есть даже еще больше.

Малость я прихвастнул, восхваляя охотничьи доблести Кайсара. Но в общем-то это была правда.

— У Кайсара? Это зять, что ли, будущий Бекбергена?.. А как он — Кайсар? Хороший джигит?

— У нас в ауле равных ему нет. Говорят, в других аулах тоже нет,— сказал я то, что думал.

— Почему же он своего будущего тестя обижает?

— Он — тестя?.. Разве он обижает? Я сам слышал, он моему отцу говорил: если отдам коня, неужели пешком идти за невестой? Неужели, как нищему, за руку ее домой к себе вести?

Тут внесли пыхтящий самовар. Старшая девушка принялась наливать чай и забеливать его молоком. А эта Камер, которая лезла всюду, куда ее и не звали, передавала чашки. Мне хозяйка с самого начала подала пиалушку с золотой каемкой по краю — как не последнему из гостей. Камер, подавая мне чай, ткнула пальцем в руку повыше локтя,— наверное, в знак примирения.

Хозяин сделал глоток, отставил свою пиалу и спросил, сколько же это у него в запасе вопросов:

— Значит, Кайсар — один такой на свете джигит? Равных ему нет? Значит, пешком не пойдет за невестой? Курен-тёбеля тестю не отдаст? Так вот — это он хорошо сделал! Да?— Он вроде бы требовал подтверждения у домашних, сидевших за дастарханом.

— Не надоело? Не хватит ли загадки загадывать?— проворчала его жена.— Хватит... Скажи прямо.

Камер опять вонзила в меня насмешливый взгляд и чуть не расплескала свою пиалу. На берег, на берег бы озера, уж гибкий прут посвистел бы у меня в руках!

Хозяин махнул рукой, давая понять, что на слова жены он не обращает внимания, и продолжал:

— Е-е... Я и сам вижу, наш ночной гость ничего не понял... Так вот знай —«этот Бекберген», как ты его зовешь, мой младший брат, сын моего старшего брата. А кто чай тебе налил, ты знаешь? Нет? Дочь Бекбергена. Ее зовут почти как мою — Камен.

Я замер, и теперь уже мне захотелось спрятаться под одеялом, чтобы меня не было видно.

А хозяин продолжал:

— Когда хочешь что-нибудь сделать — никому не говори. Двое знают — это уже не тайна. Бекберген проведал, что вы затеваете сегодняшней ночью, и отправил Камен ко мне. Понял теперь?

Хозяйка нахмурилась:

— Есть же на свете сплетницы, у которых ничто не

держится, как в худом мешке. Загипу знаешь в вашем ауле? Это она постаралась разболтать.

— Я все это знал,— принялся рассказывать мне, как взрослому, хозяин.— Когда мой брат потребовал Курентёбеля, я крепко его ругал. Неужели не понимает? Его же дочери жить с Кайсаром! Зачем разорять хозяйство зятя? Но Бекберген ничего не хотел слушать. Одно твердил — парень молодой, вся жизнь впереди, еще обзаведется скакуном не хуже темно-рыжего.

Хозяйка прервала его:

— Что толку в его болтовне? От жадности все это! А от тебя я уже второй день слышу: с первым джигитом их рода отправлю Камен в аул к Кайсару. Чего же раздумываешь? Вот — Камен. Вот — джигит. Пусть он ее увезет.

Я похолодел — в который уже раз за эту ночь. Такую девушку — на моей игреневой кобыле везти? Скачет она, будто сто пудов везет... Селезенка екает, как ось на несмазанной телеге.

— Вот что, Асылхан,— обратился к сыну хозяин.— Пойди, седлай коней. Двух. Проводишь гостя и нашу Каменжан к дому Баден-апай. Сам долго не задерживайся. Им сегодня будет не до тебя. А с Бекбергеном мы сговоримся. Он — как буран. Сперва расшумится, а потом успокоится.

Камен стала собираться в дорогу.

Я подумал, что ради такого джигита, как наш Кайсар, стоит прихорашиваться. Поверх шапки Камен накинула пеструю шаль. Хозяйка подала ей легкую шубу из лисьих лапок, крытую красным атласом. И еще, чтобы не замерзнуть,— чапан. Стянула его алым кушаком, а то будет распахиваться на ветру.

Наступило время прощанья. Камен не стала, как это принято у всех невест, рыдать в голос и ломать руки.

Она просто сказала:

— Кадыр-агай! Никогда не думала, что мне вот так придется покидать отчий кров. Раз вы меня благословили, то я — не беглянка, не безродная сирота. Вы — старший брат моего отца. От вас я уезжаю — здесь отныне мой родной дом.

— Будь счастлива... Е-е!.. Старые люди учат, что плакать ночью — это грех, Каменжан,— сказал хозяин, но его голос тоже при этом дрогнул.

А маленькая насмешница — та и вовсе разревелась, и когда мы все выходили, изо всех сил ткнула меня кулачком — в спину и в плечо. Нет уж, за такую сумасшедшую — игреневую кобылу жалко было бы отдать! Одна — Камен, другая — Камер... Имена почти одинаковые. Но одна из них — настоящая Кыз-Жибек, а другую — надо прутом, прутом...

Ехали мы — Асылхан впереди, за ним Камен, потом — я. Чтобы Камен в буране не потерялась. Ветер даже усилился, но, по счастью, дул сбоку. Кони моих спутников шли ровным скоком — такой называется волчьим наметом. А моя кобыла была вынуждена перейти на сбивчивый галоп, и то не поспевала за ними.

Недалеко мы отъехали, и Камен придержала коня.

— Я вижу, иншегим[1], лошадь у тебя ленивая. Не хочет, чтобы мы побыстрей добрались до вашего аула. Давай мне чембур, а сам поторапливай ее камчой.

Молодые женщины, попадая в аул к мужу, не называют мальчиков по имени. Не принято это. Они придумывают для каждого ласковое прозвище. А меня Камен назвала: иншегим, как близкого, как родного, и теперь я становился вроде братом и Кайсару.

Возле их дома Асылхан простился с Камен, забрал ее коня и, как велел ему отец, отправился обратно.

Кайсар, видно, еще не спал, потому что сразу откликнулся на мой стук в окно. Я назвался.

— Ах, щенок! Живой-здоровый, слава аллаху? Не к нам — домой беги! А то как бы твои родители не стали поминки по тебе справлять!

— Ладно!— сердито ответил я ему.— Сперва ворота открой.

В темноте он не разобрал, что я не один. Он прошел вперед, а Камен — следом за мной.

В доме Баден-апай выкрутила фитиль в лампе.

— Приехал, родной наш!— кинулась она ко мне.— Кайсар завернул домой погреться — и собирался дальше тебя искать. А ты сам, мой хороший, нашел аул!

Баден-апай тормошила меня, целовала и вдруг — заметила мою спутницу, которая молча стояла в дверях.

— Камен?.. Ты откуда? Жеребенок мой! Бедная моя!

Слава богу, хоть меня оставила в покое. А сама — обнимала Камен. Они улыбались, плача. Плакали, улыбаясь. Кайсар сперва остолбенел, а потом накинулся на меня:

---

[1] **Иншегим** — братишка, младший.

— Ты?..

— Я...

— Ай да мокроносый!

И больше он ничего не мог сказать. Толкал меня, тыкал кулаком, как та девчонка, которую зовут почти как Камен. Он совсем глупым стал.

Баден-апай повернулась к сыну:

— Теперь Курен-тёбель — его... Подаришь ему.

— Как ты смог? Как ты смог? — допытывался Кайсар.

От растерянности он не заговаривал с невестой. Камен лукаво покосилась на него.

— Как он смог?.. Это вы все кинулись в степь, едва услышали выстрелы. А он — не испугался. Подстерег,— я как раз от соседей бежала домой. Вдруг слышу: «Ты — Камен? А ну давай сюда, ко мне». Что было делать? Вот он и привез меня сюда.

— Ну что ж... Конь — твой,— согласился Кайсар и надвинул шапку мне на нос.

И пока меня отпаивали горячим чаем — я владел темно-рыжим скакуном, гордостью нашего аула! Но как же — Кайсар без Курен-тёбеля, а Курен-тёбель без Кайсара? Это было трудно себе представить, потому что они удивительно подходили друг к другу. А окажись скакун в руках моего отца, отец сдвинет набекрень старую шапку и начнет красоваться по аулам.

Пока я раздумывал, Кайсар спросил у меня:

— Иншег... А не продашь коня?

Камен подмигнула:

— Иншегим, не соглашайся!

Но Кайсар — это был все же Кайсар...

— Продам,— сказал я.

— А что хочешь за темно-рыжего?

— Мухортого. Двухлетку. Отдашь летом.

Пора было домой: отец с матерью, должно быть, места себе не находят. Камен расцеловала меня на прощание. А Баден-апай сунула за пазуху горсть конфет в ярких обертках.

И только Кайсар — как равному, как джигиту — пожал мне руку.

Мухортого он по-честному отдал нам летом.

Но мне удалось один-единственный раз проехаться — когда погнал коня домой.

А потом ездил на Мухортом мой отец.

1972

СОДЕРЖАНИЕ

Габит Мусрепов

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

(перевод с казахского)

Редактор *В. Полевская*
Художник *Б. Машрапов*
Худ. редактор *Л. Тетенко*
Техн. редактор *Р. Карымсакова*
Корректор *Г. Сыздыкова*

ИБ 1004

Сдано в набор 06.06.79. Подписано к печати 30.10.79. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Печ. л. 10,5. Усл. п. л. 17,6. Уч.-изд. л. 18,4. Тираж 100 000 экз. Заказ № 754.
Цена 1 руб. 30 коп.

Издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480091, г. Алма-Ата, пр. Коммунистический, 105.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

1 р. 30 к.


Г. МУСРЕПОВ
РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ